

Г.А.Бордюгов

В.А.Козлов

ИСТОРИЯ *и* КОНЪЮНКТУРА

Субъективные заметки
об истории
советского общества

Москва
Издательство
политической
литературы
1992

Бордюгов Геннадий Аркадьевич, Козлов Владимир Александрович.

Б82 История и конъюнктура: Субъективные заметки об истории сов. об-ва.— М.: Политиздат, 1992.— 352 с.

ISBN 5—250—01561—1

Книга известных советских историков, по их собственному признанию,— «сугубо личная и очень субъективная попытка понять механизм конъюнктурного давления на науку». Авторы прослеживают перестроечные изменения в массовом историческом сознании и профессиональной историографии, ищут ответы на «проклятые» вопросы нашего прошлого: судьба социалистической идеи в России и драма «догоняющего развития» страны, причины гражданской войны и социальные корни сталинизма, «красный» и «белый» террор, «военный коммунизм» и нэп, сталинская «революция сверху» и сущность советского политического «термидора».

Рассчитана на широкий круг читателей.

Б $\frac{0503020000-010}{079(02)-92}$ 94—92

ББК 63.3(2)

Заведующий редакцией *В. М. Подугольников*. Редактор *Т. Д. Дажина*. Младший редактор *Л. Г. Еремина*. Художник *Е. Г. Капустянский*. Художественный редактор *А. Я. Гладышев*. Технический редактор *Н. А. Шавкунова*.

ИБ № 9304

Сдано в набор 26.04.91. Подписано в печать 19.08.91. Формат 84×108^{1/32}. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 18,48. Уч.-изд. л. 20,33. Тираж 40 000 экз. Заказ № 1903. Цена 3 р. 80 к.

Политиздат. 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий».
103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.

ISBN 5—250—01561—1

© Бордюгов Г. А.,
Козлов В. А., 1992

КОМУ ВСЕ ЭТО НАДО?

(ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ)

Вряд ли кому-нибудь нравится чувствовать себя подопытным кроликом. Мы не исключение. Но именно такое ощущение время от времени появлялось у авторов книги, когда они перечитывали свои статьи 1987—1990 годов. В самом деле! Думали (или надеялись), что боремся с конъюнктурой, а теперь сами видим, как она, эта политическая конъюнктура, так же как и старые догмы, нежно выкручивала нам руки. Поэтому и работа над книгой «История и конъюнктура» отнюдь не вознесла нас на Олимп академической беспристрастности, а скорее ввергла в пропасть самоанализа, саморевизии и самокритики. На своей шкуре мы, может быть, впервые почувствовали, что никому не дано освободиться от своего времени,— его можно только пережить.

Кому она сегодня нужна, наша книга? Ведь историками стали все! Драматурги пишут исторические эссе, а кинорежиссеры делятся своими мыслями о злых гениях русской истории. Телерепортеры создают исторические паноптикумы, а звезды эстрады рассказывают о судьбах русской интеллигенции. Все уже все знают, все все понимают и ко всему прикладывают политический аршин. Без политической обертки какая-то часть населения кажется уже и куска хлеба не проглотит — не то что знания о прошлом. Даже бытовое общение становится грубоватой аранжировкой расхожих мнений об истории. И вот уже журналист А. Стреляный для своего фильма на австрийском телевидении днем с огнем ищет людей, которые судят о прошлом не по «Огоньку» или «Московским новостям» (сюда, впрочем, можно подставить «Молодую гвардию» и «Наш современник»), а по источникам и документам.

Удивительное время. Оно не только растворяет утопии, но и разрушает идеалы, не только очищает мозги, но и затуманивает души. Мы так усердно заполняли «белые пятна» прошлого, что даже не заметили, как в один прекрасный момент остались не только без «белых пя-

тен», но и без прошлого вообще. Люди без прошлого, страна-маргинал. От одного берега ушли, миновали «точку возврата». А что впереди? Стык двух времен, двух культур, двух миров? Катастрофа? Гражданская война? Рыночный рай или авторитарная диктатура? Может быть, все сразу, вместе взятое? Потеряли устойчивость, не знаем, что нас ждет, боимся друг друга, не верим уже ни слуху, ни зрению. Суеверно страшимся будущего, пугаем друг друга какими-то «непредсказуемыми» последствиями, прекрасно понимая, что самое страшное — это как раз предсказуемость самых «непредсказуемых» последствий.

Наши соотечественники то предаются печальным гамлетовским размышлениям о вывихнутом мире и прерванной связи времен, то, подобно мольеровскому герою, узнавшему, что он всю жизнь говорил прозой, открывают, что более 70 лет, оказывается, шли «не туда». Одни создают парламентские комиссии для суда над прошлым, поскольку настоящее оказалось «не там», другие хотят защитить это прошлое специальными указами — не могут поступаться принципами?! Все знают, чего не надо делать, но если прислушаться, то окажется, что лучше не делать ничего. Все меньше охотников черпать силу и оптимизм не в вере, а в знании. Отберите у растерянных и ожесточившихся людей соломинки простых ответов — многие ли выдержат трагическое знание о страшной «силе вещей», которая превращает самые благие намерения в самые «непредсказуемые» последствия.

Но ведь и так, как сейчас, нельзя!

Простота исторических объяснений — хуже воровства. Уже чуть ли не в пыль растерли наше семидесятилетнее прошлое жерновами тяжелых проклятий, а оно, непонятое и обруганное, выглядывает из каждого нашего жеста, слова, поступка — отвергнутое, но не изжитое. Все так же кричим и ниспровергаем, самоутверждаемся за чужой счет и презираем собственные законы, все так же порываемся отнимать и делить.

Где-то в этом кипящем котле политических страстей работают наши коллеги-историки — не только профессионалы, растерянные и потрясенные бесцеремонным обращением с общеизвестными фактами, но и те, у кого пробудившийся в годы перестройки интерес к прошлому обернулся самостоятельными поисками истины, а не безоглядной проповедью невежественных неопитов. Все эти люди, наверное, часто в последнее время задавали себе

один и тот же вопрос: а кому все это нужно? Кому нужен их кропотливый труд по собиранию фактов и идей, если митинги да газеты уже разнесли по городам и весям новую порцию «простых ответов», приготовленных на политической кухне.

Трудно ответить на этот вопрос. Мы тоже не знаем на него ответа. Удовлетворимся же старой французской мудростью: надо делать, что должно, и пусть все идет как идет (кажется, этой максимой утешал себя Троцкий в годы безнадежной борьбы со Сталиным). Изучать историю — наша профессия. Вот и все. Не больше, но и не меньше. Ограничимся этой нехитрой сентенцией в ожидании времен, когда общество наконец обратится к историкам за знанием, а не аргументами в политических спорах и раздорах. Наступят же они когда-нибудь, эти времена.

А пока перед историками стоит непростая задача сохранить свою профессиональную автономию, отстоять свою недавно обретенную и грозящую вновь исчезнуть независимость от политической конъюнктуры. Наша книга — это сугубо личная и очень субъективная попытка понять механизм конъюнктурного давления на науку, чтобы хоть так защитить себя и своих читателей (в чем-то, может быть, и других предостеречь) от коварного плена узкопартийных пристрастий, превращающих поиски истины в «охоту за ведьмами».

Мы считаем себя участниками и очевидцами историографического процесса последних лет. (Может быть, и не самыми удачливыми: занятия историей не сделали из нас ни парламентариев, ни членов ЦК политических партий, которые, как иногда кажется, уже битком набиты нашими коллегами.) Мы были и остаемся всего лишь историками, которые озабочены тем, чтобы понять основные тенденции историографического процесса, взглянуть на этот процесс не только и не столько отстраненным взглядом наблюдателя, но прежде всего пристрастными глазами своего научного сообщества, растревоженного напором перестройки.

В основу книги положены статьи, опубликованные нами в 1987—1990 гг. Они отражают время, когда были написаны. Поэтому мы ничего в них не меняем, за исключением некоторых малосущественных сокращений. Однако на суд читателя представляется совсем не сборник статей, а книга весьма необычного, на наш взгляд, жанра. Историографические воспоминания — такого литера-

турного жанра никогда не существовало. Но именно в этом жанре мы хотели бы написать свою книгу. Она включает в себя беглые заметки о приметах времени, вызвавшего общественный и научный интерес именно к этим, а не другим историческим персонажам и событиям, авторский взгляд на эти проблемы, какими они представлялись нам в свое время, наконец, сегодняшнее отношение к тем же самым вопросам — своеобразная форма историографической самокритики, соединенная с разбором позиций оппонентов и единомышленников.

Каждая глава книги совпадает с нашим видением «несущей» исторической проблемы каждого нового этапа перестройки: бухаринский бум и сталиниада, суд над Лениным и возвращение Троцкого. Может быть, другие выделяют свои сменяющие друг друга доминанты в массовом историческом сознании последних лет. Но для того и взялись авторы за «субъективные заметки о новейшей историографии советского общества», чтобы взглянуть на эту историографию с позиций личного опыта.

* * *

Некоторые публикуемые материалы были написаны в творческом содружестве с В. Т. Логиновым и Е. Г. Плимаком и печатаются с любезного согласия наших соавторов.

Научно-вспомогательная работа выполнена И. С. Давидян, которой авторы выражают свою искреннюю благодарность.

Глава I
НАЧАЛО
(1987 г.)

Приметы времени:

ПРИЗРАК РАДИКАЛИЗМА

Историки, как известно, уже в силу своей профессии народ консервативный, заговорили только в 1987 г. Прочно усвоив некоторые постулаты и догмы, они достаточно болезненно отреагировали на первые перестроечные толчки. А вокруг повсюду гремели дискуссии о «Детях Арбата» А. Рыбакова. На публичных лекциях упрямо задавали вопрос: правда ли то, что написал автор романа о Сталине? Весьма уклончивые ответы обнаруживали огромные «белые пятна» в профессиональных знаниях лекторов. Читатели оживленно обсуждали роман А. Бека «Новое назначение», зачитывали до дыр статью Г. Попова «С точки зрения экономиста»¹, а историки не знали, что сказать по поводу предложенной экономистом концепции Системы. Наконец-то опубликованная поэма А. Твардовского «По праву памяти» ставила острейшие моральные проблемы советской истории, а историки открещивались от них призывами к «сбалансированным» оценкам.

Но все же, все же... Напомним публикации В. Поликарпова о князе Курбском сталинской эпохи — Ф. Раскольникове², А. Ненарокова о последнем оставшемся в живых троцкисте И. Врачеве³, острый спор А. Самсонова с писателем И. Стаднюком об истории войны⁴, нашу мевшую лекцию Ю. Борисова в Московском государственном историко-архивном институте, на которую собралось так много желающих, что лектор еле пробрался на трибуну (да и то пожертвовав пуговицей), и даже интервью И. Минца, упомянувшего без привычных оскорблений имена левых оппозиционеров 20-х годов⁵, но тут же взявшего свои слова обратно. Историки рассказывали о кухне административного подавления науки и поименно называли тех, кто громил так называемое новое направление в историографии в начале 70-х годов. Масса публикаций об оклеветанных, забытых и полузабытых деятелях советской истории появилась в том же 1987 г.

Конечно, вся эта профессиональная историографическая волна отнюдь не была «девятым валом» перестройки общественного сознания. Вклад историков меркнул на фоне ярких статей Ю. Карякина («Стоит ли наступать на грабли? Открытое письмо одному Инкогнито» — талантливый памфлет против апологетов сталинизма), Н. Шмелева («Авансы и долги»), И. Клямкина («Какая улица ведет к храму?»), Г. Попова («С точки зрения экономиста») ⁶. Эти публицисты — большинство из них были еще и профессиональными обществоведами, били «по площадям», историки — заполняли «белые пятна». «Концепция» «белых пятен» (теперь, как уже совершенно очевидно для всех, ущербная) на какое-то время стала суррогатом отсутствовавших историографических концепций. Она давала возможность любому историку высказываться о прошлом, читать лекции в «перестроечном духе». Сотни лекторов по всей стране начали рассказывать о «белых пятнах». Достаточно было овладеть малодоступными историческими фактами, чтобы идти в любую аудиторию и быть обреченным на успех. Многим в это время помогло знакомство с публикациями «буржуазных фальсификаторов» — для них большинство наших «белых пятен» давно уже были историографическим трюизмом.

«Профессорская» публицистика давала широкую панораму, историки работали над деталями. Но поскольку «деталей» и «белых пятен» было неизмеримо больше, чем историков, способных ими заниматься, то профессиональная историческая публицистика тонула в широком море популярных непрофессиональных статей, питавшихся идеями профессоров-концептуалистов*. Сам же фе-

* По мнению японского советолога Н. Шиокавы, доводы «профессорской» публицистики имели некоторые слабые пункты. Большинство ее представителей не были профессиональными историками и их основные идеи лежали не в историческом процессе самом по себе, а в нынешнем состоянии советской системы. И аргументы из истории 20—30-х годов становились для них лишь поводом к рассмотрению современных реалий. Н. Шиокава справедливо замечает, что не совсем нормально изучать историю «из настоящего», поскольку исторические исследования — это всегда диалог между настоящим и прошлым. Обращение же к прошлому через настоящее способно породить целый ряд иллюзий. В качестве примера японский советолог приводит отношение к нэпу, его противопоставление сталинской системе. В определенные моменты эта точка зрения вырождалась в идеализацию нэпа и игнорирование его противоречий. Единственным историком, который в 1987 г. выступил против этой идеализации, по мнению Н. Шиокавы, был В. П. Дмитренко, опубли-

номен «незаметности» профессиональной исторической публицистики связан не столько с малочисленностью публикаций, сколько с отсутствием конструктивного диалога между «фактографами» и «концептуалистами». Факты и концепции, их объединяющие, разбрелись по периметру взбудораженного перестройкой общественно-го мнения. Оставшееся свободным пограничное пространство, «ничья земля», какое-то время очень напоминало пустую сцену перед выходом солиста.

Солистом 1987 г. стал Ю. Афанасьев. Он не был специалистом по советской истории и опирался на идеи, высказанные историками в конце 60 — начале 70-х годов, — новое направление в историографии Октября, связанное прежде всего с именем П. Волобуева, работами К. Тарновского, посвященными противоречиям российского империализма, книгами И. Пантина, А. Володина и Е. Плимака по проблемам российской революционной традиции, трудами В. Данилова по истории коллективизации. «Тронная» речь Ю. Афанасьева на Ученом совете МГИАИ⁷ в декабре 1986 г. (он пришел на пост ректора этого института из журнала «Коммунист») произвела большое впечатление и встретила поддержку серьезных историков, которые не потеряли профессиональных навыков, вкуса к аргументу, факту, которые пытались вырваться из плена догм и заблуждений сталинского «Краткого курса истории ВКП(б)». Поддержка — тайная или явная — была оказана, несмотря на необычную напористость выступлений Ю. Афанасьева, которым явно не хватало привычного академизма.

Статьи Ю. Афанасьева, хотя и накликали на голову их автора обвинения в «подрыве основ», в общем-то считались с устойчивыми и традиционными формами профессионального исторического сознания. В отличие от его более поздних политических заявлений в публикациях 1987 г. сохранялась привычная социалистическая лексика, разговор о прошлых ошибках связывался с будущим социализма, а «крайние деформации социалистического развития» отделялись от «учения Маркса и Ленина». В этих статьях провозглашалась верность революционным идеалам, с позиций которых и шла критика

ликовавший 3 октября 1987 г. в «Известиях» статью «Лавочка или кооператив?» *Shiokawa Nobuaki*. *Perestroika and the New Perspective on Soviet History: The Case of the History of Industrialization and the Working Class // Facing Up to the Past. Soviet Historiography under Perestroika*. Sapporo, Japan, 1989. P. 152.

сталинизма. Несмотря на все это выступления Афанасьева воспринимались чуть ли не как историографический экстремизм.

Пример людей, подобных Афанасьеву, которые не жалели себя и получали синяки и шишки, сыграл огромную роль. Благодаря их усилиям в исторической науке начала складываться та духовная атмосфера, в которой историки почувствовали себя свободными. (Позднее, как нам кажется, у самого Ю. Афанасьева начали появляться ростки своеобразного историографического «вождизма», получившие немедленный отпор В. Данилова⁸, а затем и других историков *.)

Так начиналась перестройка в исторической науке. Вообще, по справедливой оценке американского историка М. фон Хагена, вся эта интеллектуальная активность не поднималась до уровня действительно новой историографии, и по этой причине историки не написали в то время ничего такого, что не было бы известно на Западе. Главные изменения происходили в «риторике и подходах», в том, как советские ученые начали говорить о прошлом⁹.

Профессиональных разговоров было много не только на страницах печати. В моду входили «круглые столы», оказавшиеся самой оперативной формой историографической революции. Вообще же эта революция никак не хотела начинаться. Надо было отказываться от «себя прошлого», признавать, что очень многое, сделанное в предыдущий период, может быть перечеркнуто полностью или частично, что целые пласты прежней историографии просто перестают существовать. Отчасти этим, а не только консервативностью или реакционностью политических убеждений объясняется пассивное сопротивление многих историков перестроечным веяниям.

В застойное время известный историк индустриализации В. Лельчук в разговорах с авторами этой книги любил повторять: если от нашего времени что-нибудь и останется, то исключительно факты, добытые в архивах. Он был не так уж неправ. В то же время методологические поиски прошлых лет, особенно конца 60 — начала 70-х годов, проводившиеся, в частности, под руководством М. Гефтера, ряд содержательных публикаций по

* Попытки Ю. Афанасьева начать «охоту за ведьмами» уже среди демократически настроенных историков смутили и некоторых зарубежных советологов. См.: Facing Up to the Past. Soviet Historiography under Perestroika. P. 63—64.

методологии истории 70-х годов, например, М. Барга, И. Ковальченко, могли стать основой новых работ, барьером на пути безоглядного непрофессионализма, когда те или иные радикальные суждения определяются не многознанием, а отсутствием знаний вкупе с политическим нахальством.

Многие историки в 1987 г. не уставали повторять, что историческая наука не может и не должна зависеть ни от текущей конъюнктуры, ни тем более от напора дилетантов. Одни при этом явно лукавили, прикрывая критикой конъюнктуры и дилетантизма собственную профессиональную несостоятельность. Другие, не без некоторого внутреннего сопротивления, терпели ошибки прогрессивно настроенных дилетантов, полагая, что критика в их адрес повредит обновлению исторической науки, сыграет на руку «демонам торможения» (Гете). Такие люди видели свой моральный долг в том, чтобы если и не помогать, то по крайней мере не мешать радикализации общественного сознания.

Но в то же время профессионалы никак не могли понять и воспринять саму возможность быстрого изменения взглядов без серьезного анализа источников и документов. Ощущение того, что складывается ситуация, при которой возможно повторение пройденного, что вновь заработает уже известный механизм оснащения фактами готовых концепций, вызывало внутреннее сопротивление. А ряд концепций, рожденных в недрах публицистики, уже входил в моду. Обычай историков набивать готовые концепции исторической фактурой мог стать питательным бульоном новой конъюнктуры. В 1987 г. только еще одно привычное свойство историков — политическая осторожность — тормозило наступление конъюнктуры. На горизонте маячила проблема методологической самозащиты исторической науки.

Политический процесс и профессиональная историография — не сообщающиеся сосуды. Такими их сделала «сталинская школа фальсификации». И тем не менее связь между ними существовала и существует. Другое дело, каким должен быть нормальный механизм взаимодействия. Конечно же все, кто в 1987 г. включился в перестроечный процесс, были в той или иной мере политизированы. Однако политик, сделавший историю инструментом борьбы, не очень-то расположен говорить то, что не получит поддержки его сторонников и единомышленников. Профессионал-историк (в идеале) не должен

приносить свою науку в жертву массовым настроениям. Конечно, бывают моменты, когда политический процесс и прогресс исторического знания почти совпадают друг с другом, более того, борьба за историческую истину становится формой политической борьбы. Именно так было в 1987 г. Однако уже в то время нам не хотелось оказаться в положении людей, повторяющих истины, не ими найденные, пропагандирующих открытия, приготовленные на политической кухне. Лично у нас, не знаем, как у других, нарастали опасения, что вместо медленного освобождения от предрассудков и заблуждений прошлого нам предлагают слишком короткий путь. Иногда появлялось ощущение, что к истине кое-кто помчался галопом, может быть, не очень хорошо зная о том, что пишет.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См.: Наука и жизнь. 1987. № 4.

² Поликарпов В. Федор Раскольников // Огонек. 1987. № 26.

³ Ненароков А. У времени в плену // Огонек. 1987. № 39.

⁴ Самсонов А. Историю забывать нельзя. — ...Но нельзя и переиначивать // Соц. индустрия. 1987. 24 мая; Стаднюк И. Право на поиск истины // Соц. индустрия. 1987. 14 июня.

⁵ Минц И. К биографии революции // Правда. 1987. 28 сент.

⁶ Карякин Ю. Стоит ли наступать на грабли? Открытое письмо одному Инкогнито // Знамя. 1987. № 9; Шмелёв Н. Авансы и долги // Новый мир. 1987. № 6; Клямкин И. Какая улица ведет к храму? // Новый мир. 1987. № 11.

⁷ Афанасьев Ю. Энергия исторического знания // Моск. новости. 1987. № 2.

⁸ См.: Данилов В. П. // Литературная Россия. 1988. 22 июля.

⁹ Mark von Hagen. History and Politics under Gorbachev: Professional Autonomy and Democratization // The Harriman Institute Forum. Vol. 1. No. II (November, 1988).

Позиция авторов:

ИСТОРИК И ПЕРЕСТРОЙКА

(ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ)

Время летит так быстро, что статья «Историк и перестройка», написанная всего три года назад, воспринимается сегодня скорее как свидетельство еще недавней ог-

* Впервые опубликовано: Козлов В. А. Историк и перестройка // Вопросы истории КПСС. 1987. № 5. Печатается с сокращениями.

раниченности наших представлений о прошлом, чем как факт историографии. Именно поэтому авторы испытывают потребность еще раз напомнить читателю о времени появления статьи и не удивляться, обнаружив в ней нотки некоторого эпического спокойствия, историографической умиротворенности, уверенности в незыблемости многих отвергнутых ныне истин.

Советское общество идет по пути перестройки. Мы уже перешагнули границу, за которой упрощенное понимание прошлого опыта, готовые прописи и рецепты, попытки действовать «под копирку», используя в качестве шаблона «окостеневшую» на уровне 30—40-х годов «модель» социализма, вполне обнаружили свою несостоятельность. Набирают силу процессы, которые ведут нас все дальше в область творчества нового. От самих историков зависит сегодня, какое место займет их наука в решении насущных общественных задач, выдвинутых апрельским (1985 г.) Пленумом ЦК, XXVII съездом КПСС: будет ли она лишь фиксировать события или существенно обогатит социальную практику актуально осмысленным историческим опытом. Удовлетворит ли она потребность современного человека в познании прошлого и настоящего, или он будет обращаться за историческими знаниями и объяснениями к художественной литературе и публицистике. Сумеет ли историк донести до широкого читателя представления о конкретно-исторических закономерностях общественного развития или останется лишь поставщиком, пусть даже и яркого, иллюстративного фактического материала.

Пока что историки партии и советского общества находятся в сложном положении. Ученые советы и издательства уже возвращают, хотя и робко, книги, еще вчера казавшиеся бесспорно «проходимыми». Исторические журналы начали проявлять вкус к полемическим и критическим материалам. Средства массовой информации постоянно публикуют письма читателей с острыми, жгучими вопросами, на которые не всегда найдешь ответ даже в специальных исторических исследованиях, не говоря уже об учебниках; обострился вопрос о критериях актуальности и действенности исторических исследований. В то же время продолжают выходить книги и статьи, принадлежность которых нашему времени определишь разве что по дате издания и модернизированной терминологии. В среде историков чувствуется некоторая растерянность. Иные просто оказались в положении

«голового короля», хотя, подобно своему сказочному коллеге, часто этого и не замечают.

Серьезные трудности испытывают не только любители «цитатной методологии», комментаторства и общих мест, перемежаемых архивными сносками, но и те исследователи, которые действительно хотят серьезных перемен в познании прошлого. Получив возможность прямо и открыто высказаться по острым историческим проблемам, они ощутили тяжелое бремя личной ответственности за то, что хотели, но не сказали вчера, за то, что они могут и должны сказать сегодня. Ведь уход от трудностей овладения материалом, анализа и объяснений уже невозможно прикрыть спасительной ссылкой «премудрых пескарей» на то, что-де «об этом говорить все равно не дадут». А в это время в обществе идет бурное обсуждение проблем нашего давнего и недавнего прошлого. Писатели и журналисты, коммунисты и беспартийные, историки и неисторики, люди разных поколений и жизненного опыта торопятся высказаться по вопросам, которые долгое время обходила молчанием историческая наука. Сами же историки переживают своеобразный период манифестов и деклараций, которые выплеснулись из академических аудиторий и залов ученых советов на страницы популярных изданий¹.

Историю надо писать по-новому, ее надо очистить от искажений, замалчиваний и комментаторства — таков критический пафос прозвучавших призывов. Однако критический анализ положения, сложившегося в нашей области обществоведения, еще далек от завершения. Мы нередко еще ждем указаний и распоряжений, хотим, чтобы нам определили «границы дозволенного». Автор этих заметок судит в данном случае не только по себе и своим коллегам по работе. Реальное подтверждение той непростой психологической ситуации, тех трудностей, с которыми столкнулись историки, прежде всего преподаватели, можно увидеть, в частности, в письме доцента А. Н. Давыдова, с которым меня ознакомили в редакции журнала «Вопросы истории КПСС». «Известно,— говорится в письме,— что в последнее время на страницах газеты «Московские новости» появился ряд статей, относящихся к вопросам изучения истории КПСС (см. № 2, 3, 6). В № 2 за этот год была опубликована статья проф. Ю. Афанасьева «Энергия исторического знания»². В № 6 в статье Егора Яковлева говорится, что проф. Афанасьев вовсе не истина в последней инстанции. Идет-

де борение мнений. А в статье проф. Афанасьева поднимается ряд вопросов, по которым хотелось бы прочитать, услышать ваше мнение как органа Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, ведь нам надо работать со студентами.

1. В статье т. Афанасьева говорится, что в учебниках иногда воспроизводится далекая от истины сталинская схема победы Октября и строительства социализма в СССР;

2. В статье говорится, что на несчастного студента обрушивается вал сталинских определений — «разновидность меньшевизма», «меньшевистский уклон», «антиреволюционная группа», «агентура кулачества» и т. п., на заучивание таких ярлыков-де должен тратить в основном свои мыслительные способности студент. А в то же время он лишен возможности разобраться в существе теоретических споров и концепций социализма, сравнить путь строительства социализма в СССР с путем строительства в других странах и т. д.

Возникает вопрос о том, можно ли схему победы Октября и строительства социализма, данную в нашей партийной литературе, называть только сталинской.

Можно ли определения некоторых (названных выше) уклонов и оппортунистических групп, бывших в рядах нашей партии, называть только сталинскими определениями? Ведь эти определения даются в материалах пленумов ЦК и съездов партии. Например...» Далее даются выдержки из партийных документов.

Я хорошо понимаю трудности, с которыми столкнулись А. Н. Давыдов и другие преподаватели истории партии. В многочисленных аудиториях звучат сегодня — публично и громко — вопросы, которые совсем недавно студенты задавали с глазу на глаз, в частных разговорах и только тем преподавателям, которым они всецело доверяют. Возможно, некоторые студенты ссылаются при этом на Ю. Афанасьева. Но разве такие вопросы не возникали перед другими историками? Ведь они, по сути дела, являются результатом замалчиваний, упрощений, схематизма в освещении истории партии.

Выступление Ю. Афанасьева и письмо А. Н. Давыдова полемически противостоят друг другу. Однако отнесемся с уважением к обоим точкам зрения, руководствуясь мудрым правилом: «Говорят, что посередине между двумя противоположными мнениями лежит истина.

Никоим образом! Между ними лежит проблема...»³ Так в чем же состоит в данном случае проблема?

Ведь не о том же речь, кому персонально принадлежат оценочные формулы, о которых спрашивает А. Н. Давыдов (хотя в некоторых из них, по-моему, чувствуется та личная нетерпимость И. В. Сталина, о которой в свое время писал В. И. Ленин⁴). И тем более не о согласии с ошибочными взглядами тех или иных деятелей оппозиций и уклонов. Проблема, на мой взгляд, не в том, «можно ли схему победы Октября и строительства социализма, данную в нашей партийной литературе, называть только сталинской?». Любая «схема», может быть, и удобная для дидактических целей и заучивания, уже не удовлетворяет интеллектуальным потребностям общества. Сегодня необходим иной уровень доказательности и убедительности, преодоление застарелых болезней наших учебников, а отчасти и специальных исторических исследований — схематизма и упрощенчества в освещении острейших проблем истории партии и советского общества.

Никто за нас, историков, не решит наши профессиональные вопросы. И вряд ли помогут взаимные обвинения и повышенный тон, обращения за «разъяснениями» в вышестоящие инстанции, а тем более попытки превратить полемические перехлесты в политические ошибки. Ведь все мы едины в том, что историю надо писать и преподавать по-новому. Готовых рецептов, как это делать, нет пока ни у кого. Но глубоким заблуждением было бы сводить наши новые задачи к простейшему арифметическому действию — элементарной замене плюсов на минусы (или наоборот) в оценке прошлого.

Когда мы задаем себе вопрос о том, почему с такой легкостью продували историографию «ветра конъюнктуры» (выражение К. Симонова⁵), почему после начавшегося на рубеже 50—60-х годов «углубления» в недавнее прошлое мы так легко попали в плен комментаторства, замалчивания, упрощения, то прежде всего видим причины этого за пределами самой исторической науки. До известной степени это оправданно. При анализе прошлого опыта историков побуждали к показу «полезного и хорошего», причем так, чтобы не затрагивать процессы превращения вчерашнего «хорошего» в сегодняшнее «плохое». Такая установка долгие годы сужала поле зрения историков, ориентируя их на «сбалансированный» рассказ о «хорошем» (прежде всего) и «плохом» (в по-

следнюю очередь). Это было результатом той «несамостоятельности», которая, как писал в свое время советский философ Э. В. Ильенков, «выражается в том, что настоящее представляется без противоречий, составляющих пружину дальнейшего развития. При таком абстрактно-самодовольном «самосознании» все предшествующее развитие и в самом деле начинает рисоваться как процесс приближения к некоторому идеально-предельному состоянию, каковым мнит себя это настоящее. В результате любой образ прошлого освещается лишь в тех абстрактных чертах, которые удастся представить как «намек» или «зародыши» сегодняшнего положения вещей. Все остальное начинает казаться «несущественным», и в разряд этого «несущественного» как раз и попадают те конкретно-исторические противоречия, которые эту пройденную ступень и породили, и разрушили»⁶.

Такой подход плохо согласуется с революционным духом марксизма-ленинизма. Он наложил неблагоприятный отпечаток на всю историографию советского общества, которая напрямую испытала на себе последствия «непротиворечивой» концепции развития социализма. И если сегодня мы видим в жизни не «отдельные недостатки», для приличия присовокупленные к нашим бесспорным достижениям, а море проблем, которые и достижения и недостатки объясняют и порождают, то странно было бы не видеть того же самого в прошлом. Так общий ход перестройки, острый критический дух нашего переломного времени создают возможности для критического осмысления нашего «вчера».

Все это вовсе не значит, что на новом пути нас не подстерегают методологические рифы и теоретические мели. В спорах и дискуссиях сегодняшнего дня активно участвует история. И здесь иногда возникает тенденция механического переноса в прошлое сегодняшних представлений⁷, попытки оценивать его как «неполноценное настоящее». Это касается, в частности, стремления некоторых публицистов перенести на оценку решений и практики переходного периода наше сегодняшнее восприятие и понимание хозрасчета, наше отношение к административным методам и т. п. Вольно или невольно, но при таком подходе события прошлого оцениваются не с точки зрения его реальных противоречий, проблем и возможностей, а с позиции соответствия или несоответствия нашим сегодняшним знаниям, предпочтениям, приоритетам, а то и просто личной точке зрения того или иного публициста.

Пример такого прагматического отношения к истории в некотором роде представляет статья Л. Воскресенского «На пути к социалистическому рынку», призванная объяснить читателю наш сегодняшний интерес к ленинской концепции нэпа. Появление статьи, безусловно, является откликом на насущные задачи времени, но реализация замысла не может не вызвать возражений. Л. Воскресенский весьма негативно оценивает политику «военного коммунизма». По его мнению, разрушение производительных сил страны к началу 20-х годов было вызвано не только длительной войной, но и «в не меньшей мере некомпетентными и волюнтаристскими упражнениями «левых» экстремистов, пытавшихся «огосударствить» все до последней нитки и иголки». Однозначно — но уже в розовых красках — оценивается практика новой экономической политики. Для доказательства своей точки зрения (наряду с абсолютно верными размышлениями о той спасительной роли, которую сыграл нэп в восстановлении разрушенной экономики страны) автор прибегает к прозаическому пересказу поэмы В. Маяковского «Хорошо!»:

«Весна 1927 года:

— Окна разинув, стоят магазины. В окнах продукты: вина, фрукты. Сыры не засижены (!). Лампы сияют. «Цены снижены».

— Пыхтят фабрики: больше будет ситца. Стала опираться кооперация.

— Крестьянину с раннего утра «работа любя!»: «землю попашет, попишет стихи»⁸.

На фоне такой непротиворечивой картины нэпа, в которой не нашлось места ни для классовой борьбы, ни для анализа серьезных диспропорций народного хозяйства, ни для изучения административных «подпорок» экономических рычагов, однозначно негативным выглядит изменение методов экономической политики в начале первой пятилетки: оно предстает как результат бюрократического произвола, и никаких объективных причин, никакого категорического императива переноса центра тяжести на административные методы Л. Воскресенский не видит.

Придерживаясь различных взглядов на нэповский механизм хозяйствования, историки-специалисты — как мне кажется, единодушно — не могут принять «образы» «военного коммунизма» и нэпа, предложенные Л. Воскресенским. И причины этого не в парадоксальности и но-

визне выдвинутой им концепции, а в ее очевидном несоответствии общеизвестным фактам.

В издании, рассчитанном на историков, вряд ли есть необходимость говорить об этом сколько-нибудь подробно, хотя подчеркнем, что эти вопросы отнюдь не относятся к числу «окончательно решенных» в исторической науке*. И все же для оценки представлений Л. Воскресенского о «военном коммунизме» стоит привести мнение человека, который не только «военному коммунизму», но и коммунизму вообще не сочувствовал: «Столкнувшись с нехваткой почти всех предметов потребления, вызванной отчасти напряжением военного времени — Россия непрерывно воюет уже шесть лет, — отчасти общим развалом социальной структуры и отчасти блокадой, при полном расстройстве денежного обращения, большевики нашли единственный способ спасти городское население от тисков спекуляции и голодной смерти и, в отчаянной борьбе за остатки продовольствия и предметов первой необходимости, ввели пайковую систему распределения продуктов и своего рода коллективный контроль.

Советское правительство ввело эту систему, исходя из своих принципов, но любое правительство в России вынуждено было бы сейчас прибегнуть к этому. Если бы война на Западе длилась и поныне, в Лондоне распределялись бы по карточкам и ордерам продукты, одежда и жилье»⁹. Так писал Г. Уэллс, побывавший в Советской России в разгар «военного коммунизма» — осенью 1920 г.

Вынужденная чрезвычайными обстоятельствами гражданской войны политика «военного коммунизма» действительно породила ряд иллюзий и утопических представлений, в том числе и в рядах нашей партии, вызвала неоправданные надежды: на волне революционного энтузиазма перейти непосредственно к социализму. Но вряд ли указания на «волюнтаристские упражнения «левых» экстремистов, пытавшихся «огосударствить» все до последней иголки и нитки», способны внести ясность в понимание такого сложного социально-экономического, политического и психологического явления, каким был «военный коммунизм». Не сделай коммунисты то, что они сделали, сконцентрировав ресурсы страны (а необходимость этого понимал не только рабочий класс,

* См., например, недавнюю дискуссию между Е. Г. Гимпельсоном и И. Б. Берхиным // Вопросы истории КПСС. 1986. № 6 и 10.

но и крестьянство), не было бы победы в гражданской войне, а следовательно, и новой экономической политики.

Теперь еще одно свидетельство современника: «...нас внезапно застигло непредвиденное событие. Бесконечные империалистические провокации против советских представителей за рубежом и массовые разговоры о возможной войне блока буржуазных стран против СССР вызвали среди части граждан панику. Началась повальная закупка муки и сахара. Кулаки и кое-кто из середняков стали придерживать у себя товарный хлеб и не пускать его в продажу»¹⁰. О каком времени это свидетельство? Да о том же 1927 году. События разворачиваются спустя некоторое время после той весенней идиллии, которую описал Л. Воскресенский. А в декабре 1927 г. на XV съезде ВКП(б) прозвучало уже откровенное признание в том, что страна пережила *«экономические затруднения кануна войны без того, чтобы иметь войну»*¹¹.

В условиях начавшейся индустриализации и обострения международного положения хозяйственный механизм нэпа начал давать сбои. Ситуация, предшествовавшая повороту 1929 г., вызвала необходимость форсировать индустриализацию, сосредоточившись на немногих приоритетных задачах¹², пробежать в десять лет то расстояние, которое другие страны проходили за столетие, требовала нарушения «нормальных» пропорций хозяйственного развития, а следовательно, и перенесения центра тяжести от экономических рычагов к административным. Обеспечить беспрецедентное перераспределение средств в тяжелую промышленность иными способами было невозможно.

А угроза войны, которая заставляла это делать, отказываясь от нормального порядка движения, воспринималась современниками как совершенно реальная и близкая. И дело было не только в конфликте на КВЖД, который обнаружил серьезные проблемы в состоянии обороноспособности страны. В 1929 г. А. Гайдар писал в газете «Волна» (Архангельск): «Тот год и день, когда напряженную тишину тысячеверстной нашей западной границы разорвут первые залпы вражеских батарей... этот год и день и час не отмечен еще черной каемкой ни в одном из календарей земного шара. Но год этот будет, день возникнет, и час придет»¹³.

Нарастающее обострение обстановки (именно так воспринимали ситуацию многие современники) диктова-

ло необходимость отказа от ряда наработанных методов, которые были хороши сами по себе, но не годились для новых условий. Кстати сказать, такую возможность в свое время предвидели Ленин, партия. В резолюции X съезда РКП(б), провозгласившего переход к нэпу, ясно говорилось, что «партия должна обладать достаточной эластичностью, чтобы в случае необходимости быстро перейти к системе боевых приказов»¹⁴. Такое же отношение к «системе боевых приказов» содержится в письме В. И. Ленина в Политбюро ЦК о тезисах Е. А. Преображенского (16 марта 1922 г.): «9. Вторая фраза 11 параграфа (против «комбедовских способов») вредна и неверна, ибо война, например, может принудить к комбедовским способам»¹⁵. Таким образом, вопрос о выборе методов решения экономических проблем Ленин диалектически ставил в зависимость от конкретной обстановки. Фактически любое серьезное изменение внутренней и внешнеполитической ситуации должно было менять пропорции и соотношения методов: административных и экономических, принуждения и убеждения, энтузиазма и личного интереса.

Больше всего меня смутили не те неточности, которые допустил Л. Воскресенский, а то, что это было сделано с благими целями, для обоснования идей, часть которых заслуживает весьма серьезного к себе отношения. Это ставит меня в психологически сложное положение. А заставляет вступать в полемику прежде всего прагматическое отношение к прошлому, лобовая «подгонка» его к злобе дня. Все это уже было. И наши публицисты не хуже меня знают, к каким печальным последствиям ведет этот путь. Прошлым нельзя командовать, оно признает только одну форму взаимоотношений: с ним нужно считаться, и его нужно правильно понимать, независимо от того, нравится оно нам или нет.

Серьезный исторический анализ хозяйственного механизма 20-х годов способен дать современной практике гораздо больше, чем просто напомнить бесспорную истину о выгодности хозрасчета. Дело в том, что исторический опыт показывает и ограниченность трестовского хозрасчета: этот хозрасчет был неглубок, он не доходил не только до отдельного рабочего места, но даже до предприятия, прибыль которого обезличилась в едином балансе треста¹⁶, и слабости системы материального стимулирования рабочего, действовавшей в то время в государственной промышленности. Словом, объективный

исторический анализ в состоянии показать возможные «подводные камни» хозрасчета и способы обойти эти «подводные камни». Но Л. Воскресенский, увлеченный идеей социалистического рынка, не вспомнил даже о том, с каким именно рынком имела дело государственная промышленность в 20-е годы. А ведь это была стихия мелко-товарного производства, ежедневно порождавшая капитализм. Это совсем не тот рынок, опыт взаимоотношений с которым может иметь для нас сегодня принципиальное значение.

Идеализированные представления о нэпе способны, конечно, послужить эмоциональным аргументом в споре, но к истинным оценкам реального положения дел они привести не могут. Поясню свою мысль. Ленинские идеи хозрасчета и личного интереса были гораздо шире реальной практики нэпа, поэтому они и приобрели такую актуальность в наши дни. Нэп был конкретно-исторической формой реализации ленинских идей, рассчитанной на решение задач переходного периода, на создание предпосылок и «мостков» для перехода к социализму. В сегодняшних условиях речь идет о принципиально иной, не нэповской форме конкретно-исторической реализации концепции хозрасчета и личного интереса (нэповская форма, как известно, была рассчитана на многоукладную экономику), о качественно новом подходе, о новой концепции движения, отличающейся как от практики нэпа, так и от опыта форсированного социалистического строительства в годы первых пятилеток.

Возвращаясь к вопросу, который неожиданно увел нас к рассуждениям о нэпе, о повороте 1929 г., а вернее, о необходимости соблюдения принципа историзма в оценке прошлого, хотелось бы подчеркнуть, что не только «внешние условия», но и недостаточная культура, в том числе методологическая, иных ученых позволяли им в недавнем прошлом с легкостью менять оценочные суждения. Значит, и вырастали эти суждения не из глубокого осмысления исторических фактов на основе марксистско-ленинской диалектики, а просто облегчали и цементировали монтаж этих фактов, подчиняя его застывшему на уровне 30—40-х годов представлению о социализме, которое проникло в кровь и плоть исторических исследований, учебников, популярных работ и закреплялось в сознании людей. В этой «школе» выросло целое поколение историков, к которому относит себя и автор этих заметок. Некоторые из нас до сих пор воспринимают ис-

тину как золотую середину между критиканством и лакировкой. А она в действительности лежит вообще в другой плоскости мышления, и гражданская партийная позиция историка состоит вовсе не в умении сбалансированно подать недостатки и успехи, трудности и достижения.

Проблема не просто в том, что изучение прошлого невозможно без анализа его ошибок и просчетов. Это, казалось бы, аксиома для любого здравомыслящего человека. Но наивно считать, что такой анализ — дело, в общем-то, простое, что его эффективность определяется только доброй волей историка, только категорическим императивом говорить правду. Правда в истории предполагает решение серьезнейших профессиональных вопросов, она не сводится к указаниям на виновников и эмоциональным филиппикам. Объяснение историк не вправе подменять нравоучением, а знание — эмоцией. Все это вещи вполне очевидные. Но достаточно всерьез задуматься над тем, а что это, собственно говоря, такое — «ошибка» применительно к прошлому, чтобы понять всю нетривиальность проблемы. То, что признали за ошибку современники (или в принципе могли признать)? То, ошибочность чего стала нам ясна сегодня? А не будет ли в этом последнем случае наше движение по пути познания сопровождаться бесконечным открытием все новых и новых ошибок в прошлом? Прикладывая к оценке решений и действий наших исторических предшественников сегодняшнее знание и понимание, мы склонны порой трактовать эти решения как ошибочные. Между тем критерий здесь должен быть другим: в какой мере политическое руководство в пределах понятий и представлений своего времени, уровня общественного сознания, его возможностей и средств могло найти более оптимальное решение? В какой мере ошибки и просчеты, а также то, что сегодня мы воспринимаем как ошибки и просчеты, — результат и отражение своего времени, в какой мере они оправданы (или не оправданы) реальными возможностями эпохи?

С этой точки зрения мы стоим сегодня не просто перед необходимостью новых оценок, но прежде всего перед переходом на качественно иной уровень профессионального и массового исторического мышления, не только закрытого для «ветров конъюнктуры» благоприятными внешними условиями развития науки, но и методологически защищенного от них.

Традиционные исторические обобщения часто строились по следующей схеме: исследователь раскрывал (иногда просто пересказывал) содержание тех или иных принципиальных политических решений, затем на конкретном материале показывал деятельность КПСС и Советского государства по их реализации (в начале периода: сложились предпосылки, поставлены задачи; в конце периода: задачи в основном решены). При таком подходе, до недавнего времени вполне удовлетворявшем многих историков, развитие советского общества представляло как движение к некой «непротиворечивой сущности». Противоречия развития социалистического общества, эта «пружина», источник «самодвижения», как бы проваливались в «стыки» между периодами. Вопрос о том, как формулируются в дискуссиях и острых столкновениях мнений сами задачи, отражая реальные жизненные противоречия, как они решаются, порождая не просто «движение вперед», а вновь возникающие противоречия,— все это если не оказывалось за рамками исторического исследования, то, во всяком случае, получало облегченное освещение. Чему могла научить такая история? Прежде всего... исполнительности, тому, что, если задачи поставлены, их, конечно, надо решать. Но научиться самостоятельно мыслить, научиться диалектике, понять закономерности исторического движения общества и свое место в этом движении таким образом нельзя.

Методологические просчеты в освещении истории партии и советского общества (а они особенно заметны в учебной литературе) приводят к серьезным воспитательным потерям. Нагляднее всего это видно по той мозаичной картине, какую представляют в сознании современного человека 30-е годы: поразительный энтузиазм первых пятилеток и грубые нарушения социалистической законности; рост чувства собственного достоинства у миллионов людей и культ одного человека; ожесточенное сопротивление активного, реального, действующего классового врага и «враги народа», в разряд которых попали многие честные и преданные коммунисты и беспартийные. Все это было. Обо всем этом нужно знать и помнить. Но одинаково далеки от истины будут как попытки судить о 30-х годах по законам современной жизни, абстрагируясь от остроты классовой борьбы переходного периода, особенностей строительства социализма в одной стране, так и полное оправдание «суровостью времени» всех ошибок, перегибов, нарушений законности.

Ошибки не перечеркивают успехов, но и успехи не оправдывают ошибок — эта истина достаточно очевидна. Однако парадокс состоит в том, что «белая» и «черная» части общей картины 30-х годов существуют как бы независимо друг от друга, что одна часть этой картины формируется под влиянием научных и научно-популярных исторических исследований, а другая — основана на информации, почерпнутой из других источников, не «переваренной» профессиональной историей. А в результате в обыденных, повседневных дискуссиях о далеком и трудном довоенном времени нередко доминирует упрощенная метафизическая логика: однозначные оправдания или осуждения прошлого. В повседневной «рабочей» модели 30-х годов, которой пользуется современный человек, преобладает «позитив» или «негатив», но обычно отсутствует диалектика. В результате разрушается целостное восприятие эпохи.

Объяснить этот феномен очень непросто. Выскажу лишь одно предварительное соображение. В свое время, на рубеже 50—60-х годов, в ходе открытого и гласного обсуждения проблемы в исторической науке ссылки на культ личности нередко выступали в роли универсального объяснения всех проблем и трудностей довоенного периода. При этом имело место очень широкое толкование самого понятия. Начавшееся «углубление» в проблему было фактически свернуто в конце 60-х годов. Тема культа личности была, по сути дела, выведена из анализа довоенных пятилеток в своеобразные «резервации» — одна-две страницы в учебниках и обобщающих трудах, посвященные пересказу известного постановления ЦК КПСС. Обосновывалось это нередко тем, что по данному вопросу уже сказано достаточно. Образовавшийся вакуум стал быстро заполняться «устной традицией», обыденными, далекими от научности объяснениями. В изучении и освещении драматического предвоенного периода советской истории нашей науке предстоит восстановить свою репутацию, и сделать это надо на современном методологическом уровне, избегая односторонних оценок и суждений.

К сожалению, в современной историографии я не могу найти убедительные примеры в освещении темы. Но представляется, что у нас есть поучительный литературно-художественный образец: роман А. Бека «Новое назначение» дал объективный образ коммуниста-руководителя конца 30—40-х годов — «солдата партии», «бойца

за выполнение директив». Людей, подобных Александру Леонтьевичу Онисимову, как справедливо считает писатель, в истории еще не было: «Эпоха дала им свой чекан, привила первую доблесть солдата: исполнять! Их девизом, их «верую» стало правило кадровика-воина: приказ и никаких разговоров!»¹⁷ Онисимову ненавистны замашки барина, ему не вмоготу досужие вечера дома, он знает только одно — дело. Но при этом он привык «держаться аппарат в напряжении», руководствуясь авторитарным правилом «доверился — погиб», нетерпим к «нижестоящему» мнению и «самодеятельности» подчиненных. Онисимов, по словам А. Бека, «не знавал даже и мыслей о парадоксах, о противоречиях эпохи. От вопросов, которые могли возмутить его, коммуниста, разум и совесть, он уходил, ускользал простейшим способом: не мое дело, меня это не касается, не мне судить. Любимый его брат погиб в тюрьме, в душе он оплакал Ваню, но и тогда остался твердым в своем «Не рассуждать!»¹⁸.

Эти люди «вписаны» в эпоху, они отражают в своем духовном мире ее противоречия, трудности и ошибки. Очень просто выносить им обвинительные или оправдательные вердикты. Ведь Онисимову, его товарищам и коллегам дано было жить в своем суровом, трудном и героическом времени, нам же дано лишь безопасное и умозрительное знание о нем. Руководители типа Онисимова были жестоко «привязаны» к своей эпохе, их стиль работы рассчитан на решение узкого круга задач в экстремальных условиях строительства социализма в одной стране. За пределами этой ситуации их методы руководства выродились в бюрократизм, администрирование, зажим инициативы снизу.

Историкам, на мой взгляд, еще только предстоит сделать то, что средствами художественного слова сделал писатель. Правда, в свое время историки уже приступали к решению этой задачи, например при подготовке IX тома «Истории СССР с древнейших времен до наших дней» (сохранился первоначальный макет издания). А сейчас в среде историков можно услышать слова о необходимости специальных исследований по истории культуры личности. Такая точка зрения, бесспорно, имеет право на существование. Но все же, на мой взгляд, предлагаемый некоторыми историками ракурс рассмотрения довоенной и послевоенной истории таит в себе опасность серьезных перекосов. При подобном подходе эпоха социалистического строительства, героизма, подвигов и

борьбы советского народа рискует превратиться в «эпоху культа личности». Это было бы и несправедливо, и исторически неграмотно. А вот в создании подлинно научной политической биографии И. В. Сталина и других руководителей, в частности Н. С. Хрущева, сегодня действительно существует общественная потребность.

Издержки в освещении ряда острейших проблем истории партии и советского общества, на мой взгляд, прямо связаны с тем, что вопрос о конкретно-исторических противоречиях социалистического общества в значительной степени выпадал из сферы исторического анализа. В результате историческая мысль нередко фиксировала прежде всего «видимый слой» происходивших изменений, часто впадая в описательность и комментаторство, замыкаясь на показе «внешней стороны» процесса, как бы абстрагируясь от его глубинных основ. Последнее в таком случае становилось прерогативой философов и социологов, которые, по распространенному мнению, должны были «обобщать» накопленные исторической наукой факты. Единый процесс восхождения от абстрактного к конкретному как бы разделялся ведомственными барьерами, а место теоретической конкретности неправомерно занимала конкретность эмпирическая. В этом, думается, состоит главная внутренняя причина удивительной открытости исторической науки для «конъюнктурного произвола», за которую нас так часто и справедливо ругают в последнее время.

Недостаточная конкретно-историческая обеспеченность теоретических представлений о сложной диалектике развития советского общества в немалой степени способствовала и закреплению в общественном сознании застывшей «модели» социализма, распространению вредных иллюзий: достаточно принять «хорошее решение», чтобы раз и навсегда решить все проблемы. По сути дела, такие иллюзии — обязательный атрибут устаревшего типа мышления, о котором сказано немало справедливых и резких слов в партийных решениях последнего времени. Этот старый тип мышления выступал, в частности, как стремление к поиску «враз исцеляющих решений», уверенность в их высокой эффективности. Между тем с завершением переходного периода практика «разовых» действий, направленных на решение вопроса «кто кого?» и ликвидацию одной из борющихся противоположностей, должна была уступить место практике решений принципиально иного типа. Неантагонистические

противоречия социалистического общества предполагают не уничтожение одной из противоположностей, а их сознательное соединение¹⁹. Необходимость предвидения лишь ближайшего, «конечного» результата своих действий отступает перед необходимостью предвидеть новую форму противоречия и на этой основе «соединять», то есть использовать для дальнейшего движения, противоположности.

Главная проблема, конечно, не в том, чтобы продекларировать этот достаточно очевидный принцип, а в переводе общетеоретических положений на язык конкретной истории. От историков в связи с этим ждут не новых фактов самих по себе, а новых мыслей и идей, не переказа, а рассуждений. Фактический материал — основа любого исторического исследования, но только основа, фундамент, на котором строится здание исторических обобщений. Слишком часто мы заранее знали конечный результат нашего исследования (исследования, а не научно-популярной работы), и под этот вывод нам оставалось только подобрать факты. Уже известные истины мы таким образом, может быть, и подтверждали, но новой открыть не могли.

Большие познавательные возможности, перспективы существенного углубления исторического анализа открывает, как мне представляется, то направление исторической науки, которое можно условно назвать анализом альтернативных ситуаций²⁰. Вопрос слишком серьезен, чтобы бегло касаться его в этих заметках. Скажу только, что, на мой взгляд, историческое исследование, построенное на принципах этого подхода, способно обрести качественно новые черты и существенно изменить свои традиционные и во многом уже отставшие от запросов наших современников формы. Концентрация изложения вокруг критических точек общественного развития, рассмотрение истории с позиций диалектики возможного и действительного, теоретическое и конкретно-историческое обоснование инвариантности исторического процесса, раскрытие потенциальных возможностей прошлой действительности, а значит, в конечном счете и возможностей нынешнего дня — все это способно вывести историческое познание на новый уровень доказательности и убедительности, повысить вклад историков в разработку методологических основ и практику научного управления обществом. Речь в данном случае идет не о фантазировании по принципу «что было бы, если...», столь харак-

терном порой для обыденных рассуждений, а о вскрытии на материале конкретной истории реальной диалектики объективных условий и субъективного фактора в поворотные моменты общественного развития.

Поиски подходов к «альтернативным ситуациям» не единственная методологическая перспектива. В последней монографии И. И. Минца «Год 1918-й» мы также имеем дело с многообещающими методологическими разработками, направленными не просто на обоснование схемы последовательного изложения событий, а на выработку способов подчинить это изложение выявлению основного (основных) противоречия изучаемого периода, «гвоздей момента» и на этой основе дать его целостную, а не мозаичную картину. Вообще говоря, главное направление методологических разработок, как мне кажется, смещается сегодня в те самые «стыки» между периодами, где по традиционной формуле обобщающего труда по истории советского общества, образно говоря, «скрывались» противоречия. Одновременно резко повышается значение историко-психологических исследований, анализа «человеческого измерения» истории, конкретно-исторических закономерностей координации целесообразной деятельности людей в условиях строительства и совершенствования социализма.

Примеривая на себя будущее, размышляя о настоящем, современный человек все пристальнее вглядывается в зеркало прошлого. Задача историка не в том, чтобы до блеска полировать это зеркало или сдуть с него пылинки «пестрого сора» ушедшей жизни, главное — чтобы оно не было мутным или кривым.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См.: *Афонасьев Ю.* Энергия исторического знания // Моск. новости. 1987. № 2; *Он же.* С позиций правды и реализма // Советская культура. 1987. 21 марта; *Минц И.* Оружие не менее острое... // Огонек. 1987. № 1; *Самсонов А.* Знать и помнить // Аргументы и факты. 1987. № 10; и др.

² Автор письма имеет в виду изложение доклада, сделанного проф. Ю. Н. Афанасьевым в Московском государственном историко-архивном институте.

³ *Гете И.-В.* Избранные сочинения по естествознанию. М., 1957. С. 393.

⁴ См.: *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 45. С. 346.

⁵ См.: Четвертый съезд писателей СССР: Стенографический отчет. М., 1968. С. 160.

⁶ *Ильенков Э. В.* Диалектическая логика. Очерки истории и теории. М., 1984. С. 256—257.

⁷ Есть, правда, иная, противоположная, но столь же ошибочная тенденция, на которую указывал И. П. Прусанов. См.: Вопросы истории КПСС. 1987. № 2. С. 78.

⁸ *Воскресенский Л.* На пути к социалистическому рынку // Моск. новости. 1986. № 48. С. 12.

⁹ *Уэллс Г.* Россия во мгле. М., 1958. С. 14.

¹⁰ *Зверев А. Г.* Записки министра. М., 1973. С. 95.

¹¹ Пятнадцатый съезд ВКП(б): Стенографический отчет: В 2 ч. М., 1962. Ч. 2. С. 1094.

¹² См.: *Ципко А. С.* Некоторые философские аспекты теории социализма. М., 1983. С. 200—201.

¹³ Цит. по: *Гайдар Т.* Голиков Аркадий из Арзамаса // Новый мир. 1986. № 7. С. 151.

¹⁴ КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 1983. Т. 2. С. 327.

¹⁵ *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 45. С. 44.

¹⁶ См.: *Звездин З. К., Кульчицкий С. В.* Проблема индустриализации в системе экономической политики переходного периода // Экономическая политика Советского государства в переходный период от капитализма к социализму. М., 1986. С. 88.

¹⁷ *Бек А.* Новое назначение // Знамя. 1986. № 10. С. 42.

¹⁸ Там же. С. 29.

¹⁹ См.: *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 42. С. 211.

²⁰ См., например: *Волбуев П. В.* О проблеме выбора путей общественного развития // Вопросы философии. 1984. № 1, 2; *Ковальченко И. Д.* Возможное и действительное и проблемы альтернативности в историческом развитии // История СССР. 1986. № 4.

Взгляд из сегодня:

«КРИЗИС ЖАНРА» ИЛИ КАНУН МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ?

В 1987 г. весьма риторически звучал вопрос: будет ли историческая наука лишь фиксировать события, или она обогатит социальную практику актуально осмысленным историческим опытом? Состояние историографии и профессиональной среды, уровень подготовки кадров и ущерб, который нанесла исторической науке ее апологетическая функция,— все это было достаточным основанием для того, чтобы дать отрицательный ответ на поставленный вопрос. Считать, что глубокие изменения могут произойти за несколько лет, значило впадать в утопию и совершенно не считаться с законами развития исторического знания. Признаемся, что дань этому благодушному утопизму отдали в свое время и мы.

В начале перестройки ползучий эмпиризм профессиональной историографии вообще не мог существовать без концептуальных подпорок публицистики. И публицисты

стремительно заполняли постоянно расширявшийся мировоззренческий вакуум. Однако их подходы и объяснения выполняли скорее политическую, чем аналитическую функцию — интеллектуальное «отторжение» и дискредитация тех сторон прошлой действительности, которые в первую очередь подлежали пересмотру, реформированию или полной ликвидации.

Интересы и приоритеты перестроечного сознания, совсем не обремененного знанием конкретного исторического материала, диктовали на первых порах приемлемые для политики модели советской истории (разумеется, только в сравнении с «Кратким курсом истории ВКП(б)»). До тех пор пока политический процесс шел по пути разрушения старого, эти модели соответствовали задачам и потребностям прогрессивного развития самого исторического знания. Шла расчистка исследовательского пространства от старых догм и стереотипов. Никто в то время не осознавал в полной мере возможные подводные камни этого интеллектуального переворота. Несущей опорой переосмысления прошлого была не историческая наука как таковая, не ее внутренние потребности, а внешние по отношению к науке факторы. Сама же советская историография со всеми познавательными структурами, психологией кадров, представлениями и ориентирами, объективно говоря, была готова только к тому, чтобы вынуть отработанный блок концепций, почерпнутых из «Краткого курса истории ВКП(б)», и заменить его другим, созданным уже в условиях новой политической конъюнктуры.

В первых дискуссиях борьба как раз и шла не за углубление собственно исторического знания как такового, а за «схему», за то, чтобы предложить и обществу, и историкам новые объяснения прошлого. Одни стремились сохранить и отстоять старые «схемы», другие — разрушить их порой путем простого перевертывания с ног на голову, замены политических знаков. И первые, и вторые не выходили за рамки старого типа мышления, устойчивых традиций историографического «абсолютизма» и монополии на истину. И те и другие вели «огонь на уничтожение». В результате политизированные дискуссии о прошлом чем дальше, тем больше вырождались в вульгарную перебранку о том, «туда», «не туда» или «не совсем туда» шла страна на протяжении 70 с лишним лет. Вероятно, поэтому «подгонка» прошлого к злобе дня (не только «правая», но и «левая») очень быстро

перестала быть фактором, благоприятным для развития исторической науки.

Та история, которая для одних выполняла роль политической дубинки, а для других — функцию очищения мозгов от старых «схем», нужна сегодня разве что плохим политикам. Безусловно, исторические мотивы еще долгое время будут звучать в политической борьбе, а профессиональные историки — получать синяки и шишки как справа, так и слева. Пожелаем им твердости духа для того, чтобы противостоять соблазнам политического ангажемента. Слишком многое по-прежнему зависит от внешних условий существования исторической науки. Впрочем, и сам метод лобовой политической атаки на старую методологию и историографию сегодня, кажется, уже несколько выдохся и устал.

Дело порой доходит просто до казусов.

Даже диалектика и та, оказывается, в состоянии вызывать отрицательные политические эмоции. Ю. Афанасьев в интервью «Литературной газете» прямо заявил: «...на знамени КПСС написан, в частности, гегелевский закон единства и борьбы противоположностей с его идеей «снятия» («*Enthebung*»). Якобы главный механизм развития природы и общества — это борьба «полюсов» вплоть до уничтожения одного другим. Я говорю «якобы», потому что новейшие научные изыскания, та же теория «дополнительности» Нильса Бора, опровергают этот «закон». Развитие в природе и обществе происходит не за счет «снятия», а путем сочетания противоположностей, компромиссов, рождающих новые реалии»¹.

Господи, неужели Ю. Афанасьев уже и законы диалектики готов отвергнуть только потому, что они написаны «на знамени КПСС»? (Иногда с ужасом думаешь, а если бы «на знамени КПСС» была таблица умножения, ее тоже долой?) Неужели мало Ю. Афанасьеву сегодняшних политических противников, если он даже Гегелю готов ставить двойки за поведение?

Кстати сказать, изложенный Ю. Афанасьевым якобы «гегелевский закон» действительно весьма вульгарен. Мы говорим «якобы», потому что достаточно заглянуть в любой философский словарь, чтобы убедиться в несводимости «снятия» к уничтожению одного «полюса» другим. Даже в старом, «застойном» учебнике по обществоведению для 10-го класса и то можно прочесть, что неантагонистические противоречия разрешаются совсем иначе. Совершенно непонятно, где Ю. Афанасьев отыскал

у Гегеля такую примитивную «диалектику»? Может быть, действительно на «знамени КПСС», но только сталинской поры? И зачем известному историку понадобился авторитет Н. Бора для утверждения теоретического трюизма (во всяком случае, для Гегеля и Маркса это именно трюизм) о развитии путем «сочетания противоположностей»? Диалектический материализм не отрицает и такого пути развития общества и природы, хотя и описывает процесс в более строгих терминах и понятиях. При чем здесь «новейшие научные изыскания»? При чем здесь «принцип дополнительности»? Если же «красногвардейская атака» на диалектику понадобилась Ю. Афанасьеву для того, чтобы обосновать идею общественного согласия и «гражданского мира», то для этого, право, больше подходит воспринятая у Гегеля ленинская мысль об умении сознательно «соединять противоположности»², чем «принцип дополнительности». И наконец, каким браком собирается сторонник полной ликвидации тоталитарного государства (здесь мы с ним полностью солидарны) «сочетать» его с новыми демократическими формами, рожденными перестройкой? И какой политический гибрид может появиться в результате такого «сочетания»? «Демократический тоталитаризм» или «тоталитарная демократия»?

Одним словом, не так-то просто оказалось диалектике, изгнанной из истории сталинским догматизмом, вернуться в наши исторические исследования. Не очень-то ее тут и ждут.

А чем меньше диалектики, тем больше схематизма. Одно только и утешает. «Схем» и концепций уже так много, что у профессиональных историков появилась по крайней мере возможность выбора. Правда, этот выбор нередко подчиняется политическим симпатиям и антипатиям историков. Отсюда опасность для «среднего» исследователя. Как бы не соблазнился он удобством обслуживания новых априорных «схем». Ведь умение подбирать цитаты и факты в подтверждение господствующей точки зрения развито в нас гораздо больше, чем способность плыть против течения. Не дай бог, если опять заработает система политических табу и запретов, отсекающая неудобные факты.

Разумеется, мы понимаем, что остаться вне политики никому из историков, занимающихся историей XX в., не удастся. Но не пора ли все-таки задуматься над тем, что общество в целом нуждается в объективном знании и это

объективное знание не должно напрямую определяться законами конъюнктуры. Оно может быть только результирующим вектором различных научных позиций. Но для этого каждое направление должны представлять люди, умеющие «снять» позитивные знания, накопленные оппонентами. Отношение к прошлому, скажем так, может и не быть разъединяющим началом. Да и сами историки могут не разбегаться по разные стороны политических баррикад. У них есть свои профессиональные обязанности, которые с точки зрения общечеловеческих потребностей выше интересов того или иного политического лагеря. История должна хотя бы попытаться стать надпартийной. В этом мы полностью согласны с Ю. А. Поляковым³.

Не будем, однако, сводить нынешние трудности советской исторической науки к новым формам политического прессинга и конъюнктуры. Они (эти трудности) не сегодня начались и не завтра кончатся. Перманентным состоянием историографии стал глубокий методологический кризис. Политическая свобода ни на йоту не приблизила нас к выходу из тупика. До сих пор главным в обобщающих исторических описаниях, а именно о них идет сейчас речь, была проблема стадийности развития советского общества, его «восхождение» на все более высокие ступени «реального социализма». В конечном счете это были заведомо несостоятельные попытки «лобовых» описаний истории отдельной, да еще достаточно отсталой страны, конкретного общества в глобальных понятиях формационной теории, созданной для иных научных целей. Сейчас все «эсхатологические» описания советской истории (описания, в которых исторический процесс рассматривается как движение к некоему идеальному «предельному состоянию») потерпели крах. Принцип «от — к» уже не воспринимается историками всерьез. (Вряд ли получит место в серьезной науке и его (этого принципа) вывернутый наизнанку вариант — послеоктябрьская история как уход в сторону или назад от мирового цивилизационного процесса.)

То, что старое разрушено, очевидно для всех. А попытки выделять «этапы строительства социализма» ничего, кроме недоумения, сегодня не вызывают.

Но что взамен?

Новые концепции, претендующие на роль «философского камня» историографии? Они рождаются на наших глазах, а чаще возрождаются или заимствуются из за-

падной социологии. Казалось бы, эти заимствования могут быть только полезными и конструктивными, ибо позволяют обойтись без методологических «велосипедов», имплантировать богатый мировой социологический и историографический опыт в наши исторические описания. Однако общее методологическое невежество гораздо чаще порождает не содержательный синтез западных и отечественных идей и концепций, а практику прямых и порой весьма вульгарных заимствований. Между тем ни один из существующих в западной науке подходов и так не дает вполне удовлетворительных результатов.

В 1974 г. известный американский ученый по истории России М. Малия прочитал во Франции курс лекций, изданный в 1985 г. под названием «К пониманию русской революции». Во введении к своей работе он заявил: «Более чем через шестьдесят лет после этих событий наши анализы остаются весьма бедными, иногда примитивными, зачастую без всякой подлинной связи с реальностью»⁴. (Тем более, прибегая к заимствованиям, надо, как минимум, критически относиться к их предмету.) Все многообразие интерпретаций российской революции М. Малия попытался представить в виде трех моделей: либеральной, консервативной и марксистской.

Первая модель построена на убеждении, что развитие истории есть путь к парламентаризму и либерализму, понимаемому как секуляризация священной монархии и рост индивидуальных свобод. Эта модель «не исключает возможность революционного разрыва — по крайней мере вначале». Но в действительности, по мнению либеральных историков, этой возможности можно было избежать или по крайней мере вовремя остановиться. В России естественный процесс движения к либерализму был прерван первой мировой войной, которая «разметала естественное развитие политической жизни страны». В возникшем хаосе «группа фанатиков смогла захватить власть» и создать «новую автократию в виде Единственной партии»⁵. Одни сторонники этой модели, по мнению Малия, пытаются объяснить происхождение советской автократии влиянием ее имперской предшественницы, подкрепленным марксизмом⁶. Другие подчеркивают воздействие «культа экономического развития», с самого начала включающегося в «логику системы». Ряд историков настаивает на определяющем действии факторов экономического характера, управляющих эволюцией Советского

государства: «существует экономический императив, не зависящий от природы режима, ибо в XX веке, для того чтобы выжить, государство должно индустриализоваться». М. Малия приходит все же к выводу о том, что в СССР существует некая реальность, о которой «либеральная модель не дает достаточного отчета». По его мнению, либералы слишком верят в существование модели «умеренной революции»: достаточно обойтись без излишеств и действовать постепенно⁷.

Консервативная модель российской революции (ее М. Малия называет также «циклической») характеризует «маятниковый ход» революционного процесса: «Любая революция начинается радостью захвата Бастилии, с тем чтобы превратиться в террор, но чрезмерные действия террора порождают Бонапарта, который, отступая, стабилизирует положение»⁸. Тот, кто движется слишком быстро, вынужден будет отступить назад. И хотя нельзя отрицать «идеологической лихорадки и новых формулировок, но сама революция, вместо того чтобы содействовать созданию нового мира, возвращает нас к прежнему». Признавая справедливость некоторых положений консервативной модели, М. Малия сомневается в полной совместимости этой модели с реальным ходом российской истории: «Можно говорить о замедлении революционного процесса, но никогда не было полной остановки и еще меньше возврата назад, как в революциях английской или французской. Не было возврата и к статус-кванте в том смысле, что диктатура продолжает существовать, не было и бонапартизма, то есть захвата власти армией, которая останавливает революционный процесс»⁹.

Марксистская модель, по Малия, рассматривает российскую революцию как выражение естественноисторической закономерности, но в зависимости от оценки конечных результатов трактует советский феномен либо как революцию подлинную, либо как «революцию преданную» (название известной книги Л. Д. Троцкого). В ортодоксальной советской модели культ личности — чудовищный «исторический инцидент». Но каким образом, задает вопрос М. Малия, вписывается тогда это чудовище в «логику истории»? «Диссидентский марксизм» начиная с Л. Д. Троцкого говорит о преданной революции. К господству приходит новая социальная сила — партийно-государственная бюрократия и ее вождь — Сталин. Рабочее государство вырождается, а революци-

онный импульс почти угасает в глубинах исторического процесса.

Мы сознательно использовали приведенную выше типологию концепций, несколько злоупотребляя пересказом, для того, чтобы наш читатель понял: новизна всего, что он услышал в последние годы, на 90% результат невежества, в котором выросло несколько поколений советских людей, историков — в том числе. Но пока российская общественная мысль второй половины 80-х годов больше повторяет пройденное, чем прокладывает действительно новые пути.

Вообще же типология М. Малия слишком условна и дидактична для того, чтобы ею можно было безоговорочно пользоваться. Во всяком случае, пересечений и совпадений между тремя моделями так много, что вряд ли можно ограничиться разделением историков на «либералов», «консерваторов» и «марксистов». Цикличность революции признают (хотя и по-разному оценивают) и «консерваторы», и «марксисты». В «марксистских» интерпретациях советской истории, так же как и у «либералов», немалое место занимает проблема индустриальной модернизации. Во всех трех «моделях» сильно звучат «тоталитаристские мотивы» и поиски «генетического кода» системы.

Все это заставляет нас искать в концепциях, которые «самозародились» или проникли извне в советскую историческую науку, своего рода «большие алгоритмы» советской истории, претендующие на фундаментальное объяснение самого исторического феномена — Россия XX века. Логическое правило, известное как «бритва Оккама», не допускает увеличения числа сущностей сверх необходимого. Зачем же нам понадобилось вдобавок к концепциям, гипотезам, закономерностям, теориям и моделям вводить еще и алгоритмы? Прежде всего для того, чтобы выразить потребность в синтезе методологических подходов к истории советского общества, показать возможность «снятия» и интеграции знаний о цикличности, повторяемости, «предопределенности», последовательности и взаимозависимости исторических явлений и процессов для отражения обычной в исторической практике инерционности событий (большевики в 20-е годы любили повторять: сказав «а», непременно произнесешь «б», и так — до конца алфавита). Алгоритм (а это понятие мы заимствуем из точных наук конечно же с большой долей условности) есть «снятое» знание той или иной концепции

о взаимосвязи исторических фактов как во времени, так и в пространстве. Это еще не закономерность*, а одно из возможных приближений к ее постижению — отчасти рациональное, но в немалой степени — интуитивное (кстати сказать, именно это является одной из важных характеристик алгоритма в математике).

К «большим алгоритмам» советской истории можно отнести: алгоритм «догоняющего развития» или индустриальной модернизации, алгоритм «большой революции» и «доктринальный» алгоритм. За каждым из них стоит концепция (концепции), более или менее разработанная в западной и нашей социологии и историософии. Каждый имеет свою сферу действия, специфический в ряде случаев язык описания, набор понятий, категорий, догм и шаблонов. Каждый схватывает определенные закономерности в развитии советского общества и объясняет более или менее значительную совокупность исторических фактов.

Сегодня первым по популярности, но отнюдь не по эвристической силе и объяснительному потенциалу является «доктринальный» алгоритм. Его в известной мере можно считать специфически советской разновидностью широко известного в советологии «тоталитаристского» подхода, который распространял термин «тоталитаризм» на всю советскую историю начиная с 1917 г., а в «генетическом коде» идеократической системы, утопизме большевистских концепций, реализованных на деле идеях «диктатуры пролетариата» искал объяснение драмы советской истории.

Ряд западных ученых уже отказывается объяснять феномен российской истории XX в., исходя исключительно из «тоталитаристских» схем. Р. Дэниелс в третьем

* Некоторые западные историографы считают, что для полного раскрепощения советской исторической науки необходимо отказаться от убогого и примитивного понимания исторической закономерности, которая фактически объявляет все действительное разумным, а все разумное действительным. (См. об этом: *Coquin François X. Comments on the Current «Ferment» and Revision of History in the Soviet Union; Stakes, Limits, Outlook // Facing Up to the Past. Soviet Historiography under Perestroika. P. 25—26.*) В этом отношении мы с ними полностью согласны. «Псевдодетерминизм» в советской исторической науке, воспитанной на уроках «Краткого курса истории ВКП(б)», больше, естественно, не может служить для историков путеводной звездой. Однако историческая закономерность в ее строго научном понимании тем не менее может и должна оставаться одной из фундаментальных категорий исторического познания.

издании хрестоматии «Сталинская революция» (серия «Проблемы европейской цивилизации») пишет, что многие американские исследователи в последние годы не принимают термин «тоталитаризм» и тоталитаристскую модель, видя в них пропагандистское свехупрощение советской реальности¹⁰. К числу таких исследователей относятся, в частности, Ш. Фитцпатрик, С. Коэн и ряд других авторов. Они воспринимают эту модель как вывернутый наизнанку советский догматизм.

Как пишет по этому поводу Ш. Фитцпатрик, в ранний период «холодной войны» и советские, и западные комментаторы разделяли точку зрения о том, что система, возникшая в Советском Союзе в 30-е годы, была исторически неизбежным порождением большевистской революции. Они расходились только в оценке ее природы. С советской позиции, революция привела к социализму, с западной — выродилась в тоталитарную диктатуру. Для тех и других система была антиподом западной демократии. Изменения в Советском Союзе после смерти Сталина, как считает Ш. Фитцпатрик, заставили обе стороны пересмотреть свои суждения, особенно относительно неизменяемости советской системы. После XX съезда КПСС советские авторы постарались отделить «законный» ленинизм и Октябрьскую революцию от временного «эксцесса» сталинского периода. На Западе ослабление «холодной войны» позволило начать пересмотр тоталитаристских моделей. На конференции в Беладжио, организованной Р. Такером в 1975 г., термин «сталинизм» уже явно предпочитали термину «тоталитаризм». С этого времени, по мнению Ш. Фитцпатрик, политологи начали движение в сторону от тоталитаристского образа Советского Союза — до и после Сталина, считая его в то же время приемлемым для описания самой сталинской системы¹¹. Р. Дэниелс, например, не отказываясь от понятия «тоталитаризм», призывает придать ему правильный исторический смысл, поставить в верный контекст. При этом он соотносит «тоталитаризм» с «авторитаризмом», рассматривает форму диктатуры, возникшую в результате сталинской «революции сверху» как высшую степень авторитарного управления, проникновения власти во все сферы общественной жизни¹².

Заметим сразу, что сами понятия «авторитаризм» и «тоталитаризм» широко используются и в нашем обществоведении. Причем не только в пропагандистских целях. Однако серьезные авторы отнюдь не сводят

к «тоталитаризму» объяснения всех явлений и событий истории, а подвергают серьезному анализу само это явление, существование которого в нашей истории в принципе ни у кого не вызывает сомнений¹³.

Померкшая на Западе звезда тоталитаристской модели (мы имеем в виду ее пропагандистский вариант) ярко светит сегодня над перестроечной Россией. Ей придало новое дыхание издание в СССР «Архипелага ГУЛАГ» А. Солженицына, а также широкое распространение в среде пишущих интеллектуалов работ М. Геллера и А. Некрича «Утопия у власти», А. Авторханова «Ленин в судьбах России» и ряда других. На этой почве и выросла советская разновидность «тоталитаристского» подхода — то, что мы называем «доктринальным» алгоритмом. Наиболее подробно он рассмотрен в работах А. Ципко¹⁴ (заметим сразу, что содержание этих работ отнюдь не сводится к доктринальным мотивам, включает в себя более широкий круг идей) и его многочисленных эпигонов. Вот они-то (эти эпигоны) из тезиса об ошибочности ряда фундаментальных марксистских идей выводят объяснение чуть ли ни всех бед России в XX в. Если же говорить о серьезных исследованиях, а не их пропагандистских вариациях, то они сильны анализом идеологических форм, в которых «власти предрержащие» осмысливали сами и преподносили народу разнообразные факты экономической и политической жизни. «Доктринальный» алгоритм дает теоретический компонент механизма выработки и реализации политических решений, способы адаптации марксистских понятий к потребностям сталинской системы, идеологический «цемент», от которого зависела стабильность сталинского и послесталинского общества.

Бесспорно, что политический выбор в альтернативных ситуациях во многом определялся доктриной. Однако она, хотя и создавала механизм политической заданности, а порой блокировки или торможения (в определенной мере и до известной степени) развития событий по их «естественному» историческому руслу, никогда и никого не сковывала настолько, чтобы помешать политическим действиям партийного руководства. С удивительной легкостью доктрина освящала практически любые решения. Весь вопрос был в том, в чьи руки она попадала и чьи интересы обслуживала. И тогда концепция мировой революции превращалась в теорию социализма в одной стране, курс на союз с середняком — в форсиро-

ванное «колхозное раскрестьянивание», отмирающее государство и бесклассовое общество — в теорию обострения классовой борьбы, диктатура пролетариата — в диктатуру партии или ее «вождя».

«Доктринальный» алгоритм позволяет сорвать идеологические оболочки с реального исторического процесса. Именно это делает, например, М. Малия, когда показывает идеологическую механику изображения псевдосоциализма («окаменение» социальной революции в «системе всеобщей идеократической бюрократии и крепостной зависимости от Государства»¹⁵) как социализма подлинного. Однако у нынешних советских адептов и сторонников «доктринального» подхода эта идеологическая оболочка слишком часто отождествляется с самим историческим процессом. Идеологичность «доктринального» алгоритма в значительной мере опирается на анализ текстов, на цитаты, к которым привязываются те или иные исторические факты, обычно самого мрачного свойства. Но почему с помощью классических марксистских текстов можно было обосновывать и объяснять как ленинский нэп, так и сталинскую «революцию сверху», как брежневский застой, так и горбачевскую перестройку? Задача — освободить «доктринальный» алгоритм от вопиющей предвзятости, которая позволяет, например, А. Ципко рассуждать о подвижнической вере большевиков в необходимость разрушения «буржуазной культуры своего народа», полностью игнорируя хрестоматийные ленинские высказывания о бережном отношении к культуре прошлого¹⁶.

Мы не отвергаем «доктринальный» алгоритм. Он тоже есть некое приближение к непознанным еще закономерностям развития идеократического общества. Однако превращение этого подхода в работающий инструмент исторического познания предполагает, как минимум, объяснение земных, реальных причин семантических сдвигов, переносов акцентов, теоретических «лакун» в доктрине, анализ феномена «доктринальной избирательности», которая отличала партийное руководство в поворотные моменты политической истории.

Но даже в таком очищенном от предвзятости виде «доктринальный» алгоритм не объясняет законов функционирования советской системы, а причины сталинской «революции сверху» слишком тесно связывает с «дефицитом ревизионизма». С точки зрения любых «тоталитаристских» версий, не только «доктринальных», необъ-

яснимой выглядит и горбачевская «революция сверху», начатая в 1985 году. Не случайно для многих западных историков, по признанию Р. Дэниелса, очень долгое время оставался неясным и спорным вопрос о том, как далеко в состоянии пойти М. С. Горбачев в своих реформах, будет ли в их результате разрушена тоталитарная система¹⁷. Эти реформы действительно положили конец старой советской системе. Однако почему «вожди режима» оказались на это способными? Удовлетворительного ответа на этот вопрос пока нет. Значит, какие-то тайны уходящей системы еще не раскрыты. А раз это так, то, замыкаясь в кругу «тоталитарных» моделей, мы обрекаем себя на непонимание не только прошлого, но и настоящего, на блуждание в дебрях социального кризиса без путеводителя и карты.

Совсем не случайно, что сегодня сбываются не пессимистические предсказания «тоталитаристов», а сдержанно-оптимистические прогнозы исследователей, которые ориентировались на различные модели индустриальной модернизации. Показательно, например, что один из наиболее удачных прогнозов развития СССР в 80-е годы, подготовленный в Центре стратегических и международных исследований Джорджтаунского университета (директор проекта Роберт Ф. Бирнс), базировался именно на этих методологических посылах. Р. Бирнс, размышляя о проблемах 1980-х годов, о вставшей перед советским руководством необходимости выбирать между «неприятным и нетерпимым» (Э. Берк), пришел к следующему выводу. Необходимость изменений была подготовлена как раз успехами в модернизации традиционного общества. Осуществив эту трансформацию, считал Р. Бирнс, советские лидеры именно в 80-е годы должны были решить, как приспособить политический порядок к необходимости заставить новое общество эффективно работать (After Brezhnev. Sources of Soviet Conduct in the 1980 s. Indiana University Press. Bloomington, 1983. P. 423).

Модели модернизации достаточно убедительно «работают» в истории стран так называемого «догоняющего развития». К числу этих стран принадлежала и Россия начала XX в. Как пишет по этому поводу Т. Макдэниел, социологи, историки и политологи признали ограниченные возможности абсолютизации западноевропейского опыта и основанных на нем теорий, предложили анализ альтернативных путей и результатов развития. Он отно-

сит к таким попыткам «теорию отсталости» Гершенкрона, «типологию модернизирующих элит», разработанную Кэрром и его коллегами, анализ «классовых союзов» и их роли в социальных изменениях (Мур), а также «теории зависимости» в мировой экономике. Эти исследования опирались и на российский опыт, проливая свет на социальные изменения в революционной и послереволюционной России¹⁸.

По мнению Т. Макдэниела даже этого многообразия концепций недостаточно для того, чтобы объяснить феномен «Россия XX века». Он предложил свою концепцию, в которой модель индустриальной модернизации России основана на противоречиях между капиталистическими экономическими учреждениями и самодержавием в политической сфере, сформировавшими особые отношения между государством и капиталистической элитой, конфликты и несоответствия как внутри государственной бюрократии, так и внутри капиталистического класса¹⁹.

С конца 60-х годов в советской науке также разрабатывались концепции, объясняющие особенности «догоняющего развития»²⁰. Концепция «второго эшелона» развития капитализма была положена в основу исторического анализа в книге И. К. Пантина, Е. Г. Плимака и В. Хороса «Революционная традиция в России» (М., 1986). В последнее время начали появляться работы молодых историков, осмысливающих советскую историю в категориях «догоняющего развития» и индустриальной модернизации²¹. Этот алгоритм позволяет связать воедино достаточно широкий круг исторических фактов. В современной советской социологии, занятой изучением феномена перестройки, проблемы модернизации рассматриваются в широком плане — как переход от традиционного общества к современному. При этом важнейшим компонентом модернизации считается переход от тоталитаризма (авторитаризма) к демократии²². Однако, подчеркнем это еще раз, данный подход имеет мало общего с традиционными тоталитаристскими схемами объяснения советской истории.

Давнюю традицию в мировой и отечественной историографии имеет алгоритм «большой революции». Этим алгоритмом пользуются даже те исследователи, которые считают Октябрьскую революцию 1917 г. «сомнительной», отказывают ей в праве быть отнесенной к «Великим революциям». При любом отношении к российской революции этот подход способен объяснить очень многие

явления советской истории, дать научную интерпретацию проблем политического экстремизма, пролетарского якобинизма, насилия и террора, проследить восходящую линию революции, ее регресс и упадок, «термидор» и «бонапартизм».

В России еще в XIX в. Н. Г. Чернышевский, основываясь на истории Французской революции Шлоссера, вывел закон цикличности революции, подошел к пониманию неизбежного отката всякой революции назад, закономерности термидора и т. д. Эти вопросы, как известно, волновали Ф. Энгельса, а после 1921 г. и В. И. Ленина. До конца своей жизни разрабатывал эти идеи Л. Троцкий. Богатейшую традицию имеют различные западные «социологии революций».

До недавних пор исследователи доводили алгоритм «большой революции» до середины 30-х годов. Казалось, что после сталинской «революции сверху» этот алгоритм уже не действует. С началом перестройки мы видим, что это не совсем так, что у «большой революции» в России более длительный исторический цикл. Р. Дэниелс в своей книге «Возможны ли в России реформы?» выдвинул оригинальное предположение, что революционный процесс в России только сейчас приблизился к своей надолго отложенной финальной фазе и страна переживает сегодня революционное возрождение, возвращение к ценностям свободы 1917 г.

Еще в 20-е годы многим казалось, что естественная логика «большой революции» должна подталкивать большевиков к защите «новых собственников», выросших в недрах нэповского общества, к завершению самотермидоризации, начатой в 1921 г., либо новую власть должна была смести мелкобуржуазная контрреволюция. Революция, по мнению сменовеховцев, меньшевиков, убежала слишком далеко вперед и неизбежно должна была отступить до некоей разумной черты. В действительности же сталинская политика конца 20 — начала 30-х годов прервала экономический «термидор», а взамен ожидавшегося по классической схеме политического «термидора» (перерождение большевистской власти в агента «новых собственников») начала репрессии во имя «социализма».

«Революция сверху» сопровождалась второй якобинской волной порабощения собственности. И «самотермидоризация» остановилась. «Большая революция» взяла перерыв на индустриальную модернизацию, которая про-

водится с помощью рычагов этатизма, государственного нажима, «атомизации» граждан, ликвидации остатков «гражданского общества», чрезвычайных мер и пресечения любого сопротивления. Для всего сталинского периода характерны варварские формы и методы индустриальной модернизации с подавленным алгоритмом «большой революции». Перестройка, вначале заявившая о себе лозунгами ускорения, научно-технического прогресса, кажется, становится завершением «самотермидоризации», начатой в 1921 г. Это, впрочем, совсем не означает вульгарного «возврата к капитализму». «Термидор» «оттаивает» (под «термидором» в данном случае мы имеем в виду, разумеется, не политический переворот, а общесоциологический феномен «отката» революции назад, возвращение ее на путь органического развития).

Помимо названных алгоритмов советской истории, историческая концептуалистика, вероятно, найдет и опишет новые, не известные еще алгоритмы. Не исключено, что даже отвергаемый ныне алгоритм «социалистического строительства» в новом качестве вернется в историографию. Возможно, уже в ближайшее время будет разработан «державный» алгоритм, отражающий проблемы и противоречия исторического развития многонационального государства. Появляются и ростки других алгоритмов. М. Гефтер, например, в интервью журналу «Век XX и мир» обронил интересное замечание по поводу исторической особенности России: «могущество за счет развития»²³. Может быть, за этим образом стоят какие-то глубинные закономерности. Однако в этом случае, как и во всех остальных, было бы преждевременным вводить подобные образы и метафоры в качестве алгоритмов. Историки, работающие над методологией исторических обобщений, в состоянии реально оперировать только теми алгоритмами, которые уже имеют развернутую систему понятий и устойчивую историографическую традицию.

«Большие алгоритмы» вообще могут сыграть дурную шутку с исследователем при описании конкретного исторического процесса. Слишком жесткая привязка фактов к тому или иному алгоритму чревата и излишней жесткостью схем описания, невосприимчивостью к неудобной информации. Именно это происходит сегодня с «доктринальным» алгоритмом. «Большие алгоритмы» вообще представляют собой лишь рабочие объяснительные схемы. Они призваны связать воедино большие массивы исторических фактов. В то же время эти комбинации

фактов в исторических обобщениях, подчиненных логике того или иного алгоритма, очень различны. Уже само это различие заставляет задуматься. Что это? Результат неполноценности одного из подходов? Необходимость отдать предпочтение другому? Или же речь идет о том, что все эти объяснительные схемы, диктующие определенный принцип описания исторических фактов, просто схватывают различные стороны процесса? Способы их связи и соединения, собственно, и пытаются каждый раз эмпирически найти конкретные историки.

Но проблема включения «больших алгоритмов» в ткань конкретной исторической работы не только в этом. Р. Дэниелс справедливо отметил: изменение взглядов на прошлое связано не только с открытием новой информации, но, пожалуй, в большей степени с новыми ассоциациями, которые рождает современность²⁴. Это действительно так. Но нам не следует путать естественный и органичный процесс с политической конъюнктурой. Иначе прошлое может стать настолько подвижным и неопределенным, настолько изменчивым и непостоянным, что вообще потеряет в глазах наших современников самостоятельную историческую ценность и уже ничего не сможет подсказать настоящему. Впрочем, попытки объяснить прошлое из него самого, из той реальности, какой оно когда-то было, мало кому до сих пор удавались. Смысл прошлого при любом подходе, при опоре на любой «большой алгоритм» слишком часто искали в сегодняшнем дне. А в советской идеологической традиции, как писал в свое время Э. Ильенков, прошлое вообще рассматривалось как «неполноценное настоящее»²⁵. Многообразие прошлой реальности сужалось до рамок, заданных сегодняшним днем, самооценность исторических процессов растворялась в политической заданности исторических описаний.

Историческая концептуалистика, основанная на «больших алгоритмах», сама по себе не дает выхода из этого заколдованного круга. Как и все глобальные концепции, оперирующие «снятым» историческим материалом, «большие алгоритмы» слишком открыты для свободных интеллектуальных игр и поветрий политической моды. Поэтому сегодня, на наш взгляд, главное не в создании еще одной концептуальной схемы, не разработка еще одного «очень большого» алгоритма, а поиск новых типов исторического описания, в которых история постигается из нее самой, а не из того смысла, который она за-

имствует в настоящем, высокая теория «заземляется» на грубую почву реального исторического процесса, выделяет в нем наиболее важные поворотные моменты.

Прежде всего речь идет о типологии общественных состояний, через которые проходила страна в своей истории. В одной из своих работ филолог Ю. Кузьменко использовал два гегелевских понятия: «эпическое» и «прозаическое» состояния мира, каждое из которых отличается совершенно особыми свойствами и чертами²⁶. Правда, Ю. Кузьменко рассматривает состояния в широкой исторической перспективе, полагая, например, что в «эпическом» состоянии наше общество находилось с 1917 г. до середины 60-х годов. Нам представляется, что в «эпические» состояния наше общество попадало трижды: Октябрьская революция и гражданская война, сталинская «революция сверху» и начатая в 1985 г. перестройка²⁷. Это были моменты фундаментальных изменений во взаимодействии «больших алгоритмов» истории советского общества. В результате этих изменений на первый план выходили одни алгоритмы, уходили или «засыпали» другие. Анализ этих структурных изменений, определяющих облик исторического процесса на длительную перспективу, нуждается в самостоятельном инструментарии для своего исторического описания.

То же самое относится и к «прозаическим» состояниям, рутинным периодам общественного развития, когда способность людей изменять свое будущее и действовать в масштабе социальных макропроцессов существенно ограничена, когда историческому процессу возвращается его привычная инерционность. В такие периоды, как верно подметил еще Л. Троцкий, даже смена лидера, вождя ничего не дает, потому что вместо него придет «один из кагановичей» и его снова объявят великим вождем²⁸. Для «прозаических» состояний характерны устоявшиеся «пропорции» между алгоритмами, стабильность процесса, постепенное накопление противоречий, которые долго не проявляют себя.

По мере развития общество проходит не только через смену различных состояний, но и через периоды высокого социального напряжения, через такие сгустки социальных противоречий, которые превращают определенные моменты в истории в ее «критические точки» (о работоспособности концепции «критических точек» в конкретных исторических описаниях можно судить на основании материалов следующих глав книги). Из одних «крити-

ческих точек» вырастают «эпические» состояния, сопровождающиеся глубочайшими социальными сдвигами, другие становятся моментами тактического выбора путей и средств. Бывают ситуации, при которых возможность изменений и корректировки процесса вообще не реализуется на практике.

«Критическая точка» — это в конечном счете любая ситуация, при которой могут произойти более или менее существенные изменения в сложившейся системе (от ее полной ликвидации до частичных улучшений или ухудшений). Так, например, на протяжении 20-х годов большевики несколько раз подходили к необходимости таких изменений, в 1923—1924 гг. — в форме политической реформы, в 1925—1927 гг. — в форме выбора варианта индустриальной модернизации страны. Но каждый раз оптимальный выбор зависел от возможностей субъективного фактора. И каждый раз субъективный фактор не «дотягивал» до глубоких преобразований. Противоречия на какое-то время загонялись вглубь. Но после каждого отложенного поворота они нарастали. В конце концов критическая масса противоречий превратилась в такой сгусток проблем, который сделал невозможным для правящей верхушки реформистский вариант дальнейшего развития.

Для чего нам нужны «критические точки»? Почему мы вводим это понятие? Прежде всего потому, что с его помощью мы можем показать, как изменяется или может измениться сам тип движения, изменяются или могут измениться взаимодействие социальных противоречий, пропорции между «большими алгоритмами». Выявление «критических точек» и их анализ дают возможность понять, как исторический процесс «выбирает» тип своего движения. Если не вводить в исследование «критические точки», то тогда останется совершенно непонятным, почему в определенные исторические моменты на первый план выходит один алгоритм, например «догоняющего развития», в другие — убедительнее выглядят алгоритмы «большой революции» или «доктринальный».

Нам представляется, что впереди у советской историографии не новая «суперконцепция» советской истории, а методологическая революция. Смысл ее в приближении к такому типу исторического описания, который позволит использовать положительные знания, накопленные в рамках каждого из научных направлений, каждой концеп-

ции. Одновременно он даст возможность выйти из тех тупиков, с которыми постоянно сталкивается историк современности.

С традиционным подходом, когда смысл прошлого определяется настоящим, к этой истории вообще невозможно подойти. Смысл современности еще не ясен ей самой. Тот подход, который признает равноправие «больших алгоритмов» в истории, опирается на типологию общественных состояний и умеет распознавать «критические точки» исторического процесса, позволяет предложить по крайней мере игровую модель истории современности. А возможные алгоритмы ее развития, по сути дела, определяются программами различных политических сил, действующих на исторической сцене. С этой точки зрения история перестройки, за написание которой, кажется, никто из историков не решается взяться, может быть рассмотрена и как второй этап «самотермидоризации» в рамках большого цикла российских революций, и как «обновление социализма», и как «возврат к капитализму», и как движение к демократическому гражданскому обществу, и как возврат в лоно цивилизованных стран или, напротив, как начало третьей якобинской волны поравнения собственности, утверждения традиционного эгалитаризма.

Словом, вариантов «истории перестройки» достаточно много. Правда, не больше, чем программ различных политических сил. Выбор, вероятно, будет результатом взаимодействия и борьбы, которые и определяют реальное соотношение алгоритмов дальнейшего развития. Выявление закономерностей и механизма возникновения «критических точек», в свою очередь, позволяет отказаться от традиционных приемов прогнозирования, основанных на экстраполяции в будущее закономерностей сегодняшнего дня. Ведь экстраполяция всегда весьма условна именно потому, что совершенно не учитывает возможность возникновения «критических точек», после которых соотношение действующих в истории закономерностей может существенным образом измениться. Слабость традиционных прогнозов как раз и заключается в том, что они не могут предвидеть этих «критических точек». И если нам удастся выйти на новый тип исторического описания, понять механизм взаимодействия алгоритмов, возникновения «критических точек» и смены общественных состояний, то это станет и новым шагом на пути к работающим краткосрочным историческим прогнозам.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ *Афанасьев Ю.* ...Мир изменился, партии отмирают // Лит. газета. 1990. 4 июля.
- ² См.: *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 42. С. 211.
- ³ См.: *Поляков Ю.* Познание прошлого: Преодолен ли застой? // Коммунист. 1990. № 15.
- ⁴ *Малия Мартин.* К пониманию русской революции. Лондон, 1985. С. 7.
- ⁵ Там же. С. 13, 14.
- ⁶ См. там же. С. 15.
- ⁷ См. там же. С. 16, 25.
- ⁸ Там же. С. 16.
- ⁹ Там же. С. 17.
- ¹⁰ *Daniels Robert V.* The Stalin Revolution: Foundations of the Totalitarian Era. Lexington; Mass; Toronto, 1990. P. 3.
- ¹¹ *Fitzpatrick Sheila.* New Perspectives on Stalinism // The Russian Review. 1986. Vol. 45. N 4. P. 357; см. также: *Robert C. Tucker, ed.* Stalinism: Essays in Historical Interpretation. New York, 1977, especially the article by Stephen F. Cohen, «Bolshevism and Stalinism». P. 3—29.
- ¹² *Daniels Robert V.* Op. cit. P. 3.
- ¹³ См.: Социализм и демократия. Дискуссионная трибуна. Сб. статей. М., 1989; Социализм и демократия. Дискуссионная трибуна. Сб. статей. Часть II. М., 1990.
- ¹⁴ См.: *Ципко А.* Истоки сталинизма // Наука и жизнь. 1988. № 11—12; *Он же.* Хороши ли наши принципы? // Новый мир. 1990. № 4.
- ¹⁵ *Малия М.* Указ. соч. С. 275.
- ¹⁶ См.: *Ципко А.* Дефицит ревизионизма // Лит. обозрение. 1990. № 10. С. 4.
- ¹⁷ *Daniels Robert V.* Op. cit. P. 2.
- ¹⁸ *McDaniel Tim.* Autocracy, Capitalism and Revolution in Russia. University of California Press. Berkely; Los Angeles; London, 1988. P. 13.
- ¹⁹ Ibidem.
- ²⁰ См., напр.: *Симония Н. А.* Страны Востока: Пути развития. М., 1975; Реформы второй половины XVII—XX века: Подготовка, проведение, результаты. М., 1989.
- ²¹ См.: *Горинов М.* В поисках сущности // Коммунист. 1990. № 15.
- ²² См.: *Пушков А. К.* Авторитаризм: путь к рынку или к деградации? // Социализм и демократия. Дискуссионная трибуна. Часть II. М., 1990; *Мигранян А. М.* Диалог не состоялся, или еще раз о возможности перехода к демократии в СССР // Там же; *Клямкин И. М.* Жизнь против иллюзий // Там же.
- ²³ *Гефтер М.* В предчувствии прошлого // Век XX и мир. 1990. № 9. С. 30.
- ²⁴ *Daniels R.* Op. cit. P. V.
- ²⁵ См.: *Ильенков Э. В.* Диалектическая логика. Очерки истории и теории. М., 1984. С. 256—257.
- ²⁶ См.: *Кузьменко Ю.* Советская литература вчера, сегодня, завтра. М., 1981.
- ²⁷ См. подробнее: *Бордюгов Г. А., Козлов В. А.* Духовная жизнь советского общества как предмет историко-культурных исследований // Социалистическая культура: Вопросы методологии и историографии. М., 1987.
- ²⁸ См.: Знамя. 1990. № 7. С. 163.

БУХАРИНСКИЙ БУМ (1988 г.)

Приметы времени:

ТОСКА ПО АЛЬТЕРНАТИВАМ

Еще в 1987 г. в нашей стране с трудом выговаривали фамилию Бухарина, хотя первые советские публикации появились именно тогда¹. И все же настороженное отношение к этой политической фигуре сохранялось. Вплоть до февраля 1988 г., когда на заседании Комиссии Политбюро ЦК КПСС по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями, имевшими место в период 30—40-х годов и начале 50-х годов, была заслушана информация Председателя Верховного суда СССР о результатах рассмотрения протеста Генерального прокурора СССР по делу Н. И. Бухарина. Еще через несколько месяцев, в июне 1988 г., появилось сообщение о восстановлении Бухарина в партии.

Бухарин возвращался в партию, которая еще не передала властных полномочий Советам, не выступила инициатором отмены 6-й статьи Конституции СССР. Поэтому второе событие стало для понимающих людей даже более важным политическим симптомом, чем гражданская реабилитация. Многие помнили, что именно на Бухарине остановился реабилитационный процесс второй половины 50 — начала 60-х годов. Хрущев, который близко подошел к решению о реабилитации Бухарина, не довел это дело до конца, о чем впоследствии жалел. Возвращение к этому вопросу в 1988 г. как бы устанавливало политическую связь перестройки с хрущевской «оттепелью». Тогда реабилитация трактовалась именно в таких понятиях.

У Бухарина вообще оказалась «счастливая» судьба. Другие его товарищи по несчастью, в частности такие старые большевики, как Г. Зиновьев и Л. Каменев, а тем более Л. Троцкий, до сих пор не восстановлены в партии. Тогда думали, что и это — дело времени.

В устоявшихся десятилетиями представлениях была пробита огромная брешь. Без злорадства воспринима-

лось и то, что Всесоюзная научная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Бухарина, прошла в стенах так не любившего этого «правоуклониста» Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС².

Если внешняя канва событий свидетельствовала о том, что Бухарин сравнительно легко вернулся в нашу политическую жизнь, то внутренняя, скрытая от всеобщего обозрения история его возвращения была более драматичной. Во всяком случае, показателен такой эпизод. Весной 1987 г. одного из авторов этой книги пригласил к себе вновь назначенный заместитель директора ИМЛ при ЦК КПСС В. В. Журавлев и попросил подготовить справку, связанную с реабилитацией Бухарина. Сегодня кажется странным, но тогда этот разговор Журавлев предпочел вести в коридоре, а не в своем кабинете, и разговаривали собеседники между собой почему-то вполголоса.

Кстати, подготовленная тогда справка о деятельности и политических взглядах Бухарина была положена в основу нашей статьи, опубликованной в 1988 г. в журнале «Коммунист». Ни в статье, ни в справке тогда не удалось преодолеть извинительно-оправдательного тона. Иногда авторы как бы просили прощения у читателя за ошибки Бухарина. Такая тональность и такая логика были непреодоленным пережитком старых времен, когда в нашей истории действовали исключительно путаники. Теперь же менялся сам подход к позиции и взглядам несогласных. Другой показательный момент — постоянное стремление соотнести взгляды Бухарина с ленинскими оценками. Позиция Ленина выступала как абсолютный, универсальный и непререкаемый критерий правильности действий того или иного политика. За этим стояло незнание реального механизма политической жизни в первые годы Советской власти.

Это понимание придет позже. А в 1988 г. советская пресса счастливо переживала вал публикаций о жизни и судьбе Николая Ивановича Бухарина. Впервые вышел сборник его избранных произведений³, появились биография, написанная И. Е. Гореловым, и юбилейная статья в «Правде» В. В. Журавлева и В. П. Наумова⁴. В журнале «Знамя» увидели свет воспоминания о Бухарине, принадлежащие перу его жены А. М. Лариной⁵. Огромное количество материалов печаталось в различных газетах и журналах. Безусловным и признанным лидером этого прорыва в прошлое был С. Коэн. Его статьи бук-

важно заполонили наиболее популярные в то время издания⁶. В основном это были главы из его книги о Н. И. Бухарине. В конце года она наконец вышла целиком под названием «Бухарин. Политическая биография. 1888—1938»⁷. Впервые работа западного советолога восполняла одно из самых обширных «белых пятен» на нашей исторической карте. И до сих пор она остается самой фундаментальной по проблеме Бухарина. «Вписанность» биографии этого политика в широчайший исторический контекст — такова планка, подняться до которой советским историкам еще не удалось. Интерес к Бухарину стал поводом для серьезного диалога между отечественной и западной наукой по проблемам советской истории. С тех пор он не прерывается и становится все более плодотворным.

Первые публикации о Бухарине появились в атмосфере набиравшей силу политизации исторической науки. Неудивительно, что многие из этих публикаций были и, по-видимому, останутся фактом политики, а не историографии. В научном споре с самого начала участвовала в общем-то далекая от науки сила — политика. Велик был соблазн «дожать» оппонента политическими аргументами. Под микроскопом политических преувеличений одни авторы с легкостью необыкновенной объявлялись борцами со сталинизмом, другие — его апологетами.

В кулуарах научных институтов, дымившихся от политических страстей, на страницах периодики люди стремились из осколков, остатков, кусочков нереализованных идей и взглядов 20-х годов сложить украденное у них «светлое прошлое».

Мы готовы были приветствовать эти благие намерения. Что мешало и настораживало?

Прежде всего многочисленные попытки учиться в такой школе прошлого, которой реально никогда не существовало. Возможность бухаринской альтернативы допускалась сразу и априорно. Она была порождением веры, а не знания. В нашем прошлом было так много диктата и произвола, что в конце концов само прошлое не могло не стать объектом своеобразного интеллектуального диктата постепенно прозревающих потомков. Слишком велик был соблазн немедленно научить исторических предшественников «разумному, доброму, вечному».

Собственно, в этом стремлении не было ничего удивительного, поскольку отношение к историческим персо-

нажам нашего прошлого воспитывалось долгими годами сталинской «школы фальсификаций», а в ней народу демонстрировали одних недоучек, вредителей, врагов, предателей и шпионов. Но теперь, по естественной логике отрицания, на место старых двоечников, второгодников, отстающих ставили новых. Первым из них был, конечно, Сталин. Поскольку политическая оценка деятельности Сталина уже представлялась достаточно однозначной, то процесс дискредитации сталинизма сопровождался появлением на исторической сцене светлых фигур. Им приписывались все лавры носителей истины в последней инстанции. И коль скоро в споре о прошлом в 1988 г. на первый план выдвинулся дуумвират Бухарин — Сталин, то, естественно, острейшая политическая борьба развернулась прежде всего вокруг Бухарина.

Для сторонников перемен, большинство из которых в то время продолжало осмысливать реальность в рамках социалистического выбора, обновления социализма, было характерно стремление всячески приподнять Бухарина. Потому что вместе с Бухариным на поверхности политической жизни оказывался целый пласт идей и концепций, способных подкрепить идею перехода к рыночным отношениям, создания социализма с человеческим лицом. На международной конференции в Вуппертале (ФРГ, октябрь 1988 г.)⁸ даже возник небольшой спор: можно ли считать Бухарина отцом рыночного социализма? Правда, большинство западных исследователей сочли, что такое утверждение было бы слишком большой натяжкой.

Для тех, кто уже в то время выступал против социалистического выбора вообще, кто отвергал его изначально, например для деятелей из «Демократического союза», стремление разделить большевизм на его светлую и темную стороны, на Бухарина и Сталина, было неприемлемым. Они всячески старались связать Бухарина со Сталиным и показать, что один от другого отличается весьма незначительно. На вечере в Политехническом музее, посвященном 100-летию со дня рождения Н. И. Бухарина (сентябрь 1988 г.), один из сторонников «Демократического союза», не утруждая себя доказательствами, выдал тираду: «Бухарин точно такой же палач, как и Сталин».

Дело не в том, что этот человек не знал исторической истины, а в том, что намечавшееся тогда неприятие большевизма неизбежно должно было вести к такого рода

выпадам. Вспомнилось процитированное С. Козном предупреждение газеты «Таймс» (июль 1978 г.): «...нельзя допустить, чтобы он [Бухарин] был использован для реабилитации самого коммунизма»⁹.

Позднее стало ясно, что и в среде так называемого «патриотического» направления явно обозначилась аналогичная тенденция. Сталин и Бухарин ставились не просто на одну доску. Утверждалось, что Сталин с его державными устремлениями, с борьбой против «капиталистической реставрации», которую олицетворял Бухарин, более прав, чем человек, связанный чуть ли не с западными масонскими ложами. Не стояло ли за этим желание сохранить в неприкосновенности старого вождя и учителя?

Откровенно говоря, нам до сих пор кажется, что большинство участников такого рода дискуссий, как правые, так и левые по распространенной тогда терминологии, не очень обременяли себя поисками доказательств. Они довольствовались тем немногим, что появлялось в публицистике. Последняя же питалась, в свою очередь, теми крохами, которыми располагали к тому времени советские историки. Специалистов по этой проблеме практически не было. Да и общее недоверие к профессиональным историкам еще не рассеялось. Слава богу, что все-таки объективную оценку фигуры Бухарина наши читатели смогли получить благодаря С. Козну. Авторитет западного ученого, как обычно в таких случаях, оказался выше своих доморощенных. Общее светлое ощущение, которое оставляла фигура Бухарина, в значительной степени было связано с тем, что в исторических спорах и дискуссиях участвовали люди, которые готовились к ним задолго до того, как они вспыхнули. Выбери наша публицистика другого западного ученого на роль просветителя, кто знает, как бы пошел процесс. Впрочем, если исходить из реалий того времени, никакой другой ученый, может быть, и не имел бы шансов на столь широкие публикации в нашей печати. Вспомним, что еще сохранялся определенный идеологический контроль над прессой. Академизм и взвешенность работ С. Козна помогли им пробиться сквозь это сито.

В 1988 г. общество просыпалось. Ему важно было вернуть забытое ощущение: история зависит от людей, в истории существует выбор, этот выбор в значительной степени определяется политической волей тех, кто участвует в историческом процессе. Чтобы поверить в альтер-

нативность будущего, психологически важны были альтернативы в прошлом. Чем сильнее обнаруживало себя стремление уйти от прошлого, от сталинской системы, тем большей была потребность вернуться к истокам, к той точке, с которой движение пошло «не туда». И поскольку людям хотелось для своего прошлого лучшей доли, они пристально высматривали в глубине времен доброго героя — антипод преступного вождя. На эти надежды пробуждавшихся для политики людей, не желавших считаться ни с какими «объективными причинами» добра и зла в истории, ни с соотношением социальных сил и их борьбой, как раз и легла книга С. Козна. Не случайно предисловие к оксфордскому изданию своей работы он начал словами: «Исторической неизбежности не бывает — альтернативы возможны всегда»¹⁰.

Идеализированному восприятию альтернатив способствовала и сама ситуация в обществе. Страна не вступила еще в полосу драматичного кризиса. Надо было пройти через трудности последних лет, чтобы почувствовать: реальная действительность имеет мало общего с нашими альтернативными мечтаниями. В условиях кризиса и процесс идет стремительнее, и противоречия острее, и политики особенно несвободны в своих действиях. Нам, которым долго внушали, что жизнь развивается по велению начальства, довольно трудно было понять, как и политик в своих решениях может быть чем-то ограничен. (Многие и до сих пор верны этой авторитарной иллюзии.) Легко и радостно было думать, что достаточно разработать правильную концепцию, программу, приложить политическую волю, и все будет так, как надо.

Только сегодня, наблюдая за развитием событий в нашей стране, мы сами и наше политическое руководство почувствовали своего рода «зажатость» политики между объективными условиями и состоянием субъективного фактора, соотношением социальных сил. При всем многообразии вариантов выхода из кризиса по-прежнему возможны ситуации, когда наши благие намерения могут привести к очень плачевным результатам. Такого рода «роковая» логика развития исторического процесса очень хорошо прослеживается на событиях конца 20 — начала 30-х годов. Однако, кажется, ни политики, ни массы не извлекли для себя должных уроков из этой старой истории.

¹ См.: *Медведев Ф.* Он хотел переделать жизнь, потому что ее любил // *Огонек*. 1987. № 48; *Воскресенский Л.* Знайте, товарищи... // *Моск. новости*. 1987. № 49; *Латышев А.* Бухарин — известный и неизвестный // *Неделя*. 1987. № 51.

² См.: Бухарин: человек, политик, ученый. Под общ. ред. В. В. Журавлева; сост. А. Н. Солопов. М., 1990.

³ *Бухарин Н. И.* Избранные произведения. М., 1988.

⁴ *Горелов И. Е.* Николай Бухарин. М., 1988; *Журавлев В., Наумов В.* Возвращение к правде // *Правда*. 1988. 9 окт.

⁵ *Ларина А. М.* Незабываемое // *Знамя*. 1988. № 10—12. В 1989 г. воспоминания вышли отдельной книгой в издательстве АПН.

⁶ См.: *Коэн С.* Кто вы, доктор Коэн? // *Моск. комсомолец*. 1988. 27 июля; *Он же.* На крутом повороте: Бухарин и Сталин в канун «великого перелома» // *Знание — сила*. 1988. № 9; *Он же.* Бухарин, нэп и альтернатива сталинизму // *Экономика и организация промышленного производства*. 1988. № 9; *Он же.* Нэповская альтернатива // *Наука и жизнь*. 1988. № 10; *Он же.* Николай Бухарин — страницы жизни // *За рубежом*. 1988. № 15—16; *Он же.* Н. Бухарин — взгляд американского советолога // *Эхо планеты*. 1988. № 32; *Он же.* Дуум-вират: Бухарин и Сталин // *Огонек*. 1988. № 45; и др.

⁷ *Коэн С.* Бухарин. Политическая биография. 1888—1938: Пер. с англ. М., 1988.

⁸ См.: *Ватлин А. Ю.* Перестройка исторической науки в СССР: взгляд из-за рубежа // *Вопросы истории КПСС*. 1989. № 10.

⁹ *Коэн С.* Указ. соч. С. 22.

¹⁰ Там же. С. 15.

Позиция авторов:

ПОВОРОТ 1929 г. И АЛЬТЕРНАТИВА БУХАРИНА *

Мы вводим нэп «всерьез и надолго»¹ — так думал Ленин в начале 20-х годов. Таким было мнение и большинства партийного руководства. Но в то же время те, кто задумывался о судьбах нэпа в России, начиная с Ленина и Троцкого и кончая Каутским и сменовеховцами, видели в нем опасность «термидора», мелкобуржуазной контрреволюции либо «тихой» реставрации капитализма. Блестящие социально-экономические результаты первых лет новой экономической политики не притупили ощущения этой опасности. Она оставалась одной из важнейших доминант в сознании коммунистического авангарда, постоянным аргументом во внутрипартийных спо-

* Впервые опубликовано: *Вопросы истории КПСС*. 1988. № 8. Печатается с сокращениями.

рах и идейной борьбе. К нему прибегали Ленин и Троцкий, Бухарин и Сталин, Зиновьев и Каменев, Рыков и Преображенский. И если сегодня один из основных вопросов нашей послеоктябрьской истории часто сводится к тому, как и почему можно и нужно было сохранить нэп, то для современников нэпа проблема стояла принципиально иначе: как избежать опасностей, связанных с этой политикой, и в то же время максимально использовать заложенные в ней возможности социалистического развития страны? При самом различном понимании нэпа все без исключения партийные руководители сходились в том, что в конце гражданской войны у нас было два основных класса — рабочие и крестьяне, а в начале 20-х годов стало два с половиной класса. Эта половинка — так называемая «третья сила» — новая буржуазия, потенциальная носительница реставраторских тенденций. Вне этого контекста мы ничего не поймем в событиях конца 20-х годов.

Когда в наших сегодняшних спорах о повороте 1929 г. в области партийной политики лейтмотивом звучит мысль о свертывании нэпа, надо ясно представить себе, о чем конкретно идет речь. Для коммунистов 20-х годов свертывание нэпа означало прежде всего ликвидацию частного рынка, свободной торговли в тех формах, какие сложились к середине 20-х годов. (Прямых покушений на принципы хозрасчета в промышленности поначалу не было.) Такое свертывание нэпа, а точнее его постепенная трансформация для целей социалистической реконструкции, действительно намечалось еще в 1927 г. На XV съезде ВКП(б) была разработана концепция перевода нэпа на новые основания, ускорения (не форсирования) социалистических преобразований². (Никакой сплошной коллективизации в то время не планировалось, и с этой точки зрения поистине натяжкой является утвердившаяся в литературе оценка XV съезда как съезда коллективизации.) Это была именно программа постепенной трансформации нэпа, а не его свертывания.

Однако в решениях XV съезда не были учтены изменения экономической и политической ситуации. Съезд исходил из возможности относительно плавного, сбалансированного развития бескризисного типа, которое продолжалось до этого в течение двух лет. Разразившийся зимой 1927/28 г. хлебозаготовительный кризис оказался во многом неожиданным для руководства страны. Он спутал намеченные планы, способствовал кардинально-

му повороту в политике и форсированному свертыванию нэпа — совсем не в тех формах «спокойной» трансформации, которые намечал XV съезд ВКП(б).

В современных дискуссиях о судьбе нэпа, об альтернативах и неиспользованных возможностях конца 20-х годов анализ проблемы, как правило, и начинается с решений XV съезда. В практике 1927—1929 гг. представители различных точек зрения черпают аргументы, которые становятся основанием для самых разных суждений. Но из сферы анализа выпадает предшествующий период — 1925—1927 гг., в значительной мере предопределивший противоречия и драмы конца 20-х годов.

АПОФЕОЗ НЭПА: ПРОБЛЕМЫ, ОЖИДАНИЯ, НАДЕЖДЫ

Завершение восстановительных процессов, возвращение в середине 20-х годов к «нормальному эксплуатационному ходу хозяйства»³ остро поставили вопрос о дальнейшей судьбе нэпа. Как далеко и в каком направлении можно пойти в развитии хозяйственной системы, ориентированной на частный рынок, не упуская перспективы движения к социализму как «строю цивилизованных кооператоров»? Как совместить с частным рынком необходимость «перекачки» средств из сельского хозяйства в промышленность для индустриализации и преодоления технико-экономической отсталости? Как вообще обеспечить нормальные взаимоотношения с крестьянством, не поступаясь идеей ускоренной индустриализации? В 1925—1926 гг. эти вопросы оказались в центре внутрипартийных дискуссий. Одна из узловых проблем формулировалась, в частности, так: завершение экономического и политического конструирования нэпа, выразившееся в восстановлении свободного товарооборота, замене натурального налога новой формой — единым денежным налогом, чревато новым типом кризиса. Первый кризис, с которым столкнулся нэп в 1923 г., был кризисом перепроизводства, кризисом избытка крестьянского хлеба, усугубленным неправильной политикой цен и сопровождавшимся обострением политической обстановки (забастовки рабочих на ряде предприятий, восстание в Грузии, избирательный абсентеизм крестьян в России, требования о создании самостоятельной крестьянской партии и т. д.). Теперь же, по резонному мнению Каменева и Зиновьева, стране угрожали кризис в форме товарного

голода, невозможность (при плохом ли, хорошем ли урожае) гарантированного снабжения города⁴ (в первые годы нэпа такую гарантию давал натуральный налог).

Это было серьезное предостережение, тем более что, по словам А. И. Рыкова на XV партийной конференции (октябрь 1926 г.), «было бы дико приписывать оппозиции, что она сознательно стремится к поражению диктатуры пролетариата в СССР»⁵. Рыночные основания экономики, усиление стихийного фактора, активизация частного капитала в городе и деревне действительно создавали серьезные проблемы, ставили экономическую и политическую ситуацию в стране в зависимость от умения балансировать в условиях «апофеоза» нэпа, избегать просчетов в руководстве. Вместо такого лавирования представители «новой оппозиции» предлагали осуществлять «перекачку» средств из сельского хозяйства для индустриализации, используя сложившиеся механизмы нэпа. В противном случае, говорил поддерживавший их в этот момент Троцкий, потенциально возросшее число товарных излишков сельского хозяйства при отсутствии товарных запасов промышленности может стать фактором, не ускоряющим темп хозяйственного развития в сторону социализма, а, наоборот, дезорганизирующим экономику, обостряющим взаимоотношения между городом и деревней⁶.

Путь, предложенный оппозицией, — сочетание ускоренной индустриализации с «традиционным» нэпом, — возможно, дал бы некоторый эффект на ближайший год, но затем обернулся бы огромной политической нестабильностью, мог привести к крестьянской Вандее и гибели Советской власти. Принять хозяйственную программу оппозиции, тем более выраженную в такой упрощенной формулировке Зиновьева: «на полмиллиарда сократить расходы за счет бюрократизма. Взять за ребра кулака, нэпмана — получим еще полмиллиарда»⁷, партийная конференция не могла. Однако предостережения оппозиции об опасности кризиса, о возможности необычайно острого хозяйственного потрясения, указания на его источники заслуживали самого пристального внимания. Этого не произошло. Партийное руководство считало, что государству удалось в целом овладеть способами регулирования частного капитала и мелкотоварной стихии.

В 1925—1926 гг. победила точка зрения Сталина, Бухарина, Рыкова и большинства партии. Они полагались

на способность нэпа функционировать «полуавтоматически» и не придали серьезного значения ряду факторов, способных привести к трудностям на более позднем этапе. Да и относительно благоприятная экономическая конъюнктура и политическая ситуация в стране порождали ряд опасных иллюзий. В частности, о том, что взаимоотношения с крестьянством отлажены и «мы имеем... умиротворенную деревню»⁸, что проблемы и задачи социалистической индустрии могут быть решены без серьезных трансформаций нэпа, без целенаправленных усилий по распространению более высоких форм соединения личного торгового интереса крестьянина с интересами государства.

Перевод снабжения городов и растущего рабочего класса, по сути дела, на рыночные основания (ранее поступление продовольствия в города гарантировалось натуральными видами продналога, которые еще в 1923—1924 гг. давали свыше 30% товарного хлеба⁹) вызвал серьезные изменения в практике нэпа. Как это ни парадоксально, дальнейшее развитие товарно-денежных отношений, раскрепощение производственной активности индивидуального крестьянского хозяйства на основе свободной торговли в сочетании с необходимостью «перекачки» заблокировали возможности поступательного движения кооперации. До сих пор исследователи не обращали внимания на тот факт, что уже к 1927 г. практика кооперативного движения в ряде отношений вступила в противоречие с провозглашенными партией лозунгами. По сути дела, с помощью огосударствления кооперативов создавались административные подпорки традиционной нэповской системы. Это противоречило хозрасчетным основам кооперации. Она подпадает под все более жесткий контроль государственных органов. Государство определяет заготовительные и продажные цены, взаимоотношения с потребителями, нормы капиталовложений, нормы накладных расходов и т. п. В результате кооперация, как и государственная торговля, постепенно превращается в инструмент «перекачки». На совещании коммунистической фракции Союза союзов сельскохозяйственной кооперации в сентябре 1927 г. прозвучала даже мысль о том, что теперь кооперативное движение представляет собой «нечто новое, в отношении чего трудно применять слово «кооперация», что необходимую степень соединения частного торгового интереса с общим «мы еще на практике не совсем нашли»¹⁰.

За цифрами, демонстрировавшими значительные количественные результаты, можно было различить движение, во многом стихийное, которое нередко душилось бюрократическими оковами. На конференции Рязанской губернской партийной организации в ноябре 1927 г., к примеру, отмечалось, что областные союзы сельхозкооперации «подходят к отдельным кооперативным ячейкам, как подходят аристократы, феодалы к своим подчиненным. Они начинают признавать эти кооперативные единицы тогда, когда последние становятся достаточно сильными, чтобы уйти от помощи». Не были сконцентрированы усилия и на таком участке сельскохозяйственного производства, как советские и коллективные хозяйства. И без того небольшое их число едва росло, а в 1926—1927 гг. имело даже тенденцию к сокращению¹¹.

Все эти процессы свидетельствовали о том, что в реальной жизни, в практической экономике имеет место стихийная деформация ряда элементов нэпа, нарастание элементов административно-командного управления. Кроме того, несмотря на трестовский хозрасчет, без сильных административных подпорок изначально не могла существовать государственная промышленность. С момента введения нэпа партия сознательно избегала использовать рыночные механизмы во взаимоотношениях между тяжелой и легкой промышленностью. По определению XII съезда РКП(б), в то время это грозило разрушением тяжелой промышленности с ее последующим восстановлением, но уже на основах частной собственности¹². Значительная часть предприятий тяжелой промышленности работала с государственной дотацией, что само по себе уже предполагало использование административных рычагов перераспределения средств. Взаимоотношения между рабочими и администрацией на заводах и фабриках регулировались не работой на конечный результат, не хозрасчетными формами, например коллективного подряда, а традиционной системой норм, тарифов и расценок. В результате у рабочего слаба была материальная заинтересованность в конечных результатах работы предприятия, да и у самого предприятия заинтересованность носила специфический характер, потому что его прибыль обезличивалась в едином балансе треста. Действовавшая в государственной промышленности система была, образно говоря, хозрасчетом для начальников.

В глубинах нэпа зрело его отрицание — зародыши

будущей административно-командной системы, которые при ухудшении международного и внутреннего положения могли существенно потеснить и даже вытеснить хозяйственные методы управления экономикой. На фоне этого противоречия, при осознании заложенных в нем опасностей, рождались новые идеи — идеи о более высокой фазе эволюции нэпа к «строю цивилизованных кооператоров» (углубление хозрасчета в промышленности, доведение его до предприятия, цеха, отдельного рабочего места, расширение хозяйственной самостоятельности кооперации, «улавливание» с ее помощью средств середняцких и зажиточных слоев на основе материальной заинтересованности). Уже в 1925 г. ставился вопрос о последовательном развертывании производственных форм кооперации. На XIV партийной конференции Ю. Ларин, говоря о деревенском нэпе, призывал не замазывать буржуазного характера верхушечных элементов, настаивал на усилении в деревне социалистических предпосылок, до колхозов включительно¹³. «Колхоз — это есть могущественная штука, — ответил ему в то время Бухарин, — но не это столбовая дорога к социализму»¹⁴.

Осознание необходимости новых подходов к кооперативному движению, развитию его производственных форм как бы отстало на два года от хода индустриализации. В результате была упущена возможность органически соединить задачи индустриализации с целенаправленным и сравнительно постепенным развитием кооперативных форм, в том числе производственных. Особенно это касалось зернового хозяйства, где производственная кооперация — колхоз — могла бы дать немалый эффект. Н. И. Бухарин, анализируя причины хлебозаготовительного кризиса, пришел в апреле 1929 г. к следующему выводу: в 1925—1927 гг. хлебная проблема была упущена. Руководители партии, включая самого Бухарина, «известное количество времени не замечали положения дела с зерном, известное количество времени осуществляли индустриализацию за счет траты фондов (инвалюты. — Авт.) и эмиссионного налога»¹⁵. Вместо того чтобы в предыдущие годы обратить внимание на положение зернового сектора и через 1—2—3 года получить очень крупное ускорение строительства на твердой основе, мы, отмечал Бухарин, пришли к неизбежным трудностям. Эти трудности «наиболее ярко стали проявляться тогда, когда те самые источники, на которых мы из-

вестное количество времени ехали, *иссякли* и когда мы все увидели, что дальше так ехать *нельзя*. Этот момент совпадает с наибольшими трудностями. Но раз получилось таким образом, раз эти трудности стали объективным фактом, то дальше мы попали в первый тур чрезвычайных мер»¹⁶.

Таким образом, к тому времени, когда на XV съезде партии разрабатывалась программа плавной трансформации нэпа с учетом задач социалистической реконструкции, реализация этой программы была уже вряд ли возможна. Международная обстановка обострилась. Разразился хлебозаготовительный кризис 1927—1928 гг. Запаса времени для маневра уже не было.

«НЕОЖИДАННЫЙ» КРИЗИС 1927—1928 гг.

О нараставшей напряженности в нэповской экономике, обострении противоречий между государственной промышленностью и раздробленным сельским хозяйством свидетельствовали события августа 1927 г. В это время по стране прокатились слухи о войне, вызванные пробной мобилизацией, началась массовая закупка товаров «про запас», активизировались «черный рынок» и спекуляция. Страна пережила *«экономические затруднения кануна войны без того, чтобы иметь войну»*¹⁷. Товарные запасы были исчерпаны еще до сбора нового урожая. Однако изменение ситуации не было учтено, а летние события восприняты как случайность.

Осенью 1927 г. все тогдашнее руководство партии (как будущие «правые» во главе с Бухариным, так и сторонники Сталина) не придало серьезного значения неблагоприятным новостям с заготовительного фронта, утверждало, что ситуация стабильна. «В момент обнаружения кризиса,— признавал через полгода Рыков,— я считал его кратковременным и менее глубоким, чем оказалось в действительности. Такая оценка сказалась в моем докладе на XV съезде партии»¹⁸. Таким образом, стратегически верные решения партийного съезда содержали в себе серьезный тактический просчет. Уроки августовских трудностей 1927 г. и симптомы начавшегося хлебозаготовительного кризиса не были достаточно основательно проанализированы, что лишило партию возможности принять предупредительные меры.

Непосредственной причиной кризиса хлебозаготовок были ошибки хозяйственных органов, в частности сни-

жение в начале заготовительной кампании государственных цен на хлеб. Зимой 1927/28 гг. кулаки фактически прекратили продажу зерна кооперации и государственным заготовителям. Ожидая более благоприятной рыночной конъюнктуры, более выгодных условий продажи, стали придерживать хлеб и середняки. Да им и нечего было купить на свои деньги. Еще осенью бедняки продали свои излишки, и основную выгоду от пересмотра цен получил бы крупный держатель хлеба. А государство не располагало к этому времени ни резервами зерна, ни валютными резервами, чтобы в достаточном количестве ввезти хлеб из-за границы.

Неожиданный для партийного руководства кризис хлебозаготовок, способный легко перерасти в общехозяйственный кризис, в политическом плане был воспринят как новая атака мелкобуржуазной стихии, как попытка раздвинуть рамки, в которые диктатура пролетариата поставила капиталистические элементы. Государство ответило на это чрезвычайными мерами. Они позволили добиться перелома в заготовке зерна, обеспечить хлебом город и армию, сохранить темпы индустриализации. Однако административный нажим не мог не вызвать массового недовольства крестьян. Оно особенно усилилось во время «второй волны» чрезвычайных мер (май — июль 1928 г.), предпринятых после того, как Объединенный пленум ЦК и ЦКК в апреле 1928 г. фактически обещал положить им конец¹⁹. Хотя Сталин официально объяснял события как «кулацкую стачку», а следовательно, указывал узкоклассовую направленность чрезвычайных мер, они задели широкие слои крестьянства. В результате перегибов к судебной ответственности было привлечено значительное количество середняков²⁰. Но дело не только в количестве пострадавших, а в том политическом резонансе, который вызвали анти-середняцкие перегибы. В сознании крестьян не исчезли еще воспоминания о «военном коммунизме», и поэтому у них за всяким проявлением административного или судебного нажима, серьезно нарушавшего товарооборот, тотчас вставала вся картина «военного коммунизма» со всеми недостатками и лишениями, которые тогда переживались.

Выступая по итогам июльского (1928 г.) Пленума ЦК ВКП(б) на собрании актива Московской партийной организации, А. И. Рыков заявил, что с помощью чрезвычайных мер совершенно ликвидировать кризис не уда-

лось. Ошибочной, по его мнению, оказалась и надежда на то, что вся кампания пройдет при опоре на бедняка и устойчивой связи с середняцкими массами²¹. Частичная отмена чрезвычайных мер в июле 1928 г. фактически означала победу точки зрения группы Бухарина, которую в то время разделяло большинство членов ЦК. В основу партийной политики закладывалась необходимость борьбы как с теми элементами, которые «пытаются обойти решение XV съезда «развивать дальше наступление на кулачество», так и с теми элементами, которые стремятся придать чрезвычайным и временным мерам характер постоянного или длительного курса»²². Повышение заготовительных цен, ликвидация практики обхода дворов и незаконных обысков, всех и всяких рецидивов продразверстки несколько нормализовали обстановку в деревне, но повлиять на настроение крестьянства сразу не могли. Не было уверенности, что затруднения не повторятся и крупные держатели хлеба, которые были захвачены врасплох чрезвычайными мерами, не сумеют по-своему подготовиться к новой кампании. По деревне прокатились слухи об отмене нэпа. В действительности же так вопрос не стоял. Но то, что программа «спокойной» трансформации нэпа уже стала невозможной, понимали многие.

Ухудшение политической обстановки в стране, вызванное кризисными явлениями в экономике, обострило восприятие всех противоречий нэповского общества в коммунистической и рабочей среде. То, что в условиях «выжидательной работы» (так называли иногда коммунисты период 1925—1927 гг.) воспринималось в определенном смысле как «неизбежное зло», теперь приобретало принципиально новый и очень острый политический смысл, вызывало тревогу и активный протест.

Известно, например, что в середине 20-х годов в соответствии с решениями XIV партийной конференции были сделаны серьезные шаги в сторону освобождения деревни от пережитков «военного коммунизма», по пути демократизации политической жизни села. Но этими новыми возможностями воспользовались не только беднейшее и среднее крестьянство, но и кулаки, которые искали пути к рычагам политической власти, опираясь на свои экономические возможности. Для этой цели они использовали сложившиеся в деревне элементы «двоевластия»: с одной стороны, Советы, с другой — традиционный крестьянский «мир», который принимал решения

в рамках земельного общества на сходах хозяев. Советы нередко выступали в роли простых регистраторов решений сходов, где кулаки пользовались правом голоса. Это давало эксплуататорским элементам деревни политический инструмент защиты своих интересов. Лишение их права голоса не только на выборах в Советы (этого права они не имели с 1918 г.), но и в земельных обществах неизбежно должно было усилить поиск обходных путей для выражения своих классовых интересов: подкуп, взятки, коррупция.

Ряд уголовных процессов более позднего времени показал реальность попыток частнокапиталистического сектора обеспечить свои интересы через корруммирование госаппарата. Об опасности «перерождения» части политических работников и руководителей, об усилении «психологии покоя» в 1927 г. предупреждал XV съезд ВКП(б)²³. Громкую известность в партии приобрели так называемые «астраханское дело» и «смоленский гнойник»²⁴. В партийных организациях Астраханской и Смоленской губерний произошло разложение части актива, нередкими были случаи сращивания отдельных руководителей с частным капиталом. Имущественная дифференциация, антисоциальное положение многих предпринимателей, а под влиянием этого — деформация во взглядах некоторых партийных и хозяйственных работников вызывали острую реакцию в советском обществе.

Недовольство нэпом нарастало в среде кадровых рабочих. Многие из них психологически уже были настроены на его свертывание. Еще в 1925 г. раздавались призывы рабочих придумать «какой-нибудь зигзаг», чтобы поскорее прийти к «заветной цели»²⁵. Строго говоря, для рабочих переход от хозрасчетной к командной экономике вообще был не крутой ломкой, а продолжением той системы отношений, которая уже существовала в промышленности. Нэп накормил рабочих, улучшил их материальное положение, но он не пошел вглубь на производство, и когда в 1927 г. обострились социальные проблемы, возникли продовольственные трудности, в 1928 г. были введены «заборные книжки» (карточная система снабжения продуктами), индустриального рабочего к «традиционному» нэпу уже ничто не привязывало. «Гри-масы нэпа», безработица и связанные с ней и другими факторами различные социальные аномалии (нищенство, проституция, алкоголизм) воспринимались уже как совершенно нетерпимые явления.

Однако в коммунистической и рабочей среде, безусловно, были и настроения против свертывания нэпа. Особенно сложной была позиция так называемых «новых рабочих», связанных тесными узами с крестьянским хозяйством. Двойственность интересов этих «плохо обработанных мужиков»²⁶ вызвала их протест против наращивания темпов индустриализации. Эти протесты отражали прежде всего «крестьянскую сторону» социального положения «новых рабочих». В то же время налицо было и совершенно обоснованное неприятие чрезвычайных мер и насилия по отношению к середняку.

Этот социально-психологический фон во многом повлиял на решения 1928—1929 гг., на ход внутрипартийной дискуссии о судьбах нэпа. Позиции разнородных и разнонаправленных сил в той или иной мере отражались в самой партии. Это осложняло принятие решений. Да и вообще порой бывает довольно трудно увидеть грань, за которой частичные изменения перерастают в кардинальную ломку. Так было в 1920—1921 гг., когда шел поиск выхода из кризиса военно-коммунистической системы. Аналогичная ситуация сложилась в 1928—1929 гг. Ухудшение обстановки вновь породило внутрипартийную дискуссию. Главными оппонентами в ней были Бухарин и Сталин.

НАЧАЛО ВНУТРИПАРТИЙНОЙ ДИСКУССИИ

Когда политическая партия ищет выход из сложных, диалектически напряженных ситуаций, перед ней всегда стоит альтернатива: либо сохранить существующую систему отношений, ограничившись более или менее крупными поправками и улучшениями, либо выйти за ее рамки, ориентируясь на качественные изменения. Первый путь дает возможность временно улучшить положение и получить передышку, но не гарантирует от повторения кризисных явлений. Второй ведет к радикальному изменению ситуации, но порождает новые противоречия, увеличивает опасность ошибок и просчетов и поначалу может не ослабить, а обострить трудности. Выбор альтернативы предполагает всесторонний учет целого ряда факторов: исчерпаны ли возможности прогрессивного развития на старой основе, каков запас времени для маневра, созрели ли силы, способные осуществить решительные изменения.

В чем причина кризиса? — задавал вопрос Бухарин.

Нарушены основные рыночные пропорции, мало произведено промышленных товаров, велик на них спрос в деревне? Страшно разбогател кулак, усилились его позиции, и он сомкнулся с середняком? Оба эти подхода односторонни, считал Бухарин. «С экономической стороны,— утверждал он,— мы имели нарушение основных хозяйственных пропорций и на базе этого известную, гораздо большую, чем прежде, экономическую активность со стороны кулачества, попытку его сомкнуться с середняком на основе определенной политики цен»²⁷. При этом, как и большинство членов ЦК в то время, он полагал, что «затруднения, которые мы испытали, не являлись неизбежными затруднениями. Они сложились на основе нашего запоздания, ошибок планового руководства, партийной дискуссии»²⁸.

Однако, несмотря на все оговорки, Бухарин в то время выводил основные причины хлебозаготовительных трудностей не из объективного факта несоответствия уровня развития сельского хозяйства и промышленности, определенного исчерпания возможностей «старого» нэпа в условиях начавшейся индустриализации и быстрого роста городского населения, а прежде всего из ошибок конъюнктурного характера. Незначительная коррекция общего курса могла, по его мнению, исправить положение. При этом Бухарин отнюдь не выступал против высоких темпов индустриализации. Напротив, он осудил предложение ряда ученых-экономистов снизить темп индустриализации, а также зарплату рабочим и поднять цены на хлеб, в первую очередь для хуторских хозяйств, назвав эти предложения «совершенно откровенной кулацкой программой»²⁹. Не исключал он как временный выход и повторное применение «экстраординарных мер».

Зерно конфликта и политических расхождений группы Бухарина с большинством ЦК было в другом. Бухарин поначалу считал возможным совместить высокий темп индустриализации с сохранением в неизменном виде хозяйственной системы нэпа, какой она сложилась к XV съезду партии. На этой основе, по его мнению, в следующем, 1928/29 хозяйственном году сбалансирование может удалиться³⁰. Однако ориентация на такое сбалансирование в изменившихся условиях означала бы по-прежнему равнять темп индустриального развития страны по отсталому, единоличному сельскому хозяйству, оставаясь под дамокловым мечом кризисов.

Четкой программы поначалу не было и у оппонентов Бухарина. Нельзя же считать такой программой расчет на длительный эффект чрезвычайных мер, усиливавших политическую нестабильность в деревне. Форсировать индустриализацию на базе индивидуального крестьянского хозяйства, опираясь на рычаги насилия,— такой путь уже дискредитировал себя и теоретически в период борьбы с троцкизмом, и практически в ходе хлебозаготовительного кризиса. Сталин и его сторонники порой ошупью и вслепую шли к выработке иного, более радикального курса: не просто снять кризисные явления и стабилизировать положение путем уступок мелкобуржуазной стихии, а ликвидировать саму возможность возникновения подобных кризисов. Каким же образом?

Еще в момент испытания кризисом, в январе 1928 г., Сталин предложил иные меры стабилизации хлебозаготовок: развернуть строительство колхозов и совхозов, связать с этими хозяйственными и политическими опорными пунктами Советской власти процесс социалистического преобразования деревни³¹. Таким образом, проблема «перекачки» средств из сельского хозяйства переводилась в другую плоскость. Вопрос ставился уже не о выборе тех или иных пределов «перекачки» средств (вариант «новой оппозиции» или вариант «правых»), а о том, на какой основе эта «перекачка» должна происходить: из единоличного крестьянского хозяйства через механизм рынка (либо через продразверстку и чрезвычайные меры) или же с помощью колхозов.

Сталин и его сторонники увидели в колхозах то звено социально-экономической структуры деревни, которое соответствовало новой ситуации и позволило бы осуществлять перераспределение средств и снабжать города хлебом, не создавая в будущем угрозы экономических и политических кризисов. В значительной мере эта идея была прагматической реакцией на хлебозаготовительные трудности — товарность колхоза образца 1928 г. была в два раза выше товарности индивидуального крестьянского хозяйства. В определенных условиях колхоз давал потенциальную возможность неэквивалентного обмена между городом и деревней, что и составляло саму суть «перекачки». Решение главной проблемы второй половины 20-х годов выводилось за рамки «традиционного» нэпа и возможностей индивидуального крестьянского хозяйства. Менялась сама система отношений в деревне.

В начале 1929 г. проблема хлебозаготовок обостри-

лась вновь, и вновь встал вопрос о чрезвычайных мерах. В это время Бухарин и Рыков настаивают на ввозе хлеба из-за границы для обеспечения городов³². В этом случае пришлось бы затратить значительные валютные средства, предназначенные для закупки промышленного оборудования. Аграрная, крестьянская страна должна ввозить хлеб из-за границы — этот очевидный парадокс свидетельствовал о том, что «традиционный» нэп перестает «работать». Сама по себе идея закупки хлеба за границей — это попытка сделать подпорку для плохо работающей системы. Будь она проведена в жизнь, мы бы приостановили техническое перевооружение страны, потому что осуществлять его на старой базе не могли. Стране нужна была передовая западная техника, пока капиталисты вообще соглашались ее нам продать, и отказ от ее закупки резко затормозил бы индустриализацию. Так что это было бы действительным отступлением, хотя и временным. Во всяком случае, это тенденция к сохранению на достаточно длительный исторический срок переходного нэповского общества, постепенно «вползающего» в социализм.

На Объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) в апреле 1929 г. группа Бухарина вышла со своей альтернативной программой. Суть ее состояла в следующем: ввезти хлеб из-за границы для нормализации продовольственного положения городов; решительно отказаться от чрезвычайных мер; соблюдать революционную законность; применять более эластичную систему налогов и цен на хлеб (при этом Бухарин считал, что речь тем не менее не может идти об эквивалентном обмене между городом и деревней); усилить выпуск средств сельскохозяйственного производства³³. Сам по себе такой путь в идеале был бы, конечно, предпочтительней, хотя и не избавлял от угрозы кризисов.

Объективно же получилось так, что люди, недовольные ухудшением положения, в определенной мере подверженные обывательским, «хвостистским» настроениям, восприняли как знамя своих настроений позицию Бухарина, Рыкова, Томского. Это были представители той части партии и народа, которая еще не настроилась на перемены, еще не понимала их необходимости, которая к ним (этим переменам) была еще психологически не готова. На нарастание трудностей, в том числе бытовых, повседневных (введение нормированного снабжения хлебом, ухудшение материального положения и т. д.), эти

люди отвечали требованиями возврата к нэпу. В результате возникла своеобразная смычка между низовым настроением и политической позицией группы Бухарина, которые во многом искусственно были объединены общим понятием «правый уклон». Этот уклон не имел организационного оформления и сколько-нибудь ярко выраженных фракционных черт. Бухарин стал тем авторитетом, на который опирались не только «хвостисты», но и те, кто вполне резонно призывал к разумности и осторожности на местах.

Если бы советское общество располагало бóльшим запасом времени, такие призывы можно было бы считать оправданными и путь маневра ценами и налогами, закупки хлеба за границей и т. д., предлагаемый группой Бухарина, был бы возможен. Но существовала ли гарантия того, что через год страна снова не окажется на грани кризиса? Не случайно именно в этом духе отреагировал Орджоникидзе на жестко сформулированную Бухариным дилемму: «Либо чрезвычайные меры, либо закупка хлеба за границей»³⁴. И действительно, до сих пор кризисы возникали с определенной цикличностью, по своей силе нарастали, а возможности контроля над ситуацией сужались. Сама по себе необходимость форсирования индустриализации, «перекачки» средств в тяжелую промышленность не давала простора для маневра. Необходимость такой «перекачки» на основе неэквивалентного обмена не отрицал на апрельском (1929 г.) Пленуме ЦК и Бухарин. Да и можно ли было позволить себе один или два года передышки? В конкретных условиях конца 20-х годов, когда, по признанию самого Бухарина, мы стояли на пороге «второго тура войн»³⁵, когда «третья сила» — новая буржуазия города и деревни активизировала сопротивление социализму, а мелкий собственник сохранял свою двойственную натуру, проведение такой политики фактически означало отступление под напором мелкобуржуазной стихии и экономических трудностей.

ПАРАДОКСЫ И ДРАМЫ «ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА»

Первый пятилетний план, единогласно одобренный XVI партийной конференцией (апрель 1929 г.) и направленный на преодоление рыночного балансирования, опережающие темпы развития тяжелой промышленности, уже означал кардинальный поворот в политике партии.

Именно с этого времени намечается и тенденция к нереалистическому планированию. И без того напряженный оптимальный вариант пятилетки сменялся «произвольными фантастическими скачками в годовых планах»³⁶. В результате к концу пятилетки не были выполнены пересмотренные в сторону повышения задания по важнейшим, ключевым в те годы отраслям промышленности (электроэнергетика, добыча угля и нефти, производство чугуна, минеральных удобрений, тракторов). Это в конечном итоге привело к резкому спаду темпов, к необходимости серьезной корректировки контрольных цифр, что и было сделано на Объединенном пленуме ЦК и ЦКК (январь 1933 г.) и XVII съезде ВКП(б) (январь — февраль 1934 г.)³⁷.

В известном смысле можно объяснить, но не оправдать постановку экономически недостижимых целей в ходе пересмотра плановых заданий пятилетки в 1929 г. Стимулирование трудовой активности рабочих в годы первой пятилетки опиралось прежде всего на энтузиазм и административные рычаги. Уравнительная по своей направленности тарифная реформа 1928 г., введение нормированного снабжения в городах закрывали или, во всяком случае, ограничивали возможности материального стимулирования. Компенсировать очевидную слабость материальных стимулов можно было только прямой апелляцией к классовому чувству рабочих. Ставить в этой ситуации скромные цели означало существенно сузить саму основу массового энтузиазма — довольно неустойчивого социально-психологического феномена, всегда ориентированного на значительные цели. Массовый энтузиазм, оторванный в годы первой пятилетки от материальных стимулов, неизбежно должен был опереться на «градиент цели» — нарастание активности по мере приближения к желаемому результату — либо сойти на нет. «Немедленный социализм» мог быть такой целью, нормализация экономической жизни на старой, нэповской основе — едва ли. Это, повторим, не оправдывает постановку экономически недостижимых целей, но в определенной мере объясняет их социально-психологический эффект. Грандиозность планов оказывала мощное стимулирующее воздействие на рабочих, даже на тех, кто вначале не поддерживал наращивание темпов. Она увлекала их идеей социалистического строительства и давала дополнительный импульс развитию промышленности (государственная промышленность, не следует этого

забывать, на всем протяжении 20-х годов не могла существовать без подпорок энтузиазма и администрирования).

Ориентация на непомерно высокие темпы экономического роста породила волюнтаристские трактовки плана, настроения «экономического романтизма», стремление к немедленному переходу на прямой продуктообмен. В феврале 1930 г. даже Бухарин говорил о «прыжке в сторону *социалистического продуктообмена*», о сокращении объема рыночных отношений и замене их договорными отношениями между предприятиями³⁸. Однако такие отношения, которые в перспективе могли бы стать особой формой социалистического рынка, наладить не удалось. Как писал в 1981 г. Н. А. Вознесенский, «вместо проведения в жизнь на базе хозрасчета договорных отношений между... поставщиками и потребителями — получилась полнейшая бюрократизация снабжения, ослабление контроля потребителя над поставщиком в вопросах качества продукции, снижения себестоимости и своевременности доставки»³⁹. «Срыв хозрасчета»⁴⁰ последовал вслед за кредитной реформой 1930 г., которая заменила вексельное (коммерческое) кредитование прямым банковским кредитованием всего народного хозяйства. На практике вместо кредитования конкретных хозяйственных сделок было установлено огульное кредитование под план. Возможности реального контроля рублем сузились. Экономическая действительность (в частности, срыв плана I квартала 1931 г. по всей промышленности ВСНХ) разрушила иллюзии и заставила вновь поставить вопрос о хозрасчете, но уже в таких формах, которые были предельно ограничены жесткой централизацией управления и административными методами руководства.

Если XVI партийная конференция открыла путь «бешеным темпам» (выражение Сталина) развития промышленности, то коллективизация, во многом благодаря позиции группы Бухарина, еще виделась как скромная дополнительная мера, а индивидуальное крестьянское хозяйство — как оплот сельскохозяйственного производства. По пятилетнему плану предусматривалось объединить в колхозы (тозы, артели и коммуны) к концу 1933 г. до 18—20% крестьянских хозяйств⁴¹. Это был обоснованный расчет. По мнению В. П. Данилова, осенью 1929 г. примерно у шестой части крестьянских хозяйств страны переходные производственные отношения непо-

средственно предшествовали коллективистским, а примерно у третьей части производственные отношения находились на самой начальной стадии трансформации в коллективистские⁴². В 1928 г. и в первой половине 1929 г. испробуются такие постепенные методы коллективизации, как создание определенного числа крупных колхозов и совхозов, развертывание зерновой контрактации, использование института крестьянского «мира» для формирования вариантов производственных объединений и т. д. Все эти методы давали определенные результаты. Однако дальнейшего развития они не получили.

Хотя урожай 1928 г. превысил прошлогодний, провести заготовку зерна обычным путем не удалось. Не уменьшили угрозы срыва плана заготовок и попытки стабилизировать ситуацию путем нового повышения государственных цен на хлеб, увеличения товарной массы, направляемой в деревню, чуть ли не полного прекращения экспортных операций по хлебу и т. д.⁴³ Что касается самих крестьян, то некоторые из них выступали с очень своеобразными предложениями. Крестьяне были недовольны тем, что план сдачи зерна им давался после того, как они продали свои запасы на вольном рынке. Они хотели, чтобы сначала им предъявляли план и давали возможность свободно распоряжаться тем, что останется. Эти настроения совпадали с предложением С. И. Сырцова, выступившего на апрельском (1929 г.) Пленуме ЦК за возврат на новом витке к натуральному налогу, точнее государственной повинности — чему-то среднему между продразверсткой (установлением планов хлебосдачи) и продналогом (правом свободного распоряжения излишками)⁴⁴. Однако этот и другие варианты выхода из хлебозаготовительных трудностей слабо повлияли на практику, и к лету 1929 г. вопрос о радикальном выходе из сложившейся ситуации встал вновь. Именно в это время и происходит обращение к таким принципам хлебозаготовок, которые и определили поворот к сплошной коллективизации и отход от прежних основ нэпа. На Украине и в РСФСР узаконивается практиковавшееся ранее в качестве временной, чрезвычайной меры ограничение свободной продажи хлеба. Устанавливается первоочередная продажа зерна по государственным обязательствам, утвержденным сельским сходом⁴⁵. Сами жители деревни должны были определять и количество излишков, которое была обязана продавать государству кулацкая часть деревни. На практи-

ке это послужило юридической основой, позволившей уже со второй половины 1929 г. начать частичную экспроприацию кулачества⁴⁶.

Введение обязательной продажи хлеба в порядке выполнения государственных планов заготовок коренным образом изменяло прежнее экономическое содержание всех других форм коллективизации. Контрактация становилась средством мобилизации товарного хлеба, а по мнению некоторых экономистов, даже переходной формой к прямому продуктообмену⁴⁷. Ограничиваются, а затем и свертываются различные первичные формы кооперации. Чуть позднее ликвидируются земельные общества, все их права и обязанности передаются сельсоветам⁴⁸. Новым правилам хлебозаготовок сопутствовали такие меры, осужденные впоследствии ЦК ВКП(б), как закрытие базаров, выставление заградительных отрядов, другие препятствия для крестьянской торговли. Перемены неизбежно вели к изменению всей структуры торговли, всей системы обеспечения населения товарами широкого потребления.

Содержание и характер этих изменений, резко отклонявшихся от прежних принципов нэпа, не были приняты значительной частью крестьян, привыкших самостоятельно распоряжаться своими излишками, и подвели вплотную к идее насаждения колхозов. Сдача хлеба государству в плановом порядке по невыгодным для крестьян ценам вызвала бы сокращение производства хлеба до потребительского минимума. Поддержав сначала инициативу ряда местных организаций о проведении сплошной коллективизации, а также учитывая большой эффект, который дали новые правила хлебозаготовок (план был выполнен еще до наступления 1930 г., впервые созданы значительные резервы хлеба), Пленум ЦК в ноябре 1929 г. принимает решение о форсировании процессов коллективизации⁴⁹.

К этому времени происходит дальнейшее сближение позиций группы Бухарина с мнением большинства ЦК. В своем заявлении на Пленуме Бухарин, Рыков и Томский пришли к выводу, что «истекший хозяйственный год можно считать переломным», что «огромнейший и невиданный по своим темпам размах капитального строительства, усиление ведущей роли индустрии... не могут уже мириться с господством в сельском хозяйстве единоличного двора, сохи, чересполосицы и т. д. Поэтому рост крупного обобществленного хозяйства не только

стал на очередь дня, но колхозное движение приняло действительно массовый характер, развивая темпы, превышающие все наметки плановых органов и все предположения»⁵⁰. На чем твердо продолжали стоять Бухарин, Рыков и Томский, так это принципиальная недопустимость чрезвычайных мер. Именно здесь теперь концентрируется суть расхождений. Бухарин, Рыков и Томский справедливо видели в системе «чрезвычайщины» измену ленинизму, троцкизм⁵¹. Однако их позиция не получила поддержки ЦК. (Заметим в скобках, что значение этого решения выходит далеко за рамки вопроса о темпе коллективизации. Возведением чрезвычайных мер в систему большинство ЦК фактически санкционировало оформление той политической ситуации, при которой исполнительные и чрезвычайные органы власти выходят из-под контроля партии.)

На практике «насаждение» колхозов с помощью чрезвычайных мер привело к нарушениям ленинских принципов социалистического строительства, к злоупотреблению властью, к падению сельскохозяйственного производства. Поскольку поворот к форсированной коллективизации происходил очень быстро, в порядке реагирования на ситуацию, то сам процесс преобразований неизбежно приобрел черты стихийности, особенно в конце 1929 — начале 1930 г. На фоне успехов коллективизации в начале 1929 г., подготовленных всем предыдущим ходом развития, у значительной части партийных работников в центре и на местах возникли иллюзии, стремление удержать взятый темп любой ценой, «забежать подальше», не считаясь с необходимостью серьезной разъяснительной работы. В результате терялось чувство меры, наблюдались и росли авантюристические попытки «в два счета» разрешить все вопросы социалистического строительства.

Партийное руководство указало на ошибки лишь тогда, когда взрывоопасность обстановки достигла критической точки. Члены Политбюро систематически получали сводки о ходе колхозного движения. Были и другие источники информации. Партийное руководство знало о фактах грубых нарушений законности в деревне, однако до марта 1930 г. никаких радикальных мер для исправления положения принято не было. Ответственность руководства, которую Сталин переложил впоследствии на местных работников, состояла не в том, что оно сознательно стимулировало перегибы, а в том, что отсутствие

ясных указаний в условиях дефицита времени вызвало всплеск низовой активности совершенно определенного типа: стремление выполнить и перевыполнить явно завышенные задания по коллективизации любой ценой и в максимально короткие сроки накладывалось на неумение убеждать, слабость организационных, материально-технических и социально-психологических предпосылок и непосредственно толкало многих низовых работников к насильственным действиям. Любая критика тех или иных ошибочных и опрометчивых действий очень часто отводилась как «правый уклон». Боязнь прослыть «правым уклонистом», тезис о том, что «правый уклон» сейчас опаснее левого, что «лучше пережать, чем недожать», очень часто мешали противодействию левацким перегибам на местах. Обстановка была такова, что в январе 1930 г. на совещании представителей районов сплошной коллективизации в ЦК ВКП(б) прозвучало очень странное утверждение: «Если в некотором деле вы перегнете и вас арестуют, то помните, что вас арестовали за революционное дело» (Г. Н. Каминский, в те годы заведующий агитпропом ЦК) ⁵².

Но даже в такой накаленной атмосфере в том же январе 1930 г. раздавались предостережения о недопустимости решать вопросы коллективизации наскоком. На рабочих собраниях порой высказывались сомнения в том, что посланные в деревню рабочие, которые не имеют даже своего огорода, сумеют хорошо руководить крупным сельским хозяйством ⁵³. Все эти сомнения были в общем-то обоснованны. Однако они слишком часто игнорировались, в расчет не принимались, хотя ясно было, что говорят люди, которые жизнь деревни знают. Все эти предостережения звучали в январе 1930 г., то есть тогда, когда по селу уже катился шквал перегибов и нарушений законности. Однако жупел «правого уклона» не дал слышать разумные голоса, которые призывали к тому, что и было сделано позднее, но уже в пожарном порядке. Если бы спустя два месяца — в марте 1930 г. — не прозвучал временный «отбой» в статье Сталина «Головокружение от успехов» (сам Сталин не склонен был считать мартовские решения серьезным поворотом в политике, сводил их к простому «одергиванию» «зарвавшихся товарищей» ⁵⁴), то дальнейшее развитие событий, по ретроспективной оценке ЦК, привело бы к «широкой волне повстанческих крестьянских выступлений», «добрая половина наших «низовых» работников была бы перебита

крестьянами», колхозное строительство подорвано⁵⁵. Страна оказалась бы на грани катастрофы.

Можно ли было предвидеть реакцию с мест на призыв о «насаждении колхозов» и раскулачивании? Было прекрасно известно, какой смысл вкладывают низовые партийные и советские активисты в понятие «кулак». Со времен комбедов они требовали упростить понимание этого сложного социально-экономического явления, сведя его к набору формальных, директивно установленных признаков (например, количество рабочего тягла). Для деревенских работников кулак — это тот, кто против Советской власти, тот, кто вспоминает «о сладких николаевских булках, которым нет возврата»⁵⁶. Все, кто занимался деревней, это знали. Ясно было, что низовые работники, от которых потребуют обеспечить «процент» коллективизации и раскулачивания, будут исходить из этих своих лишь на первый взгляд ясных, а на самом деле весьма путаных представлений.

Ориентация на административные меры — раскулачивание — предполагала по крайней мере четкое «административное усмотрение». Таких указаний местные работники не получили. Логика рассуждений на местах, неизбежная при низком уровне политической и общей культуры, была проста: Советская власть призывает «насаждать колхозы», а те, кто сомневается и возражает, да еще живет лучше других, выступают против власти. Значит, они — кулаки, на которых должен быть обрушен «карающий меч» пролетарской диктатуры. В результате «административное усмотрение» очень часто заменялось административным произволом. Можно было предвидеть и пассивное сопротивление значительной части единоличного крестьянства, которая не прошла через подготовительные стадии кооперации. Общий процент — очень значительный — таких крестьян прекрасно был известен и в центре, и на местах.

Учет всех этих факторов, конечно, потребовал бы более длительной и основательной работы. Но меньшее количество хорошо организованных колхозов, меньшее количество вовлеченных в них крестьян — это еще и возможность оказать им действенную государственную помощь. Форсировать коллективизацию, вовлечь значительную часть середняков в колхозы, даже при явной недостаточности материально-технических, организационных и социально-психологических предпосылок, можно было, не прибегая к прямому насилию. Для этого надо

было использовать патриотические настроения крестьян, их доверие к Советской власти, тот моральный капитал, которым к этому времени располагала партия. Следовало прямо указать на угрозу войны — аргумент, вполне понятный крестьянам, которые были готовы на все ради сохранения мира, но не ценой потери Советской власти. Можно было опереться и на начавшееся разочарование беднейшего и маломощного крестьянства в единоличном хозяйстве. Наконец, активизировать меры косвенного экономического принуждения.

Арсенал методов был достаточно велик. Ленин в свое время ввел политический ограничитель — *«не смей командовать!»*⁵⁷. Это не значит, что он вообще отрицал всякое принуждение и даже «комбедовские методы» в деревне. Принуждение и насилие правомерны, когда они обращены против сопротивляющихся эксплуататоров, противостоят прямым выступлениям против пролетарской диктатуры. Бухаринская «идея» «гражданского мира» основывалась в свое время именно на этих посылах. Если же насилие обращено на «своих», на среднее крестьянство, то это может поставить страну на грань политической катастрофы, на грань мелкобуржуазной контрреволюции.

Конечно, всякая революция, в том числе и «революция сверху», захватывает первоначально больше, чем она в состоянии «переварить». В конце 1929 — начале 1930 г. мы «пробежали» очень большое расстояние, но это расстояние можно было только медленно пройти. Поспешность при проведении сплошной коллективизации обошлась слишком дорогой ценой, потому что избранный способ действия, тактика достижения исторически прогрессивных целей были политически ошибочными.

Полностью отказаться от принуждения было невозможно. Но здесь многое зависело от общего уровня политической культуры общества, и прежде всего коммунистов. Мы до сих пор сталкиваемся с психологией перегиба, с убого понимаемыми распоряжениями сверху, объективной невозможностью все предусмотреть, дать инструкцию для каждого конкретного случая. Во всяком революционном повороте сознательное руководство сочетается с массовыми стихийными действиями. В ходе форсированной массовой коллективизации речь шла не о том, чтобы совершенно избежать стихийных действий со стороны низовых работников и активистов. Но развязывание стихийных процессов, ослабление организу-

шего начала неизбежно создают ситуацию, когда к правому делу примазываются недостойные люди, которые не по убеждению, как Макар Нагульников из «Поднятой целины», а из карьеристских либо корыстных соображений используют ошибки власти в личных целях, что еще больше дестабилизирует ситуацию. В конце 1929 — начале 1930 г. соотношение между организованностью процесса и его стихийностью было явно смещено в сторону нарастания стихийности, перешло ту грань, за которой начинается уже просто неправильная политика.

ГДЕ КОНЧАЕТСЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ НЕИЗБЕЖНОСТЬ И НАЧИНАЕТСЯ СУБЪЕКТИВИСТСКИЙ ПРОИЗВОЛ?

В какой мере политика 1929—1930 гг. была выражением исторической необходимости? Где кончается историческая неизбежность и начинается субъективистский произвол? Можно ли говорить о том, что область ошибок ограничена сферой практики — перегибами коллективизации, неоправданным форсированием темпов индустриального развития, — или же корни и существо ошибок глубже?

Ни бухаринский, ни сталинский путь не был оптимальным. Сторонники каждой из этих точек зрения ясно видели слабости оппонентов, но не замечали (или старались не замечать) недостатки собственных решений. К сожалению, никто в то время не предложил иных, более приемлемых вариантов, которые дали бы реальную возможность форсировать индустриализацию, не ссорясь с крестьянством и не прибегая к грубому аргументу чрезвычайных мер. Поэтому переход ЦК на позиции Сталина был не столь однозначным, как это иногда представляется. Взять «ясную и непоколебимую линию поведения» не удавалось, по признанию А. И. Микояна, потому, что «руки партии были связаны в той или иной степени шатанием и борьбой правых членов Политбюро»⁵⁸.

Косвенно это свидетельствует о том, что группа Бухарина выполняла функции своего рода политического противовеса, который в определенной мере удерживал Сталина и его сторонников от левацкого радикализма в постановке целей, от нереалистического форсирования темпов индустриализации и коллективизации. При этом готовность Бухарина, Рыкова и Томского к компромиссу (на ноябрьском (1929 г.) Пленуме ЦК ВКП(б) они фактически приняли точку зрения большинства, настаивая

только на отказе от чрезвычайных мер в деревне) натолкнулась на нетерпимость Сталина и его ближайших сторонников.

Вероятно, наименее болезненный для страны выход из ситуации — сохранение социалистической перспективы и выработка соответствующих поставленной цели методов — мог быть найден в результате общего теоретического и практического поиска. Однако этого не произошло. Партия же оказалась перед необходимостью принимать решения ситуативно, реагируя на «сбои» хозяйственной системы в привычных формах прямого действия. Исторически обусловленная трансформация нэпа была отягощена ошибками и просчетами.

Действительные корни этих просчетов вряд ли следует искать только в отсутствии взаимопонимания между членами Политбюро. Слабости позиций оппонентов, как это ни странно, имели общую гносеологическую основу. Дело в том, что теоретические разработки 20-х годов, полезные и интересные сами по себе, по сути дела, совершенно исключали представление о скачкообразности прогресса социалистического общества, ориентировали на плавное, постепенное превращение России нэповской в Россию социалистическую. Теоретически содержательная ленинская мысль о том, что «доделывать, переделывать, начинать с начала придется нам еще не раз»⁵⁹, в 20-е годы не получила развития. Сколько-нибудь ясной концепции внутриформационных скачков и переходов в процессе строительства социализма в обществоведении не было. В середине 20-х годов представители большинства в ЦК не предвидели того кризиса, с которым столкнулась нэповская система в конце 1927 — начале 1928 г. В результате последовал ряд поспешных прагматических решений. Теория резко отстала от практики и не смогла предложить ей приемлемых решений. Ведущий теоретик партии Бухарин продолжал искать выход из противоречий на базе «традиционного» нэпа в тот момент, когда сохранить нэп в неизменном виде можно было только ценой отказа от форсированной индустриализации и серьезных уступок мелкобуржуазной стихии.

Отставание теории от практики — вот, по сути дела, одна из основных причин того, что исторически неизбежный и прогрессивный поворот, выход за рамки «старого» нэпа был проведен слишком дорогой ценой, методом проб и ошибок. Здесь, а не только в «злой воле» Сталина, не в закономерностях социалистического строительства, а в

слабом знании этих закономерностей следует искать корни и причины драматических событий конца 20 — начала 30-х годов. Партия не поддержала Бухарина не потому, что он был сторонником более гуманных и постепенных решений, а потому, что предложенные им средства лечения могли только на какое-то время загнать болезнь вглубь. Эти средства лежали главным образом в плоскости традиционного «балансирования» путем цен и налогов, а речь должна была идти о приспособлении нэпа к задачам социалистической реконструкции. Необходимость такого «переконструирования» вполне понимал и сам Бухарин, но приемлемой для членов ЦК альтернативы он не предложил, а разработанная им в середине 20-х годов теоретическая модель была рассчитана на более длительные исторические сроки. И все же альтернатива Бухарина была. Она состояла в принципиальном отказе от чрезвычайщины как системы методов социалистического строительства.

И теория в лице Бухарина, и практика в лице Сталина в конце 20-х годов искали выход из кризисной ситуации, пути и средства неизбежного поворота к социалистической реконструкции, опираясь на прошлый опыт. В первом случае абсолютизировался «традиционный» нэп, во втором — опыт эпохи «военного коммунизма» с постепенным выходом на действительно революционные решения. Этот конфликт теории и практики имел политическое и личное выражение. Поражение Бухарина в конце 20-х годов, его вынужденный уход с политической арены знаменовали собой превращение теории в служанку политики, объявлявшую «все действительное» разумным.

Личная ответственность Сталина за допущенные во второй половине 20-х годов ошибки состояла в том, что он всецело подчинил процесс выработки политических решений борьбе за власть. Именно поэтому Сталин не выполнил главной функции, которая в условиях сложившейся политической системы лежит на Генеральном секретаре, — поиск верного решения с учетом всех оттенков мнений. Свои явные теоретические слабости, неумение взять у оппонентов «рациональное зерно», а оно, безусловно, было у Бухарина, Рыкова и Томского, нежелание даже считаться с их готовностью к компромиссам Сталин компенсировал «теорией» постоянного обострения классовой борьбы и прямой апелляцией к насилию.

Можно ли было сохранить группу Бухарина в Политбюро? Найти компромисс в пределах ее прав как мень-

шинства? Участие группы Бухарина в выработке решений позволило бы избежать многих грубых ошибок. Причем в отличие от Троцкого и его сторонников «правые» могли существовать в рамках партийной дисциплины и не стремились к созданию фракции. В конце концов Бухарин и его сторонники не были ни толстовцами, ни либералами. Не отвергали они в принципе и жестких мер. И в то же время Бухарин видел социально-экономические и политические пределы насилия, ратовал за соблюдение принципа добровольности. А в марте 1930 г. Сталин (по терминологии тех лет) сам «правеет» и противостоит напору левизны, которая с конца 1929 г. устремилась в брешь, пробитую исключением Бухарина из Политбюро. Ясно, что такого рода отступление партийное руководство могло бы сделать еще в ноябре 1929 г. в процессе поиска политического компромисса с «правыми», которые в это время, по мнению Н. К. Крупской, сделали громадный шаг в сторону позиции большинства⁶⁰, но принципиально возражали против чрезвычайных мер. Отступить можно было упредительно, не доводя страну до грани катастрофы.

В первой половине 30-х годов Бухарин продолжал теоретическую работу по осмыслению поворота 1929 г. Уже в феврале 1930 г. в статье «Великая реконструкция (О текущем периоде пролетарской революции в нашей стране)» он оценил происходивший в стране поворот как особую форму внутриформационного скачка, изменение обычного порядка движения, к которым партия оказалась теоретически не готова⁶¹. Процесс перевода сельского хозяйства на социалистические рельсы, подчеркивал Бухарин, не проходит, так же, как и вся наша революция, по «классическим» формулам педантов: *сперва* сотни тысяч тракторов, потом переделка крестьянского хозяйства на коллективный лад. Здесь «более уместна формула: *сперва* переделка производственных отношений, *потом* техническая революция»⁶². Статья Бухарина была пронизана гуманистическим пафосом, стремлением рассмотреть эпоху в ее человеческом измерении, показать пределы насилия и принуждения в исторически неизбежном и драматическом переходе советского общества на новые социально-экономические основания.

Эта теоретическая работа Бухарина, начатая в 1930 г., не была уже подкреплена ни достаточным политическим авторитетом, ни реальными возможностями влиять на выработку решений. Концепция внутриформационных

скачков в развитии социализма, теория политических и социально-экономических поворотов не были созданы в то время, накопленный опыт не был критически обобщен и теоретически освоен, анализ противоречий свелся к поискам «вредителей» и «классовых врагов». В результате партия к современной перестройке шла слишком долгим и мучительным путем проб и ошибок, пытаясь найти выход из противоречий командной экономики в рамках самой командной экономики. В полной мере сказались последствия тех деформаций в культуре политического руководства, которые возникли в партии после смерти Ленина в условиях острой внутрипартийной борьбы и отчетливо проявили себя в конце 20-х годов.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 43. С. 329.
- ² См.: КПСС в резолюциях... М., 1984. Т. 4. С. 261—262, 274—278.
- ³ См.: Пятнадцатый съезд ВКП(б): Стенографический отчет. Ч. 2. С. 890.
- ⁴ См.: XV конференция Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков): Стенографический отчет. М.; Л., 1927. С. 484.
- ⁵ Там же. С. 138.
- ⁶ См. там же. С. 137, 514.
- ⁷ Там же. С. 128.
- ⁸ Сталин И. В. Соч. Т. 10. С. 197.
- ⁹ См.: Мошков Ю. А. Зерновая проблема в годы сплошной коллективизации сельского хозяйства СССР (1929—1932 гг.). М., 1966. С. 62.
- ¹⁰ См.: ЦПА ИМЛ. Ф. 631. Оп. 2. Д. 36. Л. 46.
- ¹¹ См.: На аграрном фронте. 1930. № 6. С. 12—13.
- ¹² См.: КПСС в резолюциях... М., 1984. Т. 3. С. 60, 61.
- ¹³ См.: Четырнадцатая конференция Российской Коммунистической партии (большевиков): Стенографический отчет. М.; Л., 1925. С. 141.
- ¹⁴ Там же. С. 188.
- ¹⁵ Бухарин Н. И. Проблемы теории и практики социализма. М., 1989. С. 276.
- ¹⁶ Там же. С. 276—277.
- ¹⁷ Пятнадцатый съезд ВКП(б): Стенографический отчет. Ч. 2. С. 1094.
- ¹⁸ Правда. 1928. 15 июля.
- ¹⁹ См.: КПСС в резолюциях... Т. 4. С. 319—320.
- ²⁰ См.: Правда. 1928. 15 июля.
- ²¹ См. там же.
- ²² КПСС в резолюциях... Т. 4. С. 352.
- ²³ См.: Пятнадцатый съезд ВКП(б): Стенографический отчет. Ч. 1. С. 77—79, 116.
- ²⁴ См.: Справочник партийного работника. М.; Л., 1930. Вып. 7. Ч. I. С. 352—354; Известия ЦК ВКП(б). 1929. № 16. С. 14.
- ²⁵ См.: Третий съезд Советов Союза Советских Социалистических Республик: Стенографический отчет. М., 1925. С. 212.

- ²⁶ См.: Рейснер Л. Избранные произведения. М., 1958. С. 410.
- ²⁷ Бухарин Н. И. Уроки хлебозаготовок, Шахтинского дела и задачи партии. К итогам апрельского Пленума ЦК и ЦКК ВКП(б): Доклад на собрании актива Ленинградской организации ВКП(б) 13 апреля 1928 г. Л., 1928. С. 19.
- ²⁸ Там же. С. 10.
- ²⁹ Там же. С. 34—35.
- ³⁰ См. там же. С. 35—38.
- ³¹ См.: Сталин И. В. Соч. Т. 11. С. 5.
- ³² ЦПА ИМЛ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 417. Л. 88.
- ³³ См.: Бухарин Н. И. Проблемы теории и практики социализма. С. 287—301.
- ³⁴ См. там же. С. 289.
- ³⁵ Пятнадцатый съезд ВКП(б): Стенографический отчет. Ч. 1. С. 632—633.
- ³⁶ Лацис О. Проблема темпов в социалистическом строительстве. К 60-летию XV съезда партии. Размышления экономиста // Коммунист. 1987. № 18. С. 83.
- ³⁷ См.: КПСС в резолюциях... М., 1985. Т. 6. С. 17—18, 106—107.
- ³⁸ См.: Правда. 1930. 19 февр.
- ³⁹ Вознесенский Н. А. Избранные произведения. 1931—1947. М., 1979. С. 35.
- ⁴⁰ Там же. С. 34.
- ⁴¹ См.: КПСС в резолюциях... Т. 4. С. 451.
- ⁴² См.: Данилов В. П. Использование переходных форм хозяйства в процессе социалистического преобразования экономики // Экономическая политика Советского государства в переходный период от капитализма к социализму. М., 1986. С. 145—146.
- ⁴³ См.: Мошков Ю. А. Указ. соч. С. 51, 52.
- ⁴⁴ ЦПА ИМЛ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 417. Л. 52—53.
- ⁴⁵ См.: Мошков Ю. А. Указ. соч. С. 64.
- ⁴⁶ См. там же.
- ⁴⁷ См.: Ган Е. Теория и практика сельскохозяйственной контрактации. М.; Л., 1930. С. 38, 39.
- ⁴⁸ См.: СЗ СССР. 1930. № 16. Ст. 172.
- ⁴⁹ См.: КПСС в резолюциях... Т. 5. С. 8, 13.
- ⁵⁰ Цит. по: Документы свидетельствуют: Из истории деревни накануне и в ходе коллективизации 1927—1932 гг. М., 1989. С. 275.
- ⁵¹ См. там же. С. 276—277, 279; Бухарин Н. И. Проблемы теории и практики социализма. С. 263.
- ⁵² Цит. по: Вылцан М. А., Ивницкий Н. А., Поляков Ю. А. Некоторые проблемы истории коллективизации в СССР // Вопросы истории. 1965. № 3. С. 7.
- ⁵³ Материалы Отдела истории КПСС ИМЛ при ЦК КПСС.
- ⁵⁴ См.: Сталин И. В. Соч. Т. 12. С. 231—232.
- ⁵⁵ См.: Документы свидетельствуют... С. 390.
- ⁵⁶ Деревня при нэпе: Кого считать кулаком, кого — тружеником? Что говорят об этом крестьяне? М., 1924. С. 49.
- ⁵⁷ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 38. С. 201.
- ⁵⁸ ЦПА ИМЛ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 441. Вып. I. Л. 36.
- ⁵⁹ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 44. С. 224.
- ⁶⁰ ЦПА ИМЛ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 441. Вып. I. Л. 104.
- ⁶¹ См.: Правда. 1930. 19 февр.
- ⁶² См. там же.

В свое время Сталин не только добился физического уничтожения Бухарина, но и, как представлялось многим, навсегда вычеркнул его из истории. Сейчас очевидно, что это была временная победа. И в современном общественном сознании снова, как и 60 лет назад, два антипода конца 20—30-х годов — Бухарин и Сталин — активно противостоят друг другу. Сегодняшние дискуссии вокруг этих двух фигур отчетливо прорисовывают и нынешние политические позиции оппонентов, их оценки не только прошлого, но и настоящего. За этими дискуссиями — прежде всего спор о будущем, о том, каким быть социализму завтра. Но, быть может, для сегодняшнего дня важно не просто противопоставлять Сталина и Бухарина, а понять, что объединяло их в середине 20-х годов и что развело на рубеже 20—30-х. Эти проблемы касаются не только биографий двух крупных деятелей того времени. Их анализ выводит нас на более полное понимание судеб страны и народа в поворотные моменты довоенной советской истории.

1921—1927 гг. — период расцвета Бухарина как политического деятеля. В 1924 г. он был избран членом Политбюро, занял руководящие посты не только в ЦК, но и в ЦИК СССР, Исполкоме Коминтерна. Бухарин активно участвует в работе комсомола, ВЦСПС, Профинтерна, Института красной профессуры, Коммунистической академии, Института К. Маркса и Ф. Энгельса, других общественных, культурных, научных и учебных заведений. Часто представлял он партию и за границей. Одновременно продолжал свою работу как редактор «Правды», а затем и журнала «Большевик», был членом редколлегии ряда других изданий. Он был автором проектов целого ряда принципиально важных партийных документов, выступал с докладами и речами на съездах, конференциях, активах.

Известно, что после смерти Ленина в партийном руководстве вспыхнула острая борьба, в которой принципиальные идейные разногласия сочетались с «личным моментом». Эта борьба развела по разные стороны баррикад таких видных партийных деятелей, как Троцкий,

* Впервые опубликовано: Коммунист. 1988. № 13. Печатается с сокращениями.

Зиновьев, Каменев, с одной стороны, Сталин и Бухарин — с другой. Для Бухарина было характерно принципиальное неприятие левацких интерпретаций социалистического строительства. Против троцкизма прямо или косвенно направлены почти все его крупные работы того периода. Именно эта принципиальная позиция сделала Бухарина союзником Сталина, толкала на путь ожесточенной полемики, которая часто не давала ему услышать разумные доводы оппонентов. Идейная непримиримость перерастала в личную неприязнь, делала невозможной совместную коллективную работу. Сталин, которого Троцкий не без оснований обвинял в беспринципном центризме, умело использовал эту ситуацию для утверждения своих собственных политических позиций, добившись «отсечения» от руководства соперников — сначала Троцкого, а затем Зиновьева и Каменева. Однако и блок Бухарина и Сталина не мог быть прочным и долговременным. Теоретические и политические взгляды Сталина, как показали последующие события, в ряде принципиальных моментов объективно были гораздо ближе позиции его политического противника Троцкого, чем временного союзника Бухарина.

20-е годы стали для Бухарина периодом серьезной теоретической работы, переоценки многих прежних представлений. Он активно разрабатывает ленинскую идею рабоче-крестьянского союза как основы Советской власти и обязательной предпосылки строительства социализма. Бухарин, несомненно, воспринял преподанные ему Лениным в 1918—1921 гг. уроки и решительно пересмотрел характерные для него раньше «левые» позиции. На протяжении 1923—1924 гг. в острых столкновениях с оппозицией Бухарин осмысливает теорию и практику новой экономической политики, ведет борьбу за преодоление односторонних, неверных подходов к нэпу только как к отступлению, хотя в вопросе об «уступленном нэпу» он с самого начала склонен был к чрезмерным уступкам (например, выступал против монополии внешней торговли, был автором неудачного лозунга «обогащайтесь»).

В принципиально важной для теоретической и политической эволюции Бухарина книге «Путь к социализму и рабоче-крестьянский союз» (М., 1925) сформулирована его точка зрения о «столбовой дороге к социализму». Теоретические представления Бухарина о строительстве социализма во многом и определили практические действия партии в середине 20-х годов. «Главная книга» Бу-

харина — это попытка теоретически обосновать строительство социализма в одной стране на базе нэпа (в том его виде, как он сложился к середине 20-х годов). Книга Бухарина, на наш взгляд, развивала теоретически возможную модель социалистического строительства, максимально широко использовала ленинские идеи о необходимости «мостков» и переходных мер для подведения мелкокрестьянской страны к социализму. Концепция Бухарина во многом опиралась на ленинские представления о социализме как «строе цивилизованных кооператоров». Но в этой почти безупречной теоретической схеме отсутствовало одно принципиально важное звено. Предложенная в «Пути к социализму...» концепция не предполагала никаких кардинальных корректировок под влиянием изменений внутренней и внешнеполитической ситуации, целиком основывалась на идее постепенного «исчерпания» нэпа, медленного (иногда Бухарин даже говорил «черепашьего») «врастания» страны в социализм, без диалектических скачков и революционных переходов в новое качественное состояние. Между тем такого рода революционные скачки, как стало очевидным сегодня, — обязательное условие развития социализма не только в переходный период.

Книга Бухарина вышла в 1925 г., которому суждено было стать годом серьезного поворота в политике и острой внутрипартийной борьбы. Принятые тогда решения были довольно противоречивы. Они завершали конструирование «классического» нэпа дальнейшим развертыванием товарно-денежных отношений, раскрепощением товарооборота, разрешением найма, аренды, отказом от натуральных форм продналога и переводом снабжения городов на рыночные основания. Все эти меры были сориентированы на индивидуальное крестьянское хозяйство. На этой основе предполагалось обеспечивать индустриализацию, курс на проведение которой принимается в том же году.

Одновременно встал вопрос о том, каким образом совместить раскрепощение мелкотоварного уклада с задачами индустриализации. В 1925 г. проблема была уже практически поставлена в плоскости «перекачки» — неэквивалентного обмена между городом и деревней. Однако перевод снабжения городов на рыночные основания, раскрепощение производственной активности индивидуального крестьянского хозяйства осложняли эту «перекачку». Нормальные хозрасчетные отношения,

сбалансированная экономика исключали такой неэквивалентный обмен, вернее, ставили для него существенные пределы, создавая угрозу кризисов. Тем не менее все оппоненты, определившие в 1925 г. свои позиции, продолжали рассуждать о «перекачке».

Драматизм принятого решения как раз и состоял в том, что обеспечение «перекачки» средств для индустриализации на основе длительного сохранения индивидуального крестьянского хозяйства требовало постоянных усилий партии по нахождению и поддержанию сложных политических компромиссов. Такой путь был первоначально принят партией, но все его сложности едва ли были тогда полностью осознаны. В основу практической политики 1925—1927 гг. была положена точка зрения Бухарина о том, что не колхозы являются «столбовой дорогой к социализму»¹. Двухлетний разрыв в решениях об индустриализации и производственном кооперировании деревни, упущенные в результате этого возможности решения хлебной проблемы привели к тому, что, по более поздней оценке самого Бухарина, страна вступила в исторически неизбежный этап социалистического строительства через «ворота чрезвычайных мер»².

Значительную роль в период 1925—1927 гг. сыграла личная позиция Сталина, подчинившего принятие политических решений борьбе за власть, вставшего на путь закулисного маневрирования и интриганства, не умевшего и, может быть, не желавшего находить рациональное зерно в критических высказываниях своих оппонентов (например, в предупреждениях Каменева и Сокольников на XIV съезде партии о нарастании кризисных явлений в нэповской экономике³).

Показательно, что в течение 1926—1927 гг. Бухарин уже начал пересмотр прежней своей точки зрения по ряду вопросов. Он отказывается от идеи «черепашьего шага» и ориентируется на более быстрые темпы. Тем самым Бухарин признает определенные слабости политики, намеченной в 1925 г.

В 1926—1927 гг. в партийном руководстве шло несколько запоздалое осмысление новых, порожденных начавшейся индустриализацией проблем социалистического строительства. Еще в конце 1927 г. явных разногласий в Политбюро по узловым вопросам хозяйственной политики не было. На XV съезд партийное руководство вышло с единой программой постепенного «переконструирования» нэпа для решения задач социалистической рекон-

струкции, развертывания производственного кооперирования, расширения плановых начал, активного наступления на капиталистические элементы города и деревни. Однако не все обстоятельства были учтены на съезде. Прежде всего на нем практически ничего не было сказано о том, что хлебозаготовки испытывают серьезные трудности, что достаточно хлеба получить не удастся.

Новая ситуация (обострившееся международное положение, кризис хлебозаготовок) уже ставила под вопрос саму программу «плавной» трансформации нэпа. В январе 1928 г. Политбюро единодушно принимает решение о применении чрезвычайных мер, использовании административного и судебного нажима на кулаков и зажиточных крестьян для обеспечения городов хлебом⁴. Это решение поддерживают все члены руководства, включая Бухарина, Рыкова, Томского и Сталина. Как позднее признавался М. И. Калинин, то, что он голосовал за чрезвычайные меры, вовсе не значило, что он их поддерживает⁵. Другого выхода руководство партии в тот момент попросту не видело. В городах выстраивались очереди за хлебом. Росло недовольство рабочих. Возникла напряженность в деревне. Ситуация оценивалась как безвыходная. Надо было любой ценой получить хлеб и накормить города. В этот момент и Бухарин не возражал против эпизодического применения чрезвычайных мер. Но обозначились и общие контуры принципиальных расхождений между Бухариным и Сталиным. Если взять сталинскую позицию января 1928 г., то уже видна ориентация на принятие достаточно радикальных решений. Сталин чувствует, что обеспечить «перекачку» и решить хлебную проблему с помощью механизмов «традиционного» нэпа не удастся. Одни лишь чрезвычайные меры тоже не годятся, потому что их применение неизбежно ведет к снижению посевов, уменьшению объема товарного хлеба. У Сталина в этот период возникает идея насильственного «насаждения» колхозов как нового канала «перекачки» и одновременного развития зернового хозяйства совхозного типа⁶.

В принципе никто из членов Политбюро не возражал против «перекачки». Дискуссионными остаются вопросы о ее формах и пределах. Они обостряются по мере того, как практические действия Сталина и его ближайшего окружения, направленные на выход из кризиса, все в большей мере расходятся не только с решениями

XV съезда ВКП(б), но и с ленинскими принципами взаимоотношений рабочего класса с крестьянством.

1—2 июня 1928 г. Бухарин пишет Сталину письмо, которое свидетельствует об очень серьезных разногласиях и обострении личных отношений между ними. Начинается оно так: «Коба. Я пишу тебе, а не говорю, так как мне и слишком тяжело говорить и, боюсь, ты не будешь слушать до конца. А письмо ты все же прочтешь. Я считаю внутреннее и внешнее положение страны очень тяжелым»⁷. Давая анализ этого положения, Бухарин приходит к следующему выводу. Он не отрицает необходимости колхозов, но считает, что они не смогут нас в ближайшее время «вывезти», поскольку будут строиться на протяжении нескольких лет. В то время этот факт признает и сам Сталин. Обратный капитал и технику колхозам тоже сразу дать нельзя. К новому урожаю надо готовиться, и готовиться серьезно. *«А мы что делаем?»* — задает вопрос Бухарин.— Ни разу, даже в узкой среде, «не обсуждали общих вопросов политики»⁸. Попытки Бухарина поставить эти вопросы провалились в Политбюро. В результате у руководства отсутствует целостный план, и мы действуем, пишет Бухарин, «хуже, чем сверхэмпирики грубейшего образца»⁹. Из письма явствует, что Бухарин видит и не принимает импровизационный характер политики Сталина, ведущей к идеологической дезориентации партии. Главное на что обращает внимание Бухарин,— это перерастание экстраординарных мер в новую политическую линию, отличную от линии XV съезда партии. Причем эта линия зафиксирована не в резолюциях съезда, а формируется в результате политической практики Сталина.

Для Бухарина вопрос стоит так: поскольку колхозы в ближайшее время хлеба дать не могут, надо ориентироваться на подъем индивидуального крестьянского хозяйства, на нормализацию отношений с крестьянством. Для этого он предлагает свою хозяйственную программу. Иной взгляд на этот вопрос у Сталина: на период, пока колхозы зерновую проблему решить не могут, необходимо эту слабость в деле «перекачки» перекрывать чрезвычайными мерами. В этот момент главные разногласия между Бухариным и Сталиным заключаются не столько в вопросах о темпах развития или о создании колхозов, сколько в том, каким образом удержаться в данный период, пока колхозов в необходимом количестве еще нет и хлеба они не дают.

В июле 1928 г. разногласия усиливаются. На Пленуме ЦК Сталин выступает с теорией «дани», то есть добавочного налога на крестьянство, сверхналога, который «мы вынуждены брать временно для того, чтобы сохранить и развить дальше нынешний темп развития индустрии»¹⁰. Бухарин тоже не возражает против «перекачки», то есть отчуждения части продукта у крестьян в пользу развития тяжелой промышленности. Он лишь говорит об умеренности в этом деле¹¹. В чем же тогда состоит разница позиций Сталина и Бухарина? Первый пришел к выводу, что неэквивалентный обмен и рынок — вещи несовместимые. Второй ориентируется на «перекачку» через механизмы рынка на базе сохранения в течение достаточно долгого срока индивидуального крестьянского хозяйства. В то же время Бухарин не отрицает, что колхозы и совхозы — лучший инструмент «перекачки». Другое дело, что сразу товарный хлеб государство у них получить не сможет¹². Кто же прав? Вероятно, ни тот ни другой.

В результате нетерпимой позиции Сталина возможностей для совместного поиска верного решения становится все меньше и меньше. Впоследствии Бухарин говорил, что, помня о завещании Ленина, он с большой напряженностью наблюдал за ростом недовольства среди крестьян¹³. Однако самого его в этот момент уже закулисно называли паникером, пустив соответствующий слух по стране. Тем не менее на Пленуме ЦК ВКП(б) в июле 1928 г. после упорной борьбы удалось выработать общую резолюцию, и чрезвычайные меры были отменены¹⁴. Июльский Пленум в известной мере стал победой группы Бухарина. Большинство ЦК в то время еще поддерживало Бухарина, Рыкова и Томского в их разумных и осмотрительных призывах.

Практика, однако, далеко ушла от принятых документов. Фактическую политику после Пленума определяла речь Сталина о «дани». Бухарин говорил, что формула «дани» переворачивала все прежние партийные решения, и согласиться с ней он никак не мог, видел в этой формуле провозвестника дальнейшей чрезвычайной политики¹⁵. А среди сторонников самого Сталина нарастала ориентация именно на чрезвычайные меры. Принимая решения об их отмене, они в то же время допускали возможность использования их вновь и вновь. В частности, Каганович прямо ориентировался на повторение чрезвычайных мер «в случае чего»¹⁶. Ударение, по мнению

Бухарина, надо было делать не на повторении их «вслучае чего», а на сохранении мира с середняком, но «над этим посмеивались», давая понять, что Бухарин проявляет мягкотелость¹⁷.

Осенью 1928 г. для Бухарина стало очевидным, что тревожные явления в хозяйственной жизни продолжают нарастать. В осторожной форме он дал анализ этих явлений в «Заметках «экономиста», опубликованных в «Правде»¹⁸. В них он поставил вопросы о том, что положение с золотом у нас тревожное, что у страны нет резервов, что дело с зерном стоит на месте или даже идет назад, что мы набираем слишком большой темп развития индустрии и отсюда вытекает все большая ориентация на чрезвычайные меры.

В ноябре 1928 г. он снова говорит о крайне тревожном положении и с перспективами хлебозаготовок, и с вопросом о посевных площадях, предсказывает воспроизводство трудностей и даже их обострение, если не сделать ударения на хозяйственно-политическом мире с середняком¹⁹. На ноябрьском Пленуме ЦК ВКП(б) Бухарину удалось добиться общей резолюции, важным пунктом которой стало признание того, что одной из центральных задач является стимулирование индивидуального бедняцко-середняцкого хозяйства²⁰. Но, несмотря на единогласно утвержденную резолюцию (в составлении ее принимали активнейшее участие Бухарин и Рыков), реальное развитие событий вновь пошло по совсем иному руслу. О резолюции «забыли». Упомянутое положение о равнении на индивидуальное крестьянское хозяйство, по словам Бухарина, «выскочило»²¹. На местах все заметнее проявлялась другая ориентация. В результате в конце 1928 г. значительно сократились посевы озимых. Страна снова оказалась в тяжелейшем хлебном кризисе, возникли серьезные затруднения с иностранными платежами. Одним из следствий этого стало введение хлебных карточек, сокращение импорта. Под угрозой оказались производственные программы. Однако справедливые высказывания Бухарина о сложности складывавшегося в стране положения вновь стали объектом ругани. «В верхушке,— по его словам,— создали такое положение, что говорить нельзя: иначе неизбежно очутишься или «паникером», или «антиленинцем», причем получаешь эти клички от товарищей, компетентность которых в данных вопросах является по меньшей мере спорной»²².

На рубеже 1928—1929 гг. вновь встает вопрос о чрезвычайных мерах. Бухарин, Рыков и Томский бросаются в свою последнюю атаку. 30 января и 9 февраля 1929 г. следуют два заявления группы Бухарина, обращенные к членам Политбюро ЦК и Президиума ЦКК. В них указывается на все большее расхождение практики с принятыми партией решениями. Одну из главных причин этого Бухарин, Рыков и Томский видят в личной позиции самого Сталина, в его особом положении, в его необычайной власти, которую он использует неправильно²³.

В этих заявлениях даются оценки Сталина как политического деятеля. Что же это за оценки? Во-первых, указывается, что в результате деятельности Сталина и его ближайшего окружения в руководстве партии происходят серьезные деформации, что вместо большой политики Сталин занимается политиканством, приклеиванием политических ярлыков, не говорит всей правды о сложности положения²⁴. «Как можно обсуждать хозяйственные вопросы,— спрашивает Бухарин,— если забота о хлебе объявляется обывательщиной?.. Если забота о прочности смычки с мужиком нередко фигурирует как крестьянский уклон, если предложение дать на что-либо добавочную ассигновку или ее урезать — как антиленинизм?.. Кто раскроет рот по этим вопросам? Вот почему эти вопросы не ставятся, а держатся под спудом. Вот почему вся партия их обсуждает, но «про себя», по два, по три человека. Вот почему у членов партии создалась тоже двойная «линия»: один счет — «для души», другой — «для себя». Посещение собраний, единодушное голосование, принятые официальные формулы становятся ритуалом, необходимой партийной церемонией»²⁵.

Тем не менее, несмотря на столь острую оценку внутрипартийной ситуации, Бухарин ставит вопрос: можно ли найти общий язык, принять общие резолюции? И приходит к выводу: **«Можно и должно»**. Для этого, по его мнению, нужно отойти от «маленькой политики» и вернуться к большой политике, которая в кризисные ситуации **«говорит рабочему классу правду о положении, ставит ставку на массу, слышит и чувствует нужды массы, ведет свое дело, слившись с массами»**²⁶. Бухарин настойчиво повторяет, что никто не загонит его на путь фракций, что прямым преступлением является трата времени и сил на внутреннюю вершущечную борьбу, что надо восстановить взаимное доверие и наладить коллективное руководство²⁷.

Появление второго заявления группы Бухарина от 9 февраля 1929 г. связано с тем, что, несмотря на выраженную ею готовность сотрудничать в выработке общей линии, комиссия Политбюро и Президиума ЦКК подготовила проект резолюции, в которой был пущен в политический оборот эпизод встречи Бухарина с Каменевым летом 1928 г. Бухарин, Рыков и Томский категорически отвергли приписываемую Бухарину попытку организовать фракционный блок с группой Каменева. Они квалифицировали это не иначе, «как грубое извращение истины», стремление изобрести «фракционность», а в конечном итоге желание «дискредитировать нас», «заклеймить нас»²⁸. Бухарин признал, что сам факт разговора с Каменевым был «неосторожностью и ошибкой», но утверждал, что практическая цель разговора проста: он просил «не принимать участия в травле, никем официально не решенной»²⁹.

Однако заявление Бухарина, Рыкова и Томского не сводило проблемы внутрипартийного положения к одному эпизоду, как это делал Сталин. Они поставили более общий вопрос: для чего Сталину понадобилась переделка ленинской «смычки» на «дань», для чего изменять формулировку, соответствующую совершенно другим отношениям, если не хочешь менять самого содержания отношений? ³⁰

Группа Бухарина видела всю опасность такой формулировки. Прошло чуть больше полугода со времени первого введения чрезвычайных мер, и теория «дани» легко могла быть воспринята как идеологическое увековечение этих мер.

Проект резолюции, по мнению Бухарина, Рыкова и Томского, не только не осуждал теории «дани», но и протаскивал ее в качестве партийного решения³¹. Во втором заявлении группы Бухарина была обострена и оценка экономического положения страны на двенадцатом году пролетарской диктатуры. При больших успехах социалистического строительства вообще, отмечалось в нем, мы вводим систему хлебных карточек, налицо полуголод в ряде районов, недостаток сырья, острый недостаток промтоваров, признаки инфляции и тяжелое положение с золотыми и валютными средствами³². Одновременно Бухарин углубляет анализ кризисных явлений в нэповской экономике. Он указывает теперь не просто на ошибки конъюнктурного характера, связанные с ценами, но и добавляет, что индустриальное строительство и строи-

тельство внеиндустриальное развивались у нас за последние годы в значительной мере за счет эмиссии и траты золотовалютных запасов, а сельское зерновое хозяйство росло совершенно недостаточным темпом. В результате появились явные признаки инфляции и очень серьезные экономические проблемы. Возникла угроза смычке и опасность срыва индустриализации. «Страна терпит недостаток в хлебе,— писал Бухарин,— не благодаря развитию колхозов, а несмотря на это развитие; этот недостаток хлеба будет обостряться, если все успехи нашей политики в деревне на ближайшие годы мы свяжем только и исключительно с успехами колхозного движения, которое, конечно, нужно всячески и всемерно поддерживать. Простой арифметический расчет показывает нам, что в ближайшие годы они (колхозы и совхозы) не смогут быть основным источником хлеба. Основным источником будут еще долгое время индивидуальные хозяйства крестьян»³³.

Подготовленный комиссией Политбюро проект резолюции был в целом верно оценен группой Бухарина прежде всего как огонь на политическое уничтожение³⁴. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что именно к этому времени, к февралю 1929 г., реформа сельхозналога, меры в области машиноснабжения деревни, постановка вопроса о середняке уже сняли, по мнению группы Бухарина, ряд серьезных разногласий в области хозяйственной политики. И тем не менее предпринимается акция, направленная на отсечение группы Бухарина от руководства. Сталин и те, кто его поддерживал, фактически встали на путь политиканства. Они, например, объявили Бухарина противником индивидуального, то есть определяемого административным путем, обложения кулачества. В действительности же Бухарин выступал даже за более высокое обложение кулаков, но только основанное на законе, сужавшем возможности для произвола и перегибов на местах. Такого рода передержек в резолюции было немало.

В своем февральском заявлении Бухарин, Рыков и Томский подчеркивали, что никогда не выступали против официальных решений партии. Они боролись против искажений Сталиным и его сторонниками этих официальных решений в сторону «чрезвычайщины», против того, чтобы ставить рядом Сталина и партию «как равновеликие величины» или же прямо заменять Сталина Центральным Комитетом, ЦК — Сталиным, а любое

выступление против Сталина расценивать как выступление против партии в целом³⁵. Именно на этой основе строились обвинения в «нападении» Бухарина на ЦК.

Однако в позиции Бухарина меньше всего было борьбы за власть. На наш взгляд, и по своим человеческим качествам он был чужд претензий на роль вождя. Между прочим, по свидетельству читателя журнала «Коммунист» ветерана партии Ф. П. Новиченкова, который присутствовал в 1933 г. на «партийной чистке» Бухарина, в ответ на обвинения в вождизме Николай Иванович, думается, вполне искренне ответил: «Я никогда не лез в вожди. Нет у меня данных для вождя». И в феврале 1929 г. группа Бухарина не требовала смещения Сталина с поста генсека. «Мы думаем лишь, — писали они, — что тов. Сталину нужно учесть совет (очень мудрый), данный Лениным, и не отступать от коллективности в руководстве. Мы считаем, что тов. Сталина, как и каждого другого члена Политбюро, можно и должно поправлять, не рискуя за это быть превращенным во «врага партии». Обеспечить подобные элементарные условия для работы членов Политбюро — вот задача ЦК и ЦКК»³⁶.

Между тем готовность группы Бухарина к компромиссу, вероятно, совсем не устраивала Сталина, который в этот момент стремился вывести из партийного руководства еще трех видных представителей старой партийной гвардии. Политические отношения в Политбюро накалились, и это серьезно осложняло выработку правильных решений, хотя в начале 1929 г. такая возможность была.

У Бухарина оставалось еще право апелляции к Центральному Комитету, члены которого долгое время колебались и в определенные моменты оказывали поддержку бухаринской точке зрения. Теперь им предстояло сделать окончательный выбор. На Пленум ЦК ВКП(б) в апреле 1929 г. Политбюро выходит, раздираемое противоречиями, разделенное на две противостоящие друг другу группировки. На самом Пленуме Томский прямо указал на суть этих разногласий: по мнению группы Бухарина, после отказа от чрезвычайных мер на июльском Пленуме 1928 г. введение их вновь — ошибка³⁷.

Выступление Бухарина на апрельском Пленуме продолжалось несколько часов и начиналось с поистине трагических нот: «Товарищи, прошу выслушать мою речь с возможно большим вниманием, ибо я полагаю, что в качестве члена Политбюро произношу свою речь перед Пленумом в последний раз»³⁸. Здесь Бухарин не ошибся.

На пленумах ему пришлось еще выступать, но уже в другом качестве. В своей речи Бухарин обращает внимание на целый ряд акций, предпринятых Сталиным против трех членов Политбюро и фактически означавших нечто вроде «гражданской казни», публичную дискредитацию без решения соответствующей высшей партийной инстанции. Но сосредоточивается он на другом. Бухарин впервые дает развернутую критику сталинской концепции обострения классовой борьбы по мере успехов строительства социализма. По свидетельству Бухарина, эта концепция является теоретическим обоснованием «чрезвычайщины». Она была сформулирована Сталиным на июльском (1928 г.) Пленуме ЦК, а развил ее в сентябре 1928 г. В. В. Куйбышев. По словам Бухарина, эта теория смешивает две совершенно разные вещи: «известный временный этап обострения классовой борьбы — один из таких этапов мы сейчас переживаем — с общим ходом развития»³⁹.

В речи Бухарина появляются и новые акценты в оценке социально-экономической ситуации. Продолжая настаивать на том, что причина хозяйственных затруднений — нарушение хозяйственных пропорций, он подчеркивает: это не значит, что темп развития нашей индустрии мы взяли слишком большой. Так можно было бы думать некоторое время назад, но при ближайшем же анализе обнаружилось, что суть дела не в этом. Темп может быть даже выше, но при условии подъема сельского хозяйства как базы индустриализации и быстрого хозяйственного оборота между городом и деревней. Сами же затруднения возникли потому, что огромные затраты на капитальное строительство шли в условиях, неблагоприятных для развития сельского хозяйства, особенно зернового. Последнее оказалось в наименее выгодном положении, «началась известная *перебежка производительных сил из области зернового сектора*»⁴⁰.

Если сделать некоторое отступление, то можно сказать, что в значительной степени эти трудности были подготовлены решениями 1925 г. Упущенная хлебная проблема в немалой степени связана с ориентацией на развертывание индустриализации при сохранении старых «колес» — индивидуального крестьянского хозяйства, пренебрежения к проблемам производственного кооперирования. Между тем именно колхозы, созданные для решения зерновой проблемы, давали возможность обеспечить форсирование индустриализации, подготовку к ней.

То, к чему Сталин самостоятельно приходит только в январе 1928 г., без помощи Бухарина, объективно можно было сделать раньше, причем в иной ситуации. По всей вероятности, тогда не понадобились бы и чрезвычайные меры. Таким образом, Бухарин в известном смысле борется с последствиями своей собственной политики 1925 г.

В апреле 1929 г. Бухарин приходит к выводу, что мелкий товаропроизводитель превратился из продавца хлеба в сдатчика хлеба и рыночная форма смычки между городом и деревней, рабочим классом и крестьянством нарушена. В результате введения чрезвычайных мер, принудительных закупок хлеба крестьянское хозяйство стало хозяйством с зажатými производственными стимулами. Роль денег падает, значение этого рычага ослабевает, и одновременно усиливается административный нажим, появляются новые формы «чрезвычайщины». Сочетать задачи развития товарооборота и роста новых форм прямой экономической связи города и деревни не удалось. Поэтому-то «*машина чрезвычайщины*» засасывает страну во всевозрастающей степени. Она как бы подпирает расшатавшуюся экономическую систему и в то же время мешает хозяйственному развитию, создает дополнительные трудности ⁴¹.

Главная сложность управления в этих условиях — переплетение в один клубок действительно прогрессивных элементов хозяйственного регулирования, способствующих продвижению вперед, с элементами «чрезвычайщины». Чрезвычайные меры несовместимы с нэпом, как «вещи друг другу противоречащие. Чрезвычайные меры есть отмена нэпа, хотя и временная, конечно. Чрезвычайные меры, как *система*, исключают нэп» ⁴².

Опираясь на этот анализ, Бухарин излагает свою альтернативную программу на Объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) в апреле 1929 г. ⁴³

Почему же предложенная Бухариным программа не была поддержана большинством членов ЦК? Прежде всего из-за первого, главного, жестко сформулированного пункта: ввоз хлеба из-за границы. Бухарин подчеркивал, что правы те товарищи, которые говорят: либо ввоз хлеба, либо чрезвычайные меры. Однако предложение Бухарина рассматривалось как отступление без каких-либо серьезных гарантий на будущее. Выбор заключался не просто между ввозом хлеба из-за границы и чрезвычайными мерами, а между ввозом хлеба и судьбой

индустриализации. Для партийного руководства того времени, естественно, на первом месте стояла индустриализация. Неприемлемость этого бухаринского предложения для большинства в общем-то привела к тому, что были отвергнуты и все другие его предложения, в том числе такое принципиальное, как соблюдение революционной законности.

Нельзя, конечно, считать Кагановича выразителем мнения большинства, однако он резонно говорил о том, что в деревню направлены товары, увеличены цены на хлеб, но после всего этого кулак все же заявляет: у меня излишки есть, я вам моих излишков не отдам. «Что же вы прикажете нам делать, какие меры вы можете выдумать? — спрашивал Каганович, обращаясь к Бухарину, Рыкову и Томскому. — Вы ни одного нового предложения не внесли и внести не можете, потому что их нет, потому что мы имеем дело с классовым врагом, который на нас наступает, который остатки хлеба для социалистической индустрии дать не хочет, который заявляет: дай мне трактор, дай мне избирательные права, — я дам тебе хлеба»⁴⁴. Против программы Бухарина выступил и Калинин. Одним рынком и голым лозунгом развития инициативы индивидуального крестьянского хозяйства, считал он, мы хлебного кризиса не решим, потому что сельское хозяйство раздроблено, его товарность низка и т. д. Шансов поднять товарность индивидуального хозяйства до нужного уровня не осталось, и, по его мнению, «для сегодняшнего дня это уже ошибка», так же как и пытаться на этой основе обеспечить вывоз хлеба за границу для покупки оборудования. Бухарин, как и его оппоненты, выступает за коллективизацию. Но для него характерна ориентация на длительный процесс создания колхозов, а сейчас — упор на индивидуальное хозяйство, параллельное его существование с колхозами. По мнению Калинина, правильное будет все мероприятия по поднятию крестьянского хозяйства связать в той или иной форме с коллективизацией. И он заключает: «Если бы в этом **основном вопросе** вы сговорились с нами, то было бы единство»⁴⁵. В этом основном вопросе на Пленуме в апреле 1929 г. договориться не удалось. Однако многие члены Центрального Комитета высказались если не в поддержку группы Бухарина, то за ее сохранение в Политбюро. И благодаря такой позиции она в Политбюро остается.

Несмотря на остроту полемики и, казалось бы, непримиримость сторон, большинство ЦК все-таки проявило

разумность, а Бухарин в ряде позиций пошел навстречу большинству. Он признал возможность высоких темпов индустриализации. Причем в решениях апрельского Пленума, а затем и XVI партийной конференции (апрель 1929 г.) высокие темпы индустриализации соседствуют с достаточно умеренными темпами коллективизации⁴⁶. Это еще компромисс, достигнутый в значительной степени в результате разумной политики Бухарина, того, что он заново проанализировал ситуацию и изменил свою точку зрения по ряду принципиальных вопросов.

Собравшийся в ноябре 1929 г. Пленум ЦК ВКП(б) проходил под знаком того, что год 1929-й стал годом «великого перелома». На Пленуме говорится о невиданном по своим темпам размахе капитального строительства, о массовом характере, которое приняло колхозное движение. Все эти факты высоко оцениваются и группой Бухарина. Она заявила об изменении своей позиции в отношении не только форсированной индустриализации, но и сплошной коллективизации. Характерно, что при этом сторонники Бухарина ведут поиск новых форм экономических взаимоотношений, подчеркивая, что «сплошная коллективизация целых районов — с одной стороны, широкое развитие практики контрактации — с другой, ставят... вопрос о рыночных отношениях по-новому (выделено нами.— Авт.)»⁴⁷.

Однако означало ли все это полное сближение позиций Бухарина, Рыкова и Томского и большинства ЦК? Нет. На чем твердо продолжала стоять группа Бухарина, так это на позициях принципиальной недопустимости «чрезвычайщины». Поддержав Сталина в этом вопросе, члены ЦК совершили роковую ошибку, которая будет осознана далеко не сразу. Ее совершили и те, кто до недавнего времени колебался. К примеру, А. А. Сольц, признававшийся, что раньше у него были «известного рода сомнения в связи с чрезвычайными мерами... с точки зрения подхода к человеку, когда приходится делать административный нажим на большие человеческие массы»⁴⁸. На выбор, сделанный большинством членов ЦК, в немалой степени повлиял тот факт, что альтернатива Бухарина не состоялась, не «сработала». Более того, от нее отказались сами ее авторы.

Единственным альтернативным пунктом в заявлении группы Бухарина остается вопрос о чрезвычайных мерах как **системе** (выделено нами.— Авт.)⁴⁹. В нем заключена не только их принципиальная позиция, но и стремление

отстоять ленинские традиции. Именно Бухарин, Рыков и Томский, а не большинство ЦК в этот момент следуют заветам ленинизма. Большинство же ЦК выбирает сталинизм. До ноября 1929 г. колебания членов ЦК вели к тому, что группе Бухарина удавалось исполнять роль политического противовеса и блокировать по крайней мере наиболее вопиющие проявления «чрезвычайщины». С поражением группы Бухарина и выводом его самого из Политбюро начинается разгул перегибов в деревне, грубейшее нарушение ленинских принципов отношения к крестьянству. Совершенно ясно, что последняя альтернатива Бухарина — принципиальное неприятие «чрезвычайщины» — действительно была альтернативой сталинизму. Члены ЦК, сделав свой исторический выбор, несут и историческую ответственность за последовавшие в 30-е годы трагические события. По сути дела, они вынесли вотум доверия Сталину и его курсу на политическую и экономическую «чрезвычайщину».

В ноябре 1929 г. Бухарин был выведен из состава Политбюро. Начался новый, наименее проясненный период его политической биографии. Сегодняшние попытки ввести в научный оборот тексты выступлений позднего Бухарина часто вызывают внутреннее сопротивление у целого ряда исследователей. Часть из них считает, что Бухарин в 30-е годы всячески пытался занять свое место в том хоре славословий «великому вождю и учителю», которые все громче звучали в партии и обществе. Однако более детальное изучение некоторых выступлений Бухарина показывает, что все обстояло не так просто.

Прежде всего о реальной политической роли Бухарина в 30-е годы. Он принимал участие в целом ряде важнейших политических мероприятий — в работе XVII съезда, XVII партийной конференции и пленумов ЦК ВКП(б), в комиссиях по подготовке Конституции СССР 1936 г. и Примерного устава сельскохозяйственной артели, работал главным редактором «Известий» и в коллегии Наркомтяжпрома, вел академическую деятельность, контактировал с видными общественными деятелями Запада и т. д. Но дело не только в этом. На позиции многих членов Центрального Комитета партии, на важных решениях, принятых в этот период, еще отчетливо ощущалось влияние идей Бухарина.

Чтобы понять, в чем оно выражалось, необходимо, конечно, обратиться к документам. В этом плане ключевую роль играют материалы Объединенного пленума ЦК

и ЦКК ВКП(б), состоявшегося в январе 1933 г., речь на нем Бухарина. В самом отношении многих членов ЦК к Бухарину совершенно четко прочитывается стремление к его политической реабилитации, желание подчеркнуть тот факт, что Бухарин искренне осознал свои прежние ошибки и думает прежде всего о будущем. Даже такой близкий к Сталину человек, как К. Е. Ворошилов, говорил о том, что он верит Бухарину «во сто крат больше, чем Рыкову, и в тысячу раз больше, чем Томскому. Томский хитрит, Рыков пытается быть искренним, но пока у него ничего не получается. Бухарин искренен и честен...»⁵⁰. Чем же объясняется такое отношение?

Когда совершился «большой скачок», сопровождавшийся огромными жертвами и издержками, перед партией встал очень серьезный вопрос: как жить и действовать дальше? Сохранять ли «чрезвычайщину», против которой возражал Бухарин в ноябре 1929 г., или все-таки пойти по пути нормализации социально-экономической и политической жизни страны? Вокруг этих вопросов и шла борьба, проявлялись колебания⁵¹. Однако в определенный момент верх одержала тенденция идти по пути нормализации. Сторонники умеренной, сбалансированной политики, те, кто твердо считал, что надо ввести ситуацию в какие-то рамки, нуждались в конструктивной программе. И вот эта программа — а скорее даже направление поиска — оказалась в общих контурах прорисованной как раз у Бухарина.

Какие же идеи развивал Бухарин на январском Пленуме? Прежде всего он дал анализ итогов первой пятилетки. По его мнению, начало ее осуществления уже было крутым переломом во всем хозяйственном и политическом развитии страны. В это время стояли задачи создания нового основного капитала, уничтожения противоречий между растущей крупной социалистической индустрией и мелким индивидуальным крестьянским хозяйством, между ростом социалистического сектора (и его классовым носителем — пролетариатом) и ростом капитализма в сельском хозяйстве (и его классовым носителем — кулачеством). Одна из самых главных проблем, которая возникла в сельском хозяйстве в результате поворота 1929 г., по мнению Бухарина, состояла в том, что возник разрыв между новыми средствами производства, поступающими в деревню, и квалификацией рабочей силы. Но в общем и целом в результате первой пятилетки, несмотря на все потери, «мы продвинулись вперед на

высшую ступень», мы стали «новой страной», перед которой стоят новые проблемы⁵².

Увеличивались возможности воздействия на деревню. Усиливалась производственная смычка между городом и деревней. Эта основная форма смычки, по мнению Бухарина, должна подпираться «стимулом прямой заинтересованности через советскую торговлю, через рынок, но при коренном отличии от старого...»⁵³. В выступлении Бухарина на январском Объединенном пленуме ЦК и ЦКК 1933 года прочерчивались контуры концепции социалистического рынка, нормализации экономической жизни, осмысления социализма как товарно-планового хозяйства, в котором огромную роль играла бы торговля, хотя и на новой основе.

В то же время на Пленуме именно из уст Бухарина, пожалуй, более ярко, чем у соратников по недавней борьбе Рыкова и Томского, прозвучала мысль о том, что «исторически сложившееся руководство нашей партии во главе с т. Сталиным, этой энергичной железной фигурой, целиком завоевало себе право на руководство всем дальнейшим процессом...»⁵⁴. Конечно, в этих словах есть определенные элементы политической игры, стремление удержаться у руководства, чтобы таким образом влиять на ситуацию. Вряд ли такая позиция в то время может быть поставлена Бухарину в вину. Но одновременно следует иметь в виду, что именно Бухарин, который занимал бескомпромиссную позицию в конце 20-х годов, теперь выступил с прямой поддержкой Сталина и говорил о том, что мы имеем тот партийный режим, который нам нужен (обосновывая это ухудшением международного положения, тем, что обстановка в Германии может измениться кардинальным образом и к власти придут фашисты)⁵⁵.

И все-таки Бухарин отнюдь не единомышленник Сталина, и Сталин его таковым не считал. В статье «Экономика Советской страны», опубликованной 12 мая 1934 г. в «Известиях», Бухарин продолжал развивать идеи о необходимости установления нормальных, стабильных отношений между городом и деревней, вновь высказывал мысли о том, что нужно пустить в дело материальные стимулы, которые должны действовать через механизм советской торговли. Все эти идеи не могли не встретить поддержки в определенных кругах партии. Зная об этом, чувствуя, что идеи Бухарина воспринимаются всерьез, к ним прислушивается какая-то часть ЦК, Сталин счел

необходимым обратиться к членам Политбюро со специальными замечаниями, по сути дела, голословно перечеркивавшими основные мысли Бухарина⁵⁶. Здесь и явная полемика с ним как с оппонентом, и в то же время боязнь сделать эту полемику гласной.

На первый взгляд кажется, что вновь возникший спор носил сугубо теоретический, даже терминологический характер. Изменение производственных отношений в деревне Бухарин определял как результат проведенной пролетарской диктатурой гигантской аграрной революции с экспроприацией средств производства у кулаков. Сталин на это отвечал, что «нельзя сводить политику коллективизации к понятию аграрной революции», и стремился, вероятно, подчеркнуть выгоды (действительные и мнимые) политики насильственной коллективизации по сравнению с любым другим вариантом аграрной политики в отношении крестьянства⁵⁷. Бухарин писал о решении проблемы новых основных фондов (новых средств производства) как центральном затруднении при построении социалистической экономики. Сталин же выступал против сведения индустриализации к созданию фондов вообще, так как «такое сведение затушевывает разницу между фондами тяжелой индустрии... и фондами других отраслей народного хозяйства, не являющихся ни ведущими, ни реорганизуемыми для нашей политики»⁵⁸. Резкую отповедь вызвала констатация в статье Бухарина того, что у нас «процент **накопленной** части народного дохода оказался крайне высок (и оттого так велико «напряжение»), **перераспределение** производительных сил частично шло за счет других отраслей (в том числе и сельского хозяйства)». Сталин посчитал, что «нельзя делать даже отдаленного намека» на это, поскольку «это не соответствует действительности, отдает клеветой и опорочивает политику партии»⁵⁹.

Не затрагивая содержавшихся в статье конструктивных идей, Сталин увидел в ней лишь попытку доказать, что, если бы группе Бухарина дали возможность, она пришла бы к цели с меньшими жертвами. За замечаниями Сталина, таким образом, стояли не просто расхождения в терминологии, а разница в оценке самой ситуации. Полемика шла все о том же: удастся ли нормализовать обстановку в стране, или же неумение владеть ситуацией будет вновь компенсироваться насилием, «чрезвычайщиной».

После убийства Кирова над Бухариным, как и над

многими другими бывшими оппозиционерами, нависает «дамоклов меч». Однако многие члены ЦК колеблются в вопросе о восстановлении «чрезвычайщины», и вокруг фигуры Бухарина разворачивается определенная политическая борьба. Он как бы становится символом умеренного направления, глухого, скрытого сопротивления сталинизму.

Бухарина стараются сохранить и в Центральном Комитете, и в партии. Не потому, что Бухарин мог быть какой-то альтернативной фигурой в политическом руководстве, а потому, что бухаринские идеи — это альтернатива «чрезвычайщине».

Не случайно февральско-мартовский (1937 г.) Пленум ЦК ВКП(б), который должен был призвать к выявлению двурушников, вредителей, троцкистов в руководящей среде (уничтожение партийных кадров в широких масштабах начинается именно после этого Пленума), открылся рассмотрением «дела» Бухарина и Рыкова. Драматизм ситуации состоял еще и в том, что Бухарин и Рыков вели борьбу в одиночку, каждый за себя. В одиночку они обращались с различными заявлениями и письмами к членам ЦК. В одиночку вел голодовку протеста против чудовищных обвинений Бухарин.

В докладе Ежова на Пленуме 23 февраля прозвучало главное обвинение в адрес Бухарина и Рыкова. Они якобы не только знали о существовании подпольного антисоветского троцкистско-зиновьевского блока и подпольного антисоветского троцкистского параллельного центра (в настоящее время доказано, что дела эти были сфабрикованы), не только были осведомлены об «изменнической платформе» этих организаций, преследовавших цель реставрации капитализма при помощи иностранных фашистских интервентов, но и стояли на тех же позициях, тесно контактировали с этими организациями. В числе множества других обвинений фигурировали: организация сети подпольных групп на местах, стремление Бухарина в 1930—1931 гг. организовать крестьянское восстание и создать автономию — Сибирское государство, которое бы давило на сталинский режим, составление по инициативе Бухарина и Рыкова «рютинской платформы», одним из пунктов которой было уничтожение Сталина, свержение Советского правительства путем вооруженного восстания⁶⁰.

На все обвинения Бухарин ответил, что в них нет «ни единого слова правды», что в одну кучу свалено «все что

угодно, все мыслимое и немыслимое»⁶¹. Аргументированно доказав несостоятельность обвинений, подробно остановившись на противоречивости показаний различных свидетелей, Бухарин закончил свою речь словами: «Я говорю здесь правду, но никто меня не заставит говорить на себя чудовищные вещи, которые обо мне говорят, и никто от меня этого не добьется ни при каких условиях. Какими бы эпитетами меня ни называли, я изображать из себя вредителя, изображать из себя террориста, изображать из себя изменника, изображать из себя предателя социалистической родины не буду»⁶².

На следующий день, 24 февраля, Бухарин взял слово для заявления, в котором принес Пленуму ЦК свои извинения «за необдуманый и политически вредный акт объявления... голодовки... очень крупную политическую ошибку, которая отчасти может быть смягчена тем, что... находился в исключительно болезненном состоянии»⁶³. 26 февраля Бухарину было предоставлено последнее слово, в котором он снова твердо отвел все обвинения. «И не потому,— сказал Бухарин,— что это имеет только личное значение, но и потому, что я считаю, что нельзя ни при каких условиях брать на себя что-то лишнее, в особенности тогда, когда это не нужно партии, не нужно стране, не нужно лично мне»⁶⁴. Различного рода нападки на него членов ЦК Бухарин охарактеризовал как личный момент борьбы, как стремление судить о его деятельности «не с точки зрения партийной истории, но главным образом с точки зрения текущего момента»⁶⁵. На протяжении всего выступления Бухарина, полного трагических нот, его постоянно прерывали репликами, смешками. По сути дела, ему не дали договорить свою речь до конца, прервав возгласом: «В тюрьму пора!» — «Хорошо, сажайте,— ответил Бухарин.— Вы думаете, оттого, что вы кричите — посадить в тюрьму,— я буду говорить по-другому? Не буду говорить»⁶⁶.

Комиссия под председательством Микояна, созданная на Пленуме для выработки проекта постановления по «делу тт. Бухарина и Рыкова», приступила к работе в условиях, когда, казалось бы, вопрос был ясен. Однако даже теперь Сталину пришлось прибегнуть к политическому маневру. Это подтверждает факт обсуждения заключительной формулировки резолюции. Вариант Ежова — исключить Бухарина и Рыкова из состава кандидатов ЦК ВКП(б) и членов ВКП(б) и предать их суду Военного трибунала с применением высшей меры нака-

зания — расстрела — первоначально поддержали Буденный, Мануильский, Шверник, Косарев, Якир⁶⁷. Предложение Постышева — предать суду без применения расстрела — поддержали Шкирятов, Антипов, Хрущев, Николаева, Косиор, Петровский, Литвинов⁶⁸. И неизвестно еще, как бы развивались события, если бы Сталин не предложил ловкий и тонкий ход: «Суду не предавать, а направить дело Бухарина — Рыкова в НКВД», якобы для дополнительного расследования. Данный вариант поддержали сначала Ульянова, Крупская, Варейкис, Молотов, Ворошилов, а затем и все остальные члены комиссии⁶⁹. Об этом едином мнении сообщил Сталин 27 февраля 1937 г. участникам Пленума. Пленум единогласно проголосовал за это решение при двух воздержавшихся — Бухарине и Рыкове⁷⁰.

Последним актом драмы Бухарина был судебный процесс по делу «антисоветского правотроцкистского блока», начавшийся 2 марта 1938 г. Его материалы были изданы и доступны для читателя. Хотелось бы обратить внимание, что некоторые западные исследователи, например американский ученый С. Коэн, прочитывают в мужественной защите Бухарина «ошеломительный набор двусмысленностей, уверток, кодированных слов, завуалированных намеков, логических хитросплетений и упорных опровержений», не оставляющих «и камня на камне... от обвинений истинного прокурора — Сталина»⁷¹. Приговорив Бухарина к расстрелу, члены Военной коллегии Верховного суда СССР вряд ли думали о том, что через полвека они сами (и те, кто стоял за ними) окажутся перед нравственным судом потомков, а политическая биография Бухарина станет одним из элементов духовного опыта нынешних поколений коммунистов.

Чему же учит нас яркая и трагическая жизненная судьба Бухарина? Одним из таких уроков является выход Бухарина на проблемы теоретического предвидения, теоретического анализа кризисных ситуаций в развитии общества, культуры их решения. В этом отношении Бухарин в отличие от Сталина пошел очень далеко. Он не только сумел под влиянием логики жизни изменить свою точку зрения на поворот 1929 г., но и попытался дать теоретическую оценку этого поворота, сформулировать концепцию дальнейшего движения. К сожалению, с конца 20-х годов он был лишен возможности влиять на практическую политику, эта его теоретическая работа не была должным образом учтена в политической практике

30-х годов. Фактически только сейчас мы возвращаемся к поставленным Бухариным вопросам. То, что в свое время партия не проделала критического анализа «революции сверху», привело к переносу отрицательных сторон политики Сталина на все 30-е годы. И это тогда, когда надо было думать о других, более мягких, гибких, тонких методах управления обществом, о нормализации общественной жизни страны.

Во времена Сталина Бухарину инкриминировали сползание на путь фракционной борьбы, создание оппозиции. Теперь мы видим, что он этого как раз не делал, наоборот, максимально сдерживал и себя, и своих единомышленников. Однако в результате ухода от борьбы, попыток удержать разногласия в рамках Политбюро без апелляции к партии, партийной массе, вероятно, была упущена последняя возможность сохранить принципы коллективного руководства, завещанные Лениным. За проблемой ухода от борьбы стоит и вопрос о принципиальности в политике. В 1929 г. Бухарин понимал, что целый ряд его идей не работает, что свою позицию надо менять под влиянием логики жизни, а не под давлением противостоящих политических сил. Сознавая это, он продвигался в сторону позиции большинства ЦК практически по всем основным вопросам. Его принципиальность в политике выразилась в том, что он твердо стоял на ленинском понимании главного вопроса, из которого в конечном счете выросла трагедия 30-х годов, — вопроса о «чрезвычайщине». Здесь он был непреклонен. Готовность к балансу интересов, согласование позиций, стремление удержаться у власти не перешли у Бухарина через порог собственных принципов. В этом отношении он пошел до конца, невзирая на то, чем лично ему это могло грозить.

Сильная сторона Бухарина как политического деятеля — стремление к конструктивности, готовность к постоянному обновлению своего теоретического арсенала, незакрепощенность мышления. Несмотря на поражение, он продолжал осмысливать жизненные противоречия, старался не поддаваться политиканству. Хотя в его речах и слышатся отголоски ставших уже дежурными восхвалений Сталина, главное в них — другое: отстаивание идей нормализации общественной жизни и установления законности в обществе, гуманистический критерий оценки действительности, ориентация на хозрасчет. Бухарин до конца искал возможность тесно взаимодействовать с большинством членов ЦК на конструктивной основе, в

доступных ему формах работать на благо партии и народа. Именно это стало основанием того, что к его позициям в партии, в ЦК прислушивались. На некоторых решениях первой половины 30-х годов — явный отпечаток бухаринских идей.

В то же время для позиции Бухарина была характерна своеобразная теоретическая нетерпеливость. Он слишком быстро выплескивал результаты своих разработок, часто недодумывая их до конца. С трудом ему давался диалектический анализ, выход за рамки утвердившейся системы представлений, оценок и программ, как это было с «классическим» нэпом, выработкой политических решений в 1925 г. Но если уж он переосмысливал свои прежние позиции, то делал это принципиально и по-настоящему глубоко.

Бухарин был одним из тех партийных руководителей конца 20 — начала 30-х годов, для кого понятие морали, понятие законности заключали в себе не прагматический, а глубокий человеческий смысл. Именно эта его позиция и стала политическим противовесом сталинской «чрезвычайщине». В 1929 г. Бухарин отстаивал не только свои взгляды, он отстаивал и право коллективных органов партии на критику и анализ всех сторон социальной действительности, без «мертвых зон» и «фигур умолчания». Он понимал: если вина за переживаемые трудности возлагается на людей, находящихся вне партии, — классовых врагов, вредителей, несознательных, либо на оппозицию в самой партии, если субъективные ошибки власти полностью списываются на классовую борьбу, то такое частичное, половинчатое указание на причины ошибок и трудностей не позволит извлечь из них уроки, внести необходимые коррективы в политику, а половинчатость признаний приведет к опасной непоследовательности решений.

Бухарин, со всеми его достоинствами и недостатками, бесспорными заслугами и серьезными ошибками, принадлежит истории нашей партии и нашего государства. Его теоретическое наследие охватывает широчайший круг проблем. Оно требует переосмысления в свете опыта, накопленного партией в последние десятилетия. Это позволит включить все действительно ценное, выдержавшее испытание временем, в наш научный и политический арсенал.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См.: XIV конференция РКП(б): Стенографический отчет. М., 1925. С. 188.

² См.: Правда. 1930. 19 февр.

³ См.: XIV съезд Всесоюзной Коммунистической партии (больше-
виков): Стенографический отчет. М.; Л., 1926. С. 245—275, 322—337.

⁴ См.: *Курилов И., Михайлов Н.* Как начинался «великий пере-
лом». О сибирской поездке И. В. Сталина в 1928 году: неизвестные
документы // Сельская жизнь. 1990. 3 окт.

⁵ ЦПА ИМЛ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 417. Л. 102.

⁶ См.: *Сталин И. В.* Соч. Т. 11. С. 5.

⁷ Цит. по: *Бухарин Н. И.* Проблемы теории и практики социа-
лизма. С. 298.

⁸ Там же. С. 298—299.

⁹ Там же. С. 299.

¹⁰ *Сталин И. В.* Соч. Т. 11. С. 159.

¹¹ ЦПА ИМЛ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 726. Л. 87—88, 91.

¹² Там же. Д. 417. Л. 81—82.

¹³ Там же. Д. 726. Л. 78.

¹⁴ Там же.

¹⁵ Там же.

¹⁶ Там же.

¹⁷ Там же.

¹⁸ См.: *Бухарин Н. И.* Избранные произведения. С. 391—418.

¹⁹ ЦПА ИМЛ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 726. Л. 79.

²⁰ Там же.

²¹ Там же.

²² Там же. Л. 80.

²³ Там же. Л. 86, 94—95.

²⁴ Там же. Л. 80.

²⁵ Там же. Л. 80—81.

²⁶ Там же. Л. 80.

²⁷ Там же. Л. 82.

²⁸ Там же. Л. 85.

²⁹ Там же. Л. 77—78.

³⁰ Там же. Л. 87.

³¹ Там же. Л. 88.

³² Там же. Л. 90.

³³ Там же. Л. 91.

³⁴ См. там же. Л. 99.

³⁵ Там же. Л. 86.

³⁶ Там же. Л. 95.

³⁷ Там же. Д. 417. Л. 35.

³⁸ Цит. по: *Бухарин Н. И.* Проблемы теории и практики социа-
лизма. С. 253.

³⁹ См. там же. С. 263.

⁴⁰ Там же. С. 276.

⁴¹ См. там же. С. 278—279, 282.

⁴² Там же. С. 289.

⁴³ См. там же. С. 287—301.

⁴⁴ ЦПА ИМЛ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 417. Л. 57—58.

⁴⁵ Там же. Л. 103—104.

⁴⁶ См.: КПСС в резолюциях... Т. 4. С. 431—436, 449—469.

⁴⁷ Цит. по: Документы свидетельствуют... С. 278.

⁴⁸ ЦПА ИМЛ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 441. Вып. 1. Л. 124.

- ⁴⁹ См.: Документы свидетельствуют... С. 276—277, 279.
- ⁵⁰ ЦПА ИМЛ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 514. Вып. 2. Л. 69.
- ⁵¹ *Benvenuti F.* «Rivoluzione dall'alto» e «Grande ritirata» nel primo stalinismo (1928—1941). L'Età dello stalinismo. Roma, 1991.
- ⁵² ЦПА ИМЛ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 514. Вып. 1.
- ⁵³ Там же. Л. 78.
- ⁵⁴ Там же.
- ⁵⁵ Там же. Вып. 2. Л. 65.
- ⁵⁶ Там же. Д. 583. Ч. 1. Л. 100.
- ⁵⁷ Там же. Л. 101.
- ⁵⁸ Там же. Л. 98—99.
- ⁵⁹ Там же.
- ⁶⁰ ЦПА ИМЛ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 579. Л. 1а—2, 15, 27, 54.
- ⁶¹ Там же. Д. 578. Л. 28, 31.
- ⁶² Там же. Л. 52.
- ⁶³ ЦПА ИМЛ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 581. Л. 2.
- ⁶⁴ Там же. Д. 584. Л. 153.
- ⁶⁵ Там же. Л. 124.
- ⁶⁶ Там же. Л. 155.
- ⁶⁷ Там же. Д. 577. Л. 30—31. См. также: Известия ЦК КПСС. 1989. № 5. С. 79—83.
- ⁶⁸ Там же.
- ⁶⁹ Там же. Л. 32.
- ⁷⁰ Там же. Л. 2.
- ⁷¹ См.: Коэн С. Указ. соч. С. 446.

ПОЗДНИЙ БУХАРИН: ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СОЦИАЛИЗМЕ *

В новейшей литературе крайне редко встречается обращение к позднему периоду жизни и деятельности Н. И. Бухарина. Многие историки склонны считать, что в 30-е годы Николай Иванович был человеком сломленным, пытался всячески угодить Сталину. В то же время есть исследователи, которые готовы принять тему позднего Бухарина лишь при условии особого прочтения бухаринских текстов, то есть при видении в них как бы «второго плана», выделения мыслей, выраженных эзоповым языком. Такой подход интересен. Во всяком случае, он не ведет к прекращению изучения Бухарина 30-х годов под предлогом того, что в это время он внес свой «кирпичик» в здание культа личности Сталина. Однако у нас пока отсутствует культура такого анализа, достаточно тонкого, предполагающего детальное знание

* Опубликовано: Бухарин: человек, политик, ученый. М., 1990. В основу положен доклад на Всесоюзной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Н. И. Бухарина, в ИМЛ при ЦК КПСС (сентябрь 1988 г.). Печатается с сокращениями.

реалий 30-х годов. Есть сомнения и в том, всегда ли этот инструмент анализа точен. Думается, что на данном этапе изучения наследия Бухарина наиболее точное прочтение не только текстов, но и всего многосложного, противоречивого контекста его работ возможно прежде всего тогда, когда мы будем знать конкретную реакцию оппонентов и противников на то или иное бухаринское выступление. По крайней мере, мы можем с полной достоверностью считать такие случаи проявлением скрытой полемики. Ну а главное все же в том — ключ к позднему Бухарину дает и сам Бухарин.

В трагические дни декабря 1936 — января и февраля 1937 г., когда над ним нависло, по его словам, «совершенно сумасшедшее подозрение», когда выше «беспокойства о своей персоне, беспокойства относительно условий своей жизни или смерти» стало беспокойство «за свою политическую честь», когда Бухарин принимает решение «драться за свою честь до тех пор, пока существует»¹, он ретроспективно обращается к двум периодам своей деятельности и жизни в 30-е годы. Первым из них он называет период 1930—1932 гг. Бухарин характеризует эти три труднейших года как время внутреннего психологического переворота, когда он испытывал даже озлобленность по отношению к партийному руководству². (Кстати сказать, Николай Иванович имел более чем достаточно оснований для такого «озлобления».) Просматривается ли это непростое состояние в работах Бухарина именно периода 1930—1932 гг.? Да, просматривается. Чтобы убедиться в этом, надо обратиться к сборнику его статей «Этюды», изданному в 1932 г., и внимательно прочесть, к примеру, работы о великих немецких поэтах Гете и Гейне.

Бухарин берет жизнь Гете на сломе — после Великой французской революции, которая, начавшись под лозунгом свободы, равенства, братства, продолжалась под знаком террора и утверждения личной диктатуры Бонапарта. Проблема, с которой столкнулся Гете, по сути дела, представляет собой драму человека, который должен примирить между собой революционные ожидания и революционные результаты. Ведь и Бухарин вряд ли мог принять, хотя бы по моральным соображениям, ту цену, которую заплатило общество за сталинскую «революцию сверху» на рубеже 30-х годов. Скорее всего эта цена представлялась ему непомерно высокой. Однако впечатляли результаты. И здесь главная психологическая и

одновременно теоретическая проблема, которую решает для себя Бухарин в 1930—1932 гг., как психологически и теоретически примирить эти вещи: цену и результат.

Какой же выбор был у Бухарина? Один возможный вариант уже «проиграл» Троцкий, и в смысле игры, и в смысле проигрыша. Логика борьбы и нежелание менять свою точку зрения, даже если она расходилась с реальностью, привели его в эмиграцию. Другой путь — постараться найти себе место в новой, измененной действительности. Бухарин выбрал его, понимая, какую цену придется за это заплатить. Не случайно в статье о Гете он не принимает полностью слов Гейне о том, что Гете всегда носил свою голову «гордо и высоко», что, «когда он говорил, он словно рос, а когда он простирали руку, то казалось, будто он может указывать звездам их пути на небе»³. Увы, писал Бухарин, «последний романтик» ошибался и грешил против исторической правды, «гордый стан» Гете сгибался не раз, и «божественный рот строил тоже не раз лицемерные почтительные улыбки перед князьями мира сего»⁴. Но Бухарин искренне верил, что мировая история, рождающееся новое общество и его герой — организованный пролетариат возьмут с собой в будущее имя Гете, зарыв в могилу его министерские мундиры, его компромиссы, его падения. И Бухарин формулирует свой выбор гетевскими словами:

Лишь тот свободной жизни властелин,
Кто дни свои в борьбе проводит трудной⁵.

Формой такой борьбы для Бухарина стала не лобовая атака. Он прекрасно видел всю бесперспективность такого пути на примере Троцкого. Зажатый в тисках избранного компромисса, Бухарин начинает мучительный поиск путей развития советского общества в том виде, в каком оно сложилось после «революции сверху». Можно считать, что бухаринские «Этюды» — это его психологический поиск, стремление сохранить себя как личность. Статьи «Великая реконструкция», посвященная анализу текущего периода пролетарской революции и опубликованная в «Правде» 19 февраля 1930 г., «Борьба двух миров и задачи науки» (1931 г.) и другие — это начало поиска теоретического ответа на вопрос, как жить дальше и обществу, и лично ему, Бухарину.

В этих работах, если говорить очень сжато, смиряясь с поворотом 1929 г. как уже свершившимся историческим

фактом, Бухарин в то же время указывает на такие его черты, которые не могли не отразиться пагубно на дальнейшем развитии страны. Советское общество вошло в новую фазу социалистического строительства «через ворота чрезвычайных мер». Эта ситуация, отмечал Бухарин, не была во всей конкретности предвидена и взята на теоретический учет заранее. Бухарин предостерегал, что насильственная ломка старых отношений не только несет значительные издержки, но и имеет как следствие неизбежную при всяком разрушительном процессе тенденцию к падению производительных сил⁶. Несмотря на то что статья Бухарина «Великая реконструкция» была тщательно отредактирована Сталиным, введение ее в научный оборот придает осмыслению всего процесса истории партии рубежа 20—30-х годов иной ракурс. Вместе с тем эта статья отражает и характерное для обществоведов того времени в целом стремление к реанимации донэповских представлений о социализме, в котором господствует прямой продуктообмен, жестко централизованная система управления и т. д. В этом мы видим бессознательную теоретическую уступку Бухарина возобладавшему тогда упрощенным представлениям о социализме как о бестоварном, жестко централизованном обществе. Эти представления выводят нас на принципиально важную теоретическую проблему. Вероятно, сущностной чертой нэпа можно считать существование рыночных отношений. Но тогда совершенно непонятно, каким образом теоретики 20—30-х годов представляли себе переход от нэпа к социализму. Ведь для них «бестоварный социализм», во всяком случае каким он предстает со страниц многих теоретических работ, фактически рано или поздно должен был стать полным отрицанием нэпа.

В самом деле, довольно трудно примирить это рассогласование идеальной модели будущего социализма и путей его достижения. Поэтому нэп и потребовал в свое время изменения «всей точки зрения нашей на социализм»⁷. Бухарин в 20-е годы продолжил работу, начатую Лениным в этом направлении. Практика 1929—1930 гг. на какое-то время прервала эти теоретические изыскания, способствовала определенному возрождению даже у Бухарина утопических, донэповских представлений о социализме. Однако соотнесение этих представлений с реальностями социально-экономической политики не могло не вызывать у Бухарина своеобразного теоретического дискомфорта. Не случайно в 1936—1937 гг. он при-

знался, что в 1930—1932 гг. для него еще не совсем теоретически ясно было, какое место в новой ситуации, в новой складывавшейся хозяйственной системе займет проблема стимулов в сельском хозяйстве. «Огромное значение лично для меня,— писал Бухарин, возвращаясь к своим теоретическим поискам начала 30-х годов,— имело законодательство о советской торговле, ибо тогда мне все стало абсолютно ясно... Партруководство доказало свою большую маневроспособность (в хорошем смысле практической диалектики)»⁸.

Для того чтобы понять, почему решения по, казалось бы, частному вопросу о советской торговле имели огромное значение для теоретических поисков Бухарина, необходимо обратиться не только к самим этим решениям, но и к тому политическому контексту, в котором эти решения принимались. Ситуация, которая сложилась после сталинской «революции сверху», напомнила Бухарину его давнее предостережение о том, что если пролетариат попытается взять на себя слишком много в плане прямого регулирования различных форм производства, что, собственно, и случилось, когда пролетарское государство фактически прибегло к их тотальному «огосударствлению», то он окажется в положении, когда ему надо отступить. В противном случае произойдет «понижение производительных сил и упадок экономической жизни вообще», возникнет колоссальный административный аппарат для выполнения экономических функций мелких производителей, расходы по содержанию которого будут в конечном итоге «несравненно значительнее издержек, являющихся следствием анархического состояния мелкого производства»⁹. И вот возможность такого рода отступления, очевидно, и увидел Бухарин в решениях о советской торговле.

Вопрос о советской торговле специально обсуждался на Пленуме ЦК ВКП(б) в сентябре—октябре 1932 г. Каковы были мотивы тех, кто выступал за изменения в хозяйственной политике партии? Прежде всего, речи многих участников Пленума были проникнуты пафосом преодоления левацкого перепрыгивания к прямому продуктообмену. Бухарин с его особо заинтересованным отношением к рынку как форме связи между промышленностью, сельским хозяйством, естественно, не мог не обратить внимание на эти новые акценты в выступлениях членов ЦК. Он не мог не заметить заявлений о том, что «производственная смычка не отрицает торговлю», что

«без овладения процессом обращения невозможно построить социализм», что «чистого социализма», без того, чтобы включить в экономическую жизнь другие уклады и другие, не только государственные, формы хозяйствования, нам построить не удастся, а сама ориентация на это не может быть не чем иным, как утопией¹⁰. Не случайно на Пленуме прозвучали мысли о недооценке кооперативной системы, в которой нарушена выборность и отчетность. Фиксировался факт, что лишь пятая часть колхозов посылает продукцию на рынок (отсюда — и высокие цены). Рождалась идея и создания кооперативных подсобных хозяйств заводов, в которых рабочие были бы пайщиками¹¹. И хотя варианты реализации высказанных предложений в основном рассматриваются в бюрократическом ключе, в плане создания организаций, которые бы специально занимались проблемами регулирования рынка, само понимание участниками Пленума необходимости такого регулирования отражало отрезвление партийного руководства после попытки непосредственного скачка в царство прямого продуктообмена и утверждения на слабой материальной базе чуть ли не коммунистических производственных отношений.

В январе 1933 г. обсуждение этих вопросов было продолжено на очередном Объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б), когда Сталин уже сказал о том, что производственная смычка должна быть дополнена товарной через торговлю. Он в то же время оговаривался: «Это не возврат к нэпу»¹². Однако среди участников Пленума были и другие точки зрения. Например, Молотов говорил, что «поскольку есть товар и деньги, постольку нэп продолжает существовать»¹³. Это нельзя не признать разумным. А главное, что такого рода мысли не могли не стимулировать теоретические поиски Бухарина, потому что он видел, что тот задел, который он наработал в 20-е годы, становится необходимым для выработки новых форм взаимоотношений между городом и деревней в рамках уже полученного результата после сталинской «революции сверху». Естественно, Бухарин понимал, что рынок, который может возникнуть в этих условиях, будет коренным образом отличаться от старого рынка. В бухаринском наследии мы не находим постановки вопроса о социалистическом рынке, и поэтому вряд ли его можно считать родоначальником идеи рыночного социализма. Само понимание коренного отличия нового рынка от старого у Бухарина идет по пути фиксации чисто

внешних различий. Сущностные же различия в это время им не формулируются. Проблема рынка в начале 30-х годов все время замыкается на взаимоотношениях между промышленностью и сельским хозяйством, то есть между двумя возникшими формами общественной собственности, в то время как внутри, допустим, государственной собственности, во взаимоотношениях между предприятиями вопрос об использовании рыночных отношений не ставится. Здесь мы имеем дело с неполными, неразвернутыми идеями. Однако само направление поиска было достаточно конструктивно. Оно шло в духе старой традиции, когда главная проблема заключалась именно в проблеме «смычки» города и деревни, но, после того как отношения в деревне были преобразованы, эта проблема приобрела несколько другой оттенок и окраску.

В новых формах торговли и в рыночной «смычке» промышленности и сельского хозяйства Бухарин видел новую фазу социалистического строительства. Вместе с тем, подчеркнем еще раз, считать, что Бухарин был основателем рыночного социализма, у нас нет достаточных аргументов по той причине, что сам рынок он рассматривал как своего рода пережиточную форму, хотя этот рынок в начале 30-х годов трансформировался. В 1934 г. Бухарин писал следующее: «Рынок эпохи «классического» нэпа имел своей самой глубокой основой мелкое индивидуальное крестьянское хозяйство, раздробленный труд, крестьянский «двор»... Рост индустрии и переход к колхозно-совхозному типу хозяйства не могли не повлиять на всю сферу обращения, вызвав к жизни и новый тип торговли, «советской торговли», без спекулянта и перекупщика. Этот процесс не мог уничтожить рынка и денег, как категории рынка, не только потому, что остались еще «дробь» единоличного сектора и индивидуальное хозяйство колхозников, чем ни в коем случае нельзя пренебрегать, но и потому, что взаимосвязь между всеми частями сельского хозяйства и промышленности не достигла еще соответствующих степеней плотности и интенсивности. Но он изменил в корне значение рынка, ибо превратил его в огромной степени в соотношение организованных государственных, полугосударственных и кооперативных единиц, за которыми стоит единая организующая централизованная воля... Проблема расширения товарооборота... это отнюдь не развязывание анархического прежнего рынка, а создание материальной базы

для распределения возросших масс продукции, правильного регулирования ее потоков с использованием рыночной формы, в том числе и в массово-розничных звеньях советской торговли, с продажей по ценам, регулируемым организованными силами пролетарской диктатуры. Таким образом, и здесь мы имеем совершенно новые качества процессов, которые очень ясно говорят нам о том, как далеко мы уже продвинулись по пути к бесклассовому социалистическому обществу»¹⁴.

Итак, в 1933 г. Бухарин делает шаг навстречу партийному руководству. Однако вряд ли можно считать, что этот шаг дался ему легко. Об этом свидетельствует его письмо к Г. К. Орджоникидзе, в котором есть такие слова: «Все меня дразнят тем, что было 5—6 лет тому назад. Но ведь я уже сколько лет тому назад стал на работе в общие ряды. Почему же именно **теперь** нужно начинать все сызнова? Мне уже 45 лет. Я должен определить себе какой-то жизненный путь дальше так, чтобы от этого была **польза для дела**. Помогите мне в этом, Серго... Общие задачи гигантски сложны и будут еще сложнее. Но быть может, все же можно для дела дать мне возможность **по-настоящему работать**, запретив ставить палки в колеса, и ликвидировать игру на том, что было 5 лет тому назад»¹⁵. Свою жизнь начиная с 1933 г. Бухарин характеризует как «период дружнейшей и безоглядной работы с партией... В этот период у меня не было уже ни малейших признаков двойственности в отношении к партии и партийному руководству»¹⁶. Бухарин ориентируется на маневроспособность ЦК, на признание многими его членами невозможности и дальше продолжать «бешеные темпы». Один из мотивов своего поворота навстречу руководству он объяснял осознанием того, к чему и куда идут все мировые события, какое значение имеет «крепость и централизованность нашей диктатуры»¹⁷. Немаловажную роль играют личные контакты Бухарина с Кировым, который как-то признался, что по отношению к Бухарину «у него нет в сердце шипов»¹⁸. Теплая переписка устанавливается у Николая Ивановича с Серго Орджоникидзе.

Весьма непросто складываются его отношения со Сталиным. Порой Бухарин склонен был даже считать, что, если бы Сталина «не науськивали против него», их взаимоотношения, возможно, были бы другими¹⁹. Но значит ли это, что между Бухариным и Сталиным нет принципиальных разногласий? Нет, не значит. Они могли про-

рывать иногда в виде формулировок при подготовке важнейших государственных документов, например при подготовке Конституции СССР 1936 г. Бухарин предлагает следующую формулировку роли Коммунистической партии в советском обществе: «...являющуюся передовым отрядом трудящихся в их борьбе за победу коммунизма, руководящей силой всех организаций трудящихся в СССР». Сталин же добавляет: «...стоящую у власти в СССР и представляющую основную руководящую силу...»²⁰ Такое дополнение представляет собой другой взгляд на существо политического строя при социализме, предполагающего, что у власти стоят рабочие и крестьяне. Разница подходов к социализму просматривается и в такой, вроде бы частной формулировке, как право на социальное страхование. Бухарин предлагает распространить его на всех граждан СССР, Сталин же уточняет: «рабочих и служащих», исключая крестьян²¹. Бухарин не допускает права политического убежища иностранным гражданам, «проповедующим или применяющим индивидуальный террор». Однако Сталин снимает это дополнение, демонстрируя тем самым свой специфический взгляд на методы борьбы²². В наметившейся тенденции к удовлетворению растущих потребностей масс, к материальному стимулированию Бухарин, в отличие от Сталина, отнюдь не видит понижение производительных сил страны. Наоборот, быстрый скачок в уровне массового потребления, по его мнению, даст огромный производственный эффект. Именно в этой тенденции, а также в уничтожении паразитического потребления, массовом применении науки, росте культуры, раскрепощении рабочей силы и развязывании творческой энергии трудящихся видел Бухарин линию повышения производительности труда. А рост производительности труда он считал последним и самым глубоким критерием «высоты» общественного строя²³.

В своих последних работах через деформации и искажения, которые повлекла за собой сталинская «революция сверху», Бухарин мучительно пробивался к тем проблемам социализма, над которыми мы не менее мучительно размышляем сегодня. Думается, что главным стимулом этого трагически оборвавшегося поиска стало органически присущее Бухарину представление о социализме как реальном гуманизме. Не случайно он считал важнейшим моментом истории **«историческое изменение самого человека»**²⁴.

- ¹ ЦПА ИМЛ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 574. Л. 10—11, 25.
- ² Там же. Д. 773. Л. 229—230.
- ³ Бухарин Н. И. Этюды. М.; Л., 1932. С. 151.
- ⁴ Там же.
- ⁵ Там же. С. 176.
- ⁶ Правда. 1930. 19 февр.
- ⁷ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 376.
- ⁸ ЦПА ИМЛ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 773. Л. 230.
- ⁹ Бюллетень IV Конгресса Коммунистического Интернационала. № 14—15. Москва, 23 ноября 1922 г. С. 10.
- ¹⁰ ЦПА ИМЛ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 500. Л. 5—7, 10.
- ¹¹ Там же. Л. 10, 14, 19, 23.
- ¹² См.: Сталин И. В. Соч. Т. 13. С. 202—203.
- ¹³ ЦПА ИМЛ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 514. Вып. 1. Л. 25.
- ¹⁴ Известия. 1934. 12 мая.
- ¹⁵ См.: Вопросы истории КПСС. 1988. № 11. С. 48—49.
- ¹⁶ ЦПА ИМЛ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 773. Л. 231.
- ¹⁷ Там же. Д. 574. Л. 23.
- ¹⁸ Там же. Ф. 85. Оп. 1 с. Д. 172. Л. 5.
- ¹⁹ Там же. Оп. 1. Д. 172. Л. 33.
- ²⁰ Там же. Ф. 558. Оп. 1. Д. 3275. Л. 57.
- ²¹ Там же. Л. 55.
- ²² Там же. Л. 60.
- ²³ См.: Известия. 1934. 12 мая.
- ²⁴ Известия. 1936. 6 июля.

Взгляд из сегодня:

О КАКИХ АЛЬТЕРНАТИВАХ ШЕЛ СПОР В 1988 ГОДУ?

Бухаринский бум в публицистике, дискуссии о смысле и значении поворота 1929 г. пока, на наш взгляд, не дали убедительных научных результатов. Они лишь обозначили различные точки зрения. По мнению японского советолога Н. Шиокавы, в нашей перестроечной литературе существуют сегодня две основные школы — школа «неизбежности» и «альтернативная» школа. Причем сторонниками неизбежности утверждения сталинизма Н. Шиокава считает представителей очень разных лагерей, от демократов Б. Курашвили, И. Клямкина до сторонников так называемого патриотического направления типа В. Кожина. Японский советолог выделяет также промежуточное направление между двумя школами. К нему он относит М. Гефтера, Л. Гордона, Э. Клопова и авторов этой книги¹. Примерно такой же точки зрения придерживаются и в западной социологии, где также об-

суждаются проблемы неизбежности или альтернативности в истории. Таким образом, дискуссии имеют один и тот же предмет в Советском Союзе, на Западе и в Японии. В отличие от многих других случаев, когда дискуссии, идущие в советской науке, можно объяснить прямыми заимствованиями из зарубежной советологии, в данном конкретном случае речь, очевидно, идет о фундаментальных проблемах самого исторического знания, на которые в значительной степени независимо от западных влияний вышли и советские историки в последнее время.

Впереди диалог концепций, взаимный критический разбор позиций и аргументов. Будет весьма огорчительно, если участники начавшейся вчера дискуссии сегодня поведут себя подобно Одиссею, который залепил уши воском, дабы не слышать голоса сирен-оппонентов. В обществе, раздираемом политическими страстями, договориться всегда бывает довольно непросто. Особенно если в ходе дискуссии высказываются оценки, которые отнюдь не располагают к конструктивному диалогу, а скорее способны вызвать обиду. Тем более если на чашу весов научной дискуссии летят тяжелые политические гири.

«Согласиться с утверждением об отсутствии альтернативы сталинской политике — это значит признать неизбежным массовые жертвы этой политики, признать, что без них нельзя было построить социализм. На XV съезде партии в декабре 1927 года нарком торговли А. Микоян, говоря о росте потребления после перехода к нэпу, заявил: «Незачем было делать Октябрьскую революцию, если после 10 лет революции питаться хуже, чем до войны». Тем более правомерно поставить вопрос о целесообразности революции, если считать неизбежной гибель миллионов невинных людей спустя более 10 лет после нее. Вот о чем идет спор. Вот почему нельзя согласиться с основанными на ошибочных посылах утверждениями об отсутствии альтернативы сталинской политике».

(Ю. Голанд) ?.

Что нас смущает в такой постановке вопроса? Известный налет политической демагогии. Оставим пока в стороне вопрос о нашем понимании альтернативы сталинской политике (к нему мы еще вернемся). Не будем взвешивать на политических весах и действительное значение аргументов, подобных цитате А. Микояна. Мы такие аргументы и сегодня слышим на каждом шагу: не надо было начинать перестройку, чтобы спустя шесть лет питаться хуже, чем в годы застоя. Рассмотрим самый главный постулат: ваши выводы неверны, потому что, как мне кажется, они оправдывают Сталина. Не будем

путать науку с бытовой моралью, а выводы историка — с нравоучительными притчами. Даже если бы наш анализ действительно показал отсутствие альтернатив сталинской политике, то и в этом случае вряд ли можно было отрешиваться от его результатов. Нельзя закрывать глаза и на столь трагический вариант развития нашего прошлого только потому, что это лишает оптимистического взгляда на Октябрь 1917 г. Кстати сказать, нынешние лихие налеты на революцию выросли совсем не из наших статей о повороте 1929 г., а из альтернативных мечтаний 1988-го. Нет никаких ограничений, которые мешали бы ученому доводить его анализ до конца. Ведь и Маркс, повторяя Данте, говорил, что у входа в науку, как и у входа в ад, на вратах должно быть выставлено требование «здесь нужно, чтоб душа была тверда; здесь страх не должен подавать совета»³.

Впрочем, признаем, что и наша душа не была достаточно тверда, когда мы писали статью об альтернативе Бухарина и повороте 1929 г. И мы отнюдь не безгрешны с точки зрения зависимости от политической конъюнктуры и опасливой оценки ситуации. Долгая привычка вписывать свои новые представления в контекст распространенных старых схем сыграла и с нами дурную шутку. Это видно теперь в самих попытках адаптировать результаты исторического анализа к старой концепции о прогрессивном движении советского общества, несмотря на преступления сталинской эпохи. Некоторые из наших оппонентов справедливо обратили на это внимание.

«Французский историк Марк Блок считал, что историк не должен уподобляться судье, он должен руководствоваться одним стремлением — понять (см.: Блок М. Апология истории. М., 1986. С. 82). Возможно, и не с его подачи, но Г. А. Бордюгов и В. А. Козлов придерживаются этого принципа, стремясь по возможности избегать оценочных суждений, а тем более обвинений. Этот стиль, вероятно, призван также противопоставить эмоциональности исторической публицистики, конъюнктурному критиканству и «революционному» наскоку строгость научной мысли. Они более всего опасаются, употребляя их же выражение, «субъективистского произвола» и, сами того не замечая, склоняются к объективизму, который, однако, не спасает их от произвола. Их объективизм сводится в конечном счете к попытке объяснить единственную возможность осуществления сталинской программы и невозможность реализации бухаринской альтернативы».

(Г. П. Гребенник)⁴.

Г. П. Гребенник верно подметил наше стремление избегать окончательных оценок. Мы в значительной степени сознательно отказывались от жестких суждений,

предпочитая им воспроизведение самого механизма исторического процесса. Подсознательно же стремились выйти за рамки политической однозначности, не отказываясь с бездумным энтузиазмом от прошлых представлений. И конечно же избавиться от упреков и подозрений нам все равно не удалось. Но неужели некоторые наши оппоненты всерьез полагали, что мы стремимся оправдать сталинизм? Сам по себе тревожный анализ сталинского времени, зловещей «силы вещей», ведущей общество к результату, который не приходил ему в голову, гораздо полезней для наших дней, чем сожаления и ламентации по поводу свертывания нэпа. Он (этот анализ), конечно, не дает гарантий, что прошлое не повторится, но все же ставит на пути в будущее «красные флажки» объективных знаний, а не моральных сентенций. Да в общем-то и наш главный критик — Ю. Голанд — в статье «Что предшествовало «великому перелому» 1929 года?» ставил перед собой именно эти цели, показывая взаимодействие политических механизмов принятия решений и экономических противоречий 20-х годов.

В чем же причина недоразумения?

Показательно, что статья И. Клямкина, которому вместе с нами крепко досталось от Ю. Голанда, называлась «Была ли Альтернатива Административной системе?». По всей вероятности, наш оппонент, как и многие другие авторы, не увидел разницы между альтернативой сталинской политике 20-х годов и альтернативой административно-командной системе, а тем более различными вариантами этой системы. А ведь это все разные вопросы. И если на первый вопрос (альтернатива сталинской политике) мы отвечали безусловно утвердительно, то второй требует дополнительных пояснений и раздумий.

Г. П. Гребенник в отклике на нашу статью о повороте 1929 г. не принял весьма важный для нас тезис:

«Авторы заслужили упрек в непоследовательном, эпизодичном, неполном применении диалектического метода. Так, они пишут: «В глубинах нэпа зрело его отрицание — зародыши будущей административно-хозяйственной системы, которые при ухудшении международного и внутреннего положения могли существенно потеснить и даже вытеснить хозяйственные методы управления экономикой». В этом положении сквозит явное непонимание сути диалектического отрицания. Основоположник диалектического метода Г. Гегель писал: «...отрицание есть то, что мы называем *границей*. Лишь в своей границе и *благодаря* ей нечто есть то, что оно есть» (Гегель. Энциклопедия философских наук. М., 1974. Т. 1. С. 230). Диалектическое отрицание по своей природе обусловлено внутренним саморазвитием

явления и процесса, в данном случае нэпа, тогда как административно-командная система формировалась не в «глубинах нэпа», а за его границей. И ее грубое вмешательство в экономику было не диалектическим отрицанием, а простым подрывом нэпа»⁵.

Но в том-то и дело, что «переход границы» нэпа, когда он перестал быть тем, что есть, означал прежде всего радикальное изменение пропорций хозяйственных и административных методов управления экономикой. И те и другие сочетались и взаимодействовали в нэповском обществе, хозяйственная система которого не могла существовать, не опираясь на сильные административные подпорки. И на это обратили внимание не только мы.

«Г. А. Бордюгов и В. А. Козлов очень точно подметили важнейшее противоречие 20-х годов: принципы нэпа были последовательно проведены в сельском хозяйстве и значительно слабее затронули промышленность. Образовались своеобразные «ножницы» в функционировании двух основных отраслей народного хозяйства. Противоречие это стало особенно ощутимым в конце 20-х годов. Разрешить его было возможно двумя способами: путем свертывания нэпа в деревне (сталинский вариант) либо путем углубления нэповских начал (хозрасчета, самостоятельности предприятий, производственной демократии) в сфере промышленного производства...»

(В. И. Бакулин)⁶.

Такой вариант глубокой реформы хозяйственной системы нэпа большинство наших оппонентов не рассматривало, ограничиваясь проблемами аграрного сектора. И в то же время показательно, что даже авторы, склонные к идеализации «классического» нэпа, в своих альтернативных построениях не могли обойтись без апелляции к административным рычагам воздействия на экономику. Рассуждая, к примеру, о «ножницах цен», то есть о разрыве между уровнями сельскохозяйственных и промышленных цен, Ю. Голанд говорит: «...и здесь можно было не допускать слишком большого разрыва, который бы задерживал развитие сельского хозяйства»⁷.

Что же, пытались и «не допускать». Как именно? XIII партийная конференция (1924 г.), например, ориентировала тресты на получение умеренной (?) прибыли. Но что это, как не мощное партийно-государственное вмешательство в рыночные отношения? А каким другим путем можно было не допускать «ножниц цен», Ю. Голанд умалчивает.

Методы государственного воздействия на хозяйственную жизнь в годы нэпа при всей их гибкости и своеобразии, опоре на рыночные отношения в совокупности своей все равно были модификацией традиционного россий-

ского экономического этатизма, правда, действующего в рыночной среде и еще не приобретшего черт тотального административного контроля. Причем еще за год до хлебозаготовительного кризиса 1927 г. государство прибегало к практике «отключения» рынка и восстановления некоторых военно-коммунистических методов. (Об этом прекрасно написал сам Ю. Голанд.) Все это и было зародышем будущей административно-командной системы, способным в кризисной ситуации вырасти в весьма агрессивного младенца и перешагнуть «границу» нэпа. Сделать это значило до предела ограничить рыночные отношения и ликвидировать индивидуальное крестьянское хозяйство, а совсем не построить заново где-то на тайных сталинских полигонах административно-командную систему. Она-то как раз уже существовала в рамках самого нэпа. Не видеть этого — значит иметь дело с некой интеллектуальной абстракцией «идеального» нэпа, а не с его реальным земным прототипом⁸.

Нечеткая постановка вопроса об альтернативе административно-командной системе, его смешение с вопросом об альтернативе сталинской политике конца 20-х годов привели к массе недоразумений между различными участниками дискуссии. Сегодня нам представляется, что поворот к «нормальной» административно-командной системе, к тому, что можно описать словами «государственный социализм», обозначился в партийном руководстве еще до всякого «великого перелома», на XV съезде ВКП(б). Для этого достаточно посмотреть утвержденные съездом директивы по составлению пятилетнего плана. Казалось бы, должна быть намечена программа плавного «переконструирования» нэпа, однако дается указание на преодоление «анархии рынка», рынок вообще оценивается весьма негативно. Более того, в отдаленной перспективе мыслится преобразование системы государственного регулирования рыночных отношений в аппарат социалистического распределения продуктов (подробнее об этом см. в следующей главе книги).

Дальнейшие рассуждения о событиях 1927—1930 гг. следует, на наш взгляд, строить вокруг того, к какому именно варианту административно-командного социализма могла привести сталинская политика. Те «ворота чрезвычайных мер», через которые страна втянулась в новый этап своего развития, делали все менее вероятным «нормальный» вариант «государственного социализма». Этот облик система приобрела только при Хрущеве, очистив-

шем ее от напластований «чрезвычайщины» (что, кстати, подтверждает реальную возможность существования такого рода систем, не окрашенных черной краской «чрезвычайщины»). Значит, альтернативы сталинской политике конца 20-х годов еще не были альтернативами административно-командной системе. Речь шла о возможности развития этой административно-командной системы по двум расходящимся путям. Первый вариант — репрессивный, чрезвычайный «государственный социализм» Сталина, другой — «нормальный» «государственный социализм» Бухарина, Рыкова и Томского. Вот две тенденции, борьба которых во многом определила повороты и зигзаги последующей истории.

Мы продолжаем считать, что группа Бухарина не могла после 1927 г. выскочить из набравшего обороты механизма создания административно-командной системы. И даже поставь Бухарин, Рыков и Томский вопрос о снятии Сталина, добейся они этой цели, отменить административно-командную систему они бы не смогли. Но им было по силам придать ей относительно цивилизованный вид, что впоследствии и сделал Хрущев. Это совсем немало. Заметим попутно, что предусмотренное решениями XV съезда ВКП(б) усиление административно-командных рычагов воздействия на экономику, развертывание системы административного планирования еще не покушались на принципы нэпа, хотя и усиливали практику государственного диктата в экономике. Теперь историкам предстоит найти ту грань, ту меру, ту границу, за которой нэповский этатизм из рычага воздействия на рыночную экономику превращается в несущую конструкцию сталинского «чрезвычайного социализма».

Очевидно, что новый вариант административно-командной системы, возникший в результате сталинской «революции сверху», радикально отличается от модели XV съезда ВКП(б). Не случайно поэтому О. Р. Лацис и В. П. Данилов высказались за то, что, помимо бухаринской, на ходу формулируемой альтернативы, существовала еще альтернатива XV съезда⁹. Не вступая в пространную полемику по этому поводу, заметим: мы по-прежнему считаем решения XV съезда запоздавшими. Ситуация начинавшегося кризиса не давала возможности последовательно проводить их в жизнь. Сегодня, как и тогда, мы склонны искать завязку будущей драмы в решениях 1925 г.

Мы полагали, что часть решений 1927 г. должна была

быть принята двумя годами раньше. Конкретно речь шла о планах охватить колхозами сравнительно небольшую часть крестьянского населения, чтобы обеспечить устойчивость зернового хозяйства. Это позволило бы решить «упущенную», по более поздней оценке Бухарина, хлебную проблему, а значит, предотвратить (или хотя бы смягчить) будущие хлебозаготовительные кризисы. Навивно? Может быть (и даже скорее всего), да! Но при чем здесь оправдание сталинизма. А кое-кто, кажется, перепутал эти решения XV съезда со сталинской «сплошной коллективизацией» и обрушил на нас волну критических стрел.

В своей статье «Время трудных вопросов» (Правда, 1988. 30 сентября) мы существенно уточнили свое понимание «критической точки» 1925 г. Однако эти уточнения некоторые наши оппоненты предпочли не заметить. Между тем наш, может быть, несколько условный приоритет в постановке этой проблемы признают и в зарубежной советологии*.

Собственно говоря, в том же направлении вел свои поиски и Ю. Голанд. В 1929 г. уже поздно было говорить об альтернативах, справедливо замечал он. При этом, правда, не захотел увидеть, что и нас вдохновляла на дальнейшие поиски та же самая мысль. Но для Ю. Голанда суть проблемы была не в запоздавших решениях о зерновой проблеме, а в том, что от абсолютно верной политики 1925 г. начался уход влево, свертывание линии на развитие нэпа. Такая трактовка событий имеет достаточно давнюю традицию. В 1956 г. Н. Валентинов (Вольский) писал: «История Советской России не пошла по направлению, указываемому ей «стрелкой 1925 года». Стрелка метнулась в другую сторону»¹⁰. По мнению Н. Валентинова, с которым не только Ю. Голанд, но и мы охотно согласимся, 1925 г. был годом «надежд и великого оптимизма», когда определенная часть

* Японский советолог Х. Вада, ссылаясь на эту нашу статью, пишет, что в 1925 г. Советский Союз переживал критический момент, но ничего не было сделано вовремя и в 1927—1928 гг. разразился зерновой кризис. Это новая точка зрения, которую следует принять во внимание в дискуссии об альтернативах. Х. Вада представляется, что она создает базу идее о сужающемся в 20-е годы пространстве выбора, которая высказана М. Гефтером в журнале «XX век и мир» (1987. № 10. С. 45). (*Wada Haruki. Perestroika and the Rethinking of History of the Soviet Union, 1986—88 // Facing Up to the Past. Soviet Historiography under Perestroika. Sapporo, Japan, 1989. P. 70*).

интеллигенции, «верившая, что советская страна, уйдя от «военного коммунизма», но не возвращаясь к капитализму, сможет... построить «дом», удобный для всех классов общества», поставила ставку на «благостную эволюцию власти». Эта вера, эти чувства, это сознание, этот оптимизм «носились в воздухе 1925 года, делали его для многих годом больших надежд»¹¹.

Однако все эти интересные суждения о метнувшейся в другую сторону «стрелке 1925 года» нуждаются все-таки в более серьезных объяснениях, чем «кнут» троцкистской оппозиции, гнавший партию влево. Ведь органическое противоречие было заложено в самих решениях 1925 года. Они включали в себя не только развитие товарно-денежных отношений в деревне, разрешение найма и аренды (эта политика, по предположению Ю. Голанда, давала беспорный выход из тупика), но и ориентацию на форсирование индустриализации. Именно это создавало условия для усиления «перекачки» средств из деревни в город, причем чем дальше, тем больше с помощью административных рычагов. Именно эта ориентация при любых условиях должна была создавать сложности в решении хлебозаготовительной проблемы. Эта политика и связанный с нею индустриальный «долгострой», усиление инфляции делали невозможным следование аграрному курсу 1925 г. Надо было либо отказываться от линии на индустриализацию (но в своих размышлениях Ю. Голанд не выходит на такой вариант, понимая, что для большевиков того времени, для «индустриалистской» партии это невозможно), либо найти такой путь, который сделал бы возможным сохранить статус-кво в деревне и вести радикальные изменения в городе.

Не найдя убедительного ответа на этот кардинальный вопрос, Ю. Голанд отдал немалую дань альтернативному утопизму. Он, например, в адрес давно ушедших людей обратился чуть ли не с призывом дать открытый бой Сталину и поставить вопрос о снятии его на июльском Пленуме ЦК ВКП(б) в 1928 г.¹². Легче всего призвать членов тогдашнего ЦК снять Сталина. Правда, от этого ровным счетом ничего не изменится. Лучше уж историку попытаться понять, почему «правые» не смогли или не захотели поставить этот вопрос, что мешало им это сделать. И только ли личная трусость или убеждение в невозможности вынесения дискуссии за рамки партийных верхов определяли их действия? Или за этим стояли гораздо более серьезные проблемы: структура власти,

механизм принятия политических решений, вопрос о том, почему дискуссия не выносится на суд народа, лишенного прав демократического вето? Без анализа этих и многих других проблем история превращается в полигон добрых советов, которые неизвестно кому выполнять.

Наш оппонент, например, иронически отнесся к высказыванию Л. М. Кагановича, который безо всякого сочувствия цитировал следующие слова «классового врага» в деревне: «Дай мне трактор, дай мне избирательные права,—я дам тебе хлеба». «И действительно надо было дать,—писал по этому поводу Ю. Голанд.—Ведь в этих требованиях не было ничего выходящего за рамки нэпа. Они соответствовали практике 1925 г., от которой необоснованно отказались»¹³.

Ну хорошо, нас Ю. Голанд убедил (говорим это вполне серьезно): «Надо было дать». Но как быть с членами тогдашнего Политбюро, среди которых не было ни одного человека, который принял бы и такие «рамки нэпа», и требование: дай мне избирательные права, а я дам тебе хлеба.

Так к кому же тогда обращаться с благими советами?

Тенденция своеобразного альтернативного волюнтаризма просматривается и в других размышлениях Ю. Голанда. Ему не нравится, когда авторы «вопрошают»: «Да и можно ли было позволить себе один или два года передышки» в то время? В этом вопросе он видит попытку оправдать сталинскую политику экстремальностью обстановки. Еще бы, ведь «теперь-то мы знаем, что ее не было», пишет Ю. Голанд. Скажем прямо, мы, в отличие от нашего оппонента, этого не знаем. Никто еще в советской историографии этот вопрос всерьез не изучал. А военные конфликты были. Но признаем даже, что «теперь-то мы знаем». И в этом случае аргумент Ю. Голанда не становится более убедительным. Ведь угроза войны, действительная или сильно преувеличенная, была вполне реальным компонентом политики. Сам Ю. Голанд признал, что о ней говорил Бухарин начиная с января 1927 г. И весь XV съезд ВКП(б) прошел под лозунгом: кратковременный период «разрядки» закончился. И если наш оппонент хочет остаться на позициях историзма, то ему, нравится это или нет, предстоит имплантировать жупел «военной угрозы» в свои альтернативные конструкции, а не отмечать его для того, чтобы оставить свободу рук для поиска любых, самых невероятных вариантов развития событий. Одним словом, мы

отказываемся обсуждать проблему исторических альтернатив 20-х годов, исходя из того, что в состав Политбюро входили Голанд, Клямкин, Козлов или Бордюгов, предпочитая иметь дело с реальными историческими персонажами.

Сегодняшнее видение альтернативы сталинской политике, с одной стороны, и альтернативы административно-командной системе, как таковой, ставит перед исследователями целый ряд новых проблем. Некоторые из них мы и попытались назвать. Однако следует признать, что в наших публикациях были положения, которые вызвали справедливую критику и заставили нас по-иному взглянуть на поставленную тогда проблему сталинской «революции сверху» как особой формы межформационного скачка.

«Авторы исходят из тезиса о необходимости скачкообразного прогресса в превращении «России нэповской в Россию социалистическую». Для обоснования такого подхода, как нам представляется, вряд ли достаточным является использование ленинской мысли о том, что «доделывать, переделывать, начинать с начала придется нам еще не раз» (*Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 44. С. 224). Выдвигаются две основные причины: опасность развития частнособственнических тенденций и внешнеполитическая угроза стране. Первый довод основан на абсолютизации негативных аспектов нэпа. Вторая проблема сама по себе еще не свидетельствует о том, что форсирование индустриализации и сплошной коллективизации именно в конце 20-х годов выступало исторически закономерным поворотом именно в форме скачкообразного рывка.

В данной связи правомерно поставить вопрос: стояла бы эта проблема при более благоприятной международной обстановке и налаженной экономической связи между промышленностью и сельским хозяйством? Думается, что не стояла, потому что сама идея скачка в новое, более высокое качественное состояние общества без прохождения промежуточных этапов является авантюристической».

(*В. П. Бокарев*) ¹⁴.

В чем мы сейчас видим суть нашей ошибки? В том, что вся сталинская «революция сверху» была рассмотрена нами в терминах своего времени, в понятиях социалистической реконструкции. Между тем эта «революция сверху» не была скачком в социализм как таковой. Она представляла собой особый варварский вариант форсированной индустриальной модернизации (об этом уже немало написано в мировой науке). Эта индустриальная модернизация, во-первых, подчинила себе всю хозяйственную жизнь, во-вторых, стала специфической формой первоначального накопления капитала, сопровождаемого ограблением крестьянства. Была повторена, только в неизмеримо больших масштабах, обычная модель первоначальной

чального накопления: разорение мелких собственников и накопление капитала на другом полюсе. В данном случае в роли «разорителя» крестьянства как класса-сословия выступили не частные капиталисты, а государство. Это обеспечило ему возможность практически безграничной «перекачки» средств из сельского хозяйства в промышленность. Решало ли это проблему скачка в индустриальное общество? Лишь отчасти.

«Если Сталин в деле индустриализации страны на первый план выдвигал вопросы технической реконструкции и особенно нового промышленного строительства, то Рыков и Бухарин были далеки от столь упрощенного понимания ее сути. Отнюдь не отрицая необходимость технической реконструкции народного хозяйства, они вместе с тем ставили на одну доску с нею вопросы кадровые, культурного строительства, рациональной организации труда и т. п...

Лидеры так называемого «правого уклона» отлично понимали, что «голая» техническая реконструкция, технический скачок, не обеспеченный соответствующим кадровым потенциалом, скачком в области культурного строительства (если в этой области вообще возможны скачки), переходом на качественно новый уровень организации труда, производства и управления, на новый уровень производственной культуры, выльется в разорительное для общества и недостаточно эффективное мероприятие».

(В. И. Бакулин) ¹⁵.

Другими словами, рассматривать сталинскую «революцию сверху» как скачок к социализму неверно. В результате этого скачка, который, по сути дела, был «догоняющей» формой форсированного накопления капитала, действительно возникла новая социальная структура общества. Но цена за это оказалась не меньшей, а большей, чем та, которую в свое время за капитализацию заплатили западные страны. Варварский вариант индустриальной модернизации через форсирование коллективизации, ликвидацию крестьянства как класса-сословия и т. д. нельзя было осуществить без насилия. Сама постановка задачи предельного форсирования перемен неизбежно выводила на вопрос о применении насилия, его границах. В этом отношении кажутся сейчас наивными наши заявления о том, что можно было бы вовлечь крестьян в колхозы, используя их патриотические настроения, доверие к Советской власти, тот моральный капитал, которым к этому времени располагала партия. И здесь мы не можем не согласиться с нашими оппонентами, прежде всего Ю. М. Голандом и Г. П. Гребенником. Справедливые суждения последнего по этому вопросу необходимо привести полностью.

«В сталинской концепции, как, впрочем, и в бухаринской, цель и средства внутренне взаимоувязаны в систему, обеспечивающую целостность концепции.

Осуществление сталинских целей служит доказательством того, что не только его методы, но и вся стратегия противоречила, в конечном счете, интересам рабочего класса, ленинскому идеалу социализма. Что такое сталинизм без репрессий? Это некомпетентность минус «революционный напор». «Чрезвычайщина» — вот оселок, на котором держалась вся стратегия Сталина. Убери ее — и сталинская альтернатива стала бы невозможной. В этом пункте мое расхождение с В. А. Козловым и Г. А. Бордюговым достигает максимума. Нельзя всерьез воспринимать их мысли по поводу возможности форсировать коллективизацию, не прибегая к насилию. Коллективизацию без насилия можно было провести, но для этого нужно было отказаться от всей сталинской стратегии. Партия это сделать не смогла. Отсюда та высочайшая цена, которую пришлось заплатить ей и народу за отказ от альтернативы... Высокие темпы индустриализации, как цель и результат, могли быть достигнуты либо благодаря экономически целесообразным мероприятиям, либо благодаря внеэкономическому принуждению в виде чрезвычайных мер. Следовательно, они вторичны, т. е. не имеют непосредственного отношения к «сути дела», к социализму. А суть дела заключалась в том, что нужно было осуществлять социалистическое строительство социалистическими методами. Гегель писал: «...суть дела исчерпывается не своей целью, а своим осуществлением, и не результат есть действительное целое, а результат вместе со своим становлением» (Гегель. Соч. М., 1959. Т. 4. С. 2). Становление материализует цель, превращает ее в результат. Начав строить не так, превратили социализм, как результат, в не совсем то. Ленинский тезис, что социализм — это дело масс, Сталин переименовал на свой лад: социализм — это дело принуждения масс. В той мере, в какой социализм в нашей стране был результатом трудового энтузиазма и героизма масс, в той же мере он стал действительным социализмом. В той мере, в какой на его ход накладывалась печать сталинизма, в той же мере он был деформирован».

(Г. П. Гребенник) ¹⁶.

К нашему прежнему непониманию некоторых аспектов проблемы поворота 1929 г. мы относимся совершенно спокойно. Полагаем, что и у наших читателей ошибки в процессе изучения прошлого не вызовут желания немедленно пригвоздить авторов к позорному столбу. Но с точки зрения той темы, которая нас постоянно занимает в этой книге, хотелось бы обратить внимание читателей на незаметную в то время, но очень мощную идейную струю, которая напрямую шла из сталинской «школы фальсификаций». В 1988 г. ее никто еще не сумел преодолеть. Все без исключения авторы тогда были убеждены в том, что Сталин реализовал троцкистскую модель развития.

Вот, например, Ю. Голанд высказывает суждение о том, что с весны 1926 г. «начались принципиальные разногласия среди руководства партии и страны по вопросам

экономической политики, которые отражали две разные позиции — на развитие нэпа и на его свертывание»¹⁷. Под такого рода заявлением еще год назад и мы бы совершенно легко подписались. Троцкий был и для нас в то время синонимом всего плохого, что только может быть в советской истории. Однако дальнейшее изучение проблемы показывает, что никто из лидеров левой оппозиции не ставил под вопрос целесообразности нэпа, сохранения рыночных отношений с крестьянством и достаточно длительного существования мелкого крестьянского хозяйства. Более того, когда в 1926 г. к Троцкому обратился один из его единомышленников с вопросом о том, почему выход из трудностей мы не ищем на путях «военного коммунизма», то Троцкий долго и обстоятельно объяснял ему, почему это невозможно. Споры с 1926 г. шли не о том, свертывать или сохранять нэп, как считает Ю. Голанд. Дело было в другом. Как дальше развивать нэп, можно ли включить нэповскую Россию в мировой экономический контекст (вопрос, который очень волновал Троцкого), с чего, с легкой или тяжелой промышленности, начинать индустриализацию, в каком направлении вообще идет развитие на путях нэпа?

В данном случае мы не ставим перед собой задачу подробного анализа левой альтернативы в проведении индустриализации и отсылаем читателей к интересной статье М. Горинова¹⁸. Но закончить размышления о «бухаринском буме» мы хотели бы именно на этой ноте. От анализа поворота 1929 г. был отрезан огромный кусок реальности: идеи, представления и концепции, без которых правильное и глубокое понимание периода невозможно.

В 1988 г. такого рода ограничения в анализе были связаны с системой идеологических табу. Парадокс состоял в том, что общественное сознание, которое было исключительно восприимчиво к альтернативным идеям и концепциям, рассталось с этой проблемой и обратилось к другим в твердой уверенности, что Сталин реализовал именно троцкистский курс, что левая оппозиция в партии выступала исключительно за «закручивание гаек» в отношении крестьянства, что единственным вариантом развития событий в положительную сторону (если он вообще существовал) был вариант Н. Бухарина, А. Рыкова и М. Томского. Последующие же работы историков, существенно уточнившие этот упрощенный взгляд, уже не попали в центр общественного внимания. Общественное

сознание двинулось дальше с ошибками и заблуждениями, с новыми (и старыми тоже) мифами и иллюзиями.

Профессиональная история и общественное сознание уже начинали двигаться расходящимися путями.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Shiokawa Nobuaki*. *Perestroika and the New Perspective on Soviet History: The Case of the History of Industrialization and the Working Class.— Facing Up to the Past. Soviet Historiography under Perestroika*. Sapporo, Japan, 1989. P. 155—157.

² *Голанд Ю.* Что предшествовало «великому перелому» 1929 года // Политическое образование. 1989. № 8. С. 78.

³ *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 13. С. 9.

⁴ *Гребенник Г. П.* А все-таки альтернатива была... К вопросу о повороте 1929 г. (Статья, присланная в журнал «Вопросы истории КПСС» в 1988 г.).

⁵ Там же.

⁶ *Бакулин В. И.* «Не хлебом единым...» // Вопросы истории КПСС. 1989. № 7. С. 25.

⁷ *Голанд Ю.* Указ. статья. С. 76.

⁸ Об этом говорилось на «круглом столе», посвященном нэпу и поиску путей строительства социализма в одной стране. См. сообщение Вакунова С. И. // Вопросы истории КПСС. 1990. № 2.

⁹ См.: *Лацис О.* Перелом // Знамя. 1988. № 6; *Данилов В. П.* Феномен первых пятилеток // Горизонт. 1988. № 5.

¹⁰ *Валентинов (Вольский) Н.* Новая экономическая политика и кризис партии после смерти Ленина. Годы работы в ВСНХ во время нэпа. Воспоминания // Hoover Institution Press. Stanford, California, 1971. С. XIX.

¹¹ Там же. С. XVIII.

¹² См.: *Голанд Ю.* Указ. статья. С. 75.

¹³ Там же. С. 76.

¹⁴ *Бокарев В. П.* К вопросу о повороте 1929 г. (Статья, присланная в журнал «Вопросы истории КПСС» в 1988 г.).

¹⁵ *Бакулин В. И.* Указ. статья. С. 22, 23.

¹⁶ *Гребенник Г. П.* Указ. статья.

¹⁷ *Голанд Ю.* Указ. статья. С. 75.

¹⁸ *Горинов М. М.* Альтернативы и кризисы в период нэпа: К вопросу о социально-экономических проблемах внутрипартийной борьбы в 20-е годы // Вопросы истории КПСС. 1990. № 1.

Глава III

СТАЛИНИАДА

(1988—1989 гг.)

Приметы времени:

ПОЛИТИЧЕСКИЕ «ЭВФЕМИЗМЫ»

Один из авторов этой книги летом 1987 г. принимал участие в беседе историков за «круглым столом», организованным журналом «Коммунист». Самым удивительным было то, что участники дискуссии, обсудив вопросы периодизации истории советского общества, различных аспектов политической системы, кажется, собирались разойтись, так и не вспомнив о проблеме культа личности — так ее тогда предпочитали называть. Дело кончилось тем, что под занавес встречи вышеупомянутый автор был вынужден еще на какое-то время задержать внимание своих коллег, для того чтобы произнести несколько хотя бы самых общих слов по этой проблеме.

И прозвучала фраза, которая в потемках нашей доперестроечной политической культуры обычно сразу привлекала внимание: «Нас не поймут, если мы этой проблемы не коснемся»¹.

Тогда очень важным казался сам факт, что впервые в советской литературе взамен термина «культ личности», неполнота которого к тому времени была достаточно очевидна, вводился термин «режим личной власти»². Он был заимствован из книги Н. Бухарина «Экономика переходного периода» и замечаний Ленина на полях этой работы³. Теперь ясно, что это был наивный и робкий первый шаг, но в то время, в середине 1987 г., даже он вызвал достаточно широкий резонанс. Именно тогда сквозь, казалось бы, незыблемую плотину «устоявшихся» представлений о прошлом стали пробиваться ручейки сомнений и вопросов. Зазвучал термин «сталинизм», которого раньше сторонились, который вызывал исключительно отрицательные эмоции, который политики и обществоведы считали «не нашим». Это теперь он вошел в обиход, никого не смущает, активно используется публицистами. А в свое время при первых упоминаниях о сталинизме в «Московских новостях» одни читатели радостно вздрагивали,

как будто на их глазах совершается какой-то глубокий перелом, а другие мрачно хмурились — им казалось, что рушится целый мир.

Когда стало ясно, что перестройка невозможна без отрицания административно-командной системы, сложившейся в 30—40-е годы, естественным было обращение к отцу этой системы, с чьим именем она ассоциировалась, кто был ее олицетворением и символом, — к Сталину. Память о том, с какой легкостью была свернута критика Сталина и порожденной им системы в 60-е годы, толкала наиболее смелых и решительных публицистов на путь немедленного возврата к идеям и оценкам XX съезда партии. От единичных атак на сталинизм общественное сознание шло ко все более глубокому пониманию драматизма нашего исторического пути, к формулировке вопросов, которые не задавали и не могли задавать двадцать лет назад. Однако это было доступно не многим, самым решительным. Большинство, как и прежде, ждало установочных речей и вряд ли верило в саму возможность сойти с наезженной колеи.

Переломным моментом стал доклад М. С. Горбачева, посвященный 70-летию Октября. Он открыл шлюзы антисталинской критики, хотя и попытался определить ее границы и рамки. Большинство исследователей поначалу старались держаться в этих рамках. Так, спустя месяц после доклада Горбачева Д. Волкогонов писал: «Будучи честными перед истиной, перед историей, нельзя не признать неоспоримого вклада И. В. Сталина в борьбу за социализм, его защиту, как и его непростительные политические ошибки и преступления...»⁴ Другие были склонны связывать причины событий 20—30-х годов с «левацкими» сталинскими заблуждениями и значительное место в своем анализе уделяли различным отступлениям Сталина от марксизма⁵.

Появление в газете «Советская Россия» (13 марта 1988 г.) статьи Н. Андреевой «Не могу поступиться принципами», явно направленной на историческую реабилитацию Сталина, а значит, и созданной им системы, последовавший затем редакционный ответ «Правды» (5 апреля 1988 г.) обострили вопрос о разоблачении Сталина и сталинизма. Желание провести водораздел между Лениным и Сталиным было в то время всеобщим. Правда, через некоторое время последовали довольно любопытные откровения о причинах этого явления. В. Костиков в журнале «Огонек» летом 1989 г. признался: «Критика

Сталина на определенном этапе вызревания гласности была своего рода «эвфемизмом» более серьезной, концептуальной критики»⁶. Были указаны и внешние причины этого явления: «уже позволено было критиковать Сталина и его окружение, но по-прежнему ставилось «вето» на попытки углубленного, причинного анализа»⁷.

Как эти «эвфемизмы» выглядели в жизни, один из нас наблюдал на международной конференции по проблемам сталинизма в Урбино (Италия) весной 1989 г. С трибуны известный советский обществовед долго говорил о глубочайших различиях между Лениным и Сталиным, а в кулуарах заявлял: «Дойдет дело и до Ленина».

Мы потребности в таких «эвфемизмах» не испытывали. Больше того. В 1988-м, а тем более в 1989 г. мы не ощущали и серьезного давления идеологических «ветов». Было другое. Какие-то внутренние барьеры, затруднявшие анализ взаимосвязи между сталинским и ленинским периодами. Безоглядно прыгать через эти барьеры, не разобравшись в проблеме, не изучив источники, значило, на наш взгляд, изменить своей профессии.

Проблема «Ленин и Сталин» — одна из сложнейших в советской истории, и мы отнюдь не были удовлетворены распространенными в то время ответами. На конференцию в Урбино авторы представили доклад, в котором коснулись авторитарной системы эпохи гражданской войны и причин ее последующего перерождения в режим личной власти Сталина⁸. Но, оказывается, были люди, которые уже «знали» истину и просто до времени держали ее в уме. Мы, увы, таким априорным знанием не обладали, хотя и были знакомы с западными источниками грядущих откровений. Это не мешало нам, как и будущим ниспровергателям революции, двигаться вместе с политическим процессом, повторяя на первых порах его весьма извилистый путь к постижению феномена сталинизма. А общественное сознание на протяжении 1988—1989 гг. выходило на постановку новых и все более серьезных вопросов.

Обозначим только две точки этого процесса — начало 1988 г. и начало 1989 г.

«Можете ли вы что-нибудь сказать о размерах вреда, нанесенного народному хозяйству, обороне в сталинские времена? Сколько примерно человек было репрессировано в это время?»

«Если Сталин был фактическим диктатором, то можно ли называть его в целом марксистом, тем более ленинцем?»

Примерно этим кругом вопросов, помимо интересовавшей всех проблемы альтернативы сталинской политике, ограничивались слушатели в начале 1988 г. Спустя год они продолжали волновать общество, особенно установление численности жертв сталинских репрессий. Но все чаще и чаще возникали вопросы совершенно другого плана.

«Не является ли «сталинизм» объективным явлением развития нашего общества, учитывая отсталость России (в экономическом и культурном плане) и догматизм марксистов-руководителей послеленинского периода? Нужен был такой период развития. Сейчас же мы созрели, не правда ли?»

«Такие лидеры нашего государства, как Сталин, Хрущев, Брежнев, Черненко, рьяно защищали и насаждали административно-командную систему. Нет ли здесь закономерности? Не ведет ли к власти таких лидеров сама система?»

Таковы были вопросы. А каковы ответы?

На людей обрушился поток информации о «белых пятнах» сталинского периода. Достоянием советских читателей становились исследования западных ученых. Появилась и определенная разновидность публицистов средней руки, которая использовала малоизвестные у нас в то время работы Б. Бажанова, А. Орлова, А. Антонова-Овсеенко, Р. Медведева, Л. Троцкого, И. Дойчера, М. Восленского и других для написания оригинальных статей. Недостаточная историографическая культура эпигонов не только не позволяла им отделить зерна от плевел в работах своих предшественников, но в ряде случаев и не обременяла ссылками на источник заимствований.

Сказывалось и традиционно пренебрежительное отношение к зарубежной литературе. Практически вся она десятилетиями числилась в разряде «буржуазных фальсификаций». До сих пор включение зарубежных идей и концепций в контекст советской историографии представляет для отечественных историков серьезную трудность. На это печальное обстоятельство деликатно указывают некоторые советологи. Японский исследователь Х. Вада мягко называет нынешний историографический нигилизм «дефектом» дискуссий о прошлом и предостерегает от повторения давно отвергнутых идей. Отсутствие материала об историографии и историографических школах он, в частности, считает серьезным недостатком в целом содержательной книги «Историки спорят. Тринадцать бесед» (М., 1988) ⁹. Пожалуй, единственным счастливым исключением стала, по его мнению, статья В. П. Данилова в журнале «Вопросы истории» ¹⁰.

Правда, в нашей печати чем дальше, тем больше появлялось серьезных исследований, которые использовали опыт зарубежных авторов, но тем не менее отличались значительной новизной в подходах. Работы Д. Волкогонова, О. Лациса, А. Ципко, И. Бестужева-Лады, Б. Курашвили и других ставили вопрос о социально-экономической и теоретической обоснованности политики в 30-е годы, о предпосылках и доктринальных корнях сталинизма, о коллективной ответственности ЦК партии, о выявлении социальных сил, на которые опирался Сталин¹¹. Важным общественно-политическим и историографическим событием были первые советские публикации Р. Медведева¹². Серьезной попыткой осмыслить феномен сталинизма стала книга Л. Гордона и Э. Клопова «Что это было?», предварительно печатавшаяся в журнале «Знание — сила»¹³.

Большой резонанс вызвали «Страницы истории», публиковавшиеся в «Правде» под редакцией академика Г. Смирнова¹⁴. Их отличало прежде всего привлечение новых, не известных не только в СССР, но и на Западе исторических источников из закрытых фондов Центрального партийного архива ИМЛ при ЦК КПСС. В 1989—1990 гг. впервые в нашей стране увидели свет труды таких западных исследователей, как Р. Слассер, Л. Белادي и Т. Краус, Р. Такер, Р. Конквест и И. Дойчер¹⁵. В этих работах содержалось немало непривычной информации, острых оценок. При всем разнообразии подходов к сталинской эпохе их отличала солидная научная база и основательность.

Но тем не менее тон во многом задавала публицистика средней руки. Она делала массовым знание о преступлениях Сталина и в то же время множила количество ошибок, воспроизводила старые, давно отвергнутые научкой мифы (например, был ли Сталин агентом охраны?¹⁶), отличалась агрессивно-наступательным духом. Эти публикации не только отражали распространенные умонастроения и уровень запросов аудитории, но и формировали их.

Ничего удивительного в этом не было. Мы все учились говорить правду — для этого надо было пройти очищение, стать честным перед самим собой. Но стремление говорить правду очень часто не сочеталось с профессионализмом или с глубоким самостоятельным изучением исторических фактов. Авторы различных гипотез бросали их, как говорится, на самом интересном месте, заявляя, что дальнейшее предстоит разобрать историкам.

Возникали и самодельные «теории», иногда доходившие до комизма (например, заявление, что Сталин стремился чуть ли не к реставрации феодализма), или начинался поиск «злых людей» мафии, которая сознательно творила зло. Печально, что такого рода призывы очень часто ложились на почву слабого знания истории.

Мы собственными глазами видели, как в 1988 г. некоторые люди, опираясь на статью В. Кожина «Правда и истина»¹⁷, составляли списки партийных работников 20—30-х годов с указанием их псевдонимов и фамилий и подсчитывали количество евреев в составе руководящих партийных органов. Очевидно, они считали, что это и есть та самая главная правда, та самая истина, до которой следует докапываться. Такие «простые ответы» были очень соблазнительны для неразвитого сознания, но это было нечто весьма и весьма чуждое как правде, так и истине. Заметим, что «простые ответы» часто возникали и от растерянности, и от незнания. Но есть незнание, которое ведет людей в библиотеки. А есть воинствующее невежество, которое зовет людей «бить жидов, спасти Россию».

В 1988—1989 гг., как и во всякие другие времена, людям, писавшим о проблемах сталинизма, было довольно трудно предсказать, «как слово наше отзовется». Читательская реакция показывала, что в России по-прежнему не одна правда, а ровно столько, сколько людей. И довольно значительное большинство было в состоянии воспринимать только ту, которая соответствовала их личным пристрастиям и интересам. Вообще же поиск правды — процесс мучительный. Через него проходило все взрослое население страны, но особенно болезненно он ударил по молодому поколению, порождая в нем настроения апатии и цинизма. Но ничего другого интеллигенция в то время предложить обществу была не в состоянии. Она, как могла и как понимала, занималась очищением мозгов и душ от того наследия сталинизма, которое не давало перестройке двигаться дальше. Трудно было сказать, как будет развиваться процесс постижения прошлого, критики и разоблачений. Одно было совершенно очевидно: популярная история, рассчитанная на массового читателя, попала в полную зависимость от тенденций и направления политического процесса. И эта ее зависимость, которая поначалу воспринималась как сладкий плен, очень скоро оказалась тяжелым бременем для профессиональной истории.

¹ Основные этапы развития советского общества. «Круглый стол» журнала «Коммунист» // Коммунист. 1987. № 12. С. 74—75.

² Там же.

³ См.: Ленинский сборник XL. С. 412.

⁴ Волкогонов Д. Феномен Сталина // Лит. газета. 1987. 9 дек.

⁵ См.: Бутенко А. Как подойти к научному пониманию истории советского общества // Наука и жизнь. 1988. № 4.

⁶ Костилов В. Сапоги из шагреновой кожи // Огонек. 1989. № 32. С. 12.

⁷ Там же.

⁸ Kozlov V., Bordjugov G. Il socialismo «di stato» degli anni Venti e Trenta: norma o deformazione // L'eta dello stalinismo. Relazioni al convegno internazionale organizzato dalla Fondazione Istituto Gramsci di Roma e dall'Istituto di filosofia dell'Universita di Urbino, Urbino 26—29 maggio 1989. Roma, Editori Riuniti, 1991.

⁹ Wada Haruki. Perestroika and the Rethinking of History in the Soviet Union, 1986—88 // Facing Up to the Past. Soviet Historiography under Perestroika. Sapporo, Japan, 1989. P. 72.

¹⁰ См.: Данилов В. П. Дискуссия в западной прессе о голоде 1932—1933 гг. и «демографической катастрофе» 30—40-х годов в СССР // Вопросы истории. 1988. № 3.

¹¹ Волкогонов Д. Триумф и трагедия: Политический портрет И. В. Сталина // Октябрь. 1988. № 10—12; Лацис О. Р. Перелом // Знамя. 1988. № 6; Ципко А. С. Истоки сталинизма // Наука и жизнь. 1988. № 11, 12; 1989. № 1, 2; Бестужев-Лада И. В. Аморальность и антинародность «политической доктрины» сталинизма // История СССР. 1989. № 5; Курашвили Б. П. Политическая доктрина сталинизма // Там же; и др.

¹² Медведев Р. А. О Сталине и сталинизме: Исторические очерки // Знамя. 1989. № 1—4; Он же. Они окружали Сталина // Юность. 1989. № 3, 5, 6, 8, 9, 12; и др.

¹³ Гордон Л. А., Клопов Э. В. Что это было? Размышления о предпосылках и итогах того, что случилось с нами в 30—40-е годы. М., 1989.

¹⁴ См.: Урок дает история. Сб. статей. М., 1989.

¹⁵ Слассер Роберт. Сталин в 1917 г.: Человек, оставшийся вне революции. М., 1989; Беладди Л., Краус Т. Сталин. М., 1989; Такер Р. Сталин. Путь к власти. 1879—1929. М., 1990; Конквест Р. Большой террор // Нева. 1989. № 9—12; 1990. № 1—10; Дойчер И. Адски темная ночь (Троцкий: штрихи к портрету) // Иностранная литература. 1989. № 3; и др.

¹⁶ См. об этом: Каптелов Б. И., Перегудова З. И. Был ли Сталин агентом охраны? // Вопросы истории КПСС. 1989. № 4.

¹⁷ Кожин В. Правда и истина // Наш современник. 1988. № 4.

ВРЕМЯ ТРУДНЫХ ВОПРОСОВ. ИСТОРИЯ 20—30-х ГОДОВ И СОВРЕМЕННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ*

Когда отгремят сегодняшние дискуссии и уйдет в далекое прошлое острота волнующих нас проблем, когда нынешние прозрения станут трюизмами, а сломанные полемические копья попадут в запасники музеев, тогда, вероятно, окажется: процесс духовного роста «восьмидесятников» можно легко восстановить по статьям и публикациям о советской истории 20—30-х годов. Очевидное сегодня станет еще более очевидным завтра. Глубина и бескомпромиссность критического анализа прошлого, корней и истоков кризисных явлений, поразивших наше общество в 70 — начале 80-х годов, уже соединились с историей перестройки, ее судьбой и ее надеждами.

Нам нужна та новая модель исторического знания, которая раскроет действительную противоречивость исторического процесса. Подходы к ней уже нащупываются в рамках анализа критических точек нашей истории, поворотов в политике партии и проблемы альтернатив. Альтернативный анализ, безусловно, займет важное место в познании прошлого. Правда, если при этом нам удастся преодолеть те наивные представления об альтернативах, которые ведут по пути альтернативных мечтаний и историографических утопий. Если мы сумеем решить целый ряд «общих вопросов», чтобы потом не наткнуться на них, как говорил Ленин, на каждом шагу, бессознательно для себя.

В ПОИСКАХ «ОСНОВНОГО ЗВЕНА»

Стремясь преодолеть «драму идей», переживаемую сегодня массовым сознанием, некоторые литераторы и публицисты предлагают отделить Сталина от борьбы за социализм. Однако вряд ли это удастся кому-нибудь сделать без ущерба для исторической истины. Наши современники справедливо стремятся отделить героическую борьбу народа за социализм и ошибки, просчеты, даже преступления политических руководителей. Но народ,

* Впервые опубликовано: Правда. 1988. 30 сент., 3 окт. См. также: Урок дает история. М., 1989. С. 232—267. Печатается с сокращениями.

строящий социализм,— без руководства, но страна — без лидера — такое возможно только в теоретических абстракциях, а не в реальной жизни. На наш взгляд, в действительности мы имеем дело с более общей проблемой: необходимо отделить переходный период от социализма. Это сразу меняет и ракурс восприятия 20—30-х годов, и оценку зрелости нашего общества в то время.

Какой же социализм мы в 30-е годы построили? — так часто ставится вопрос. По каким критериям его оцениваем? Формы собственности, уровень развития производительных сил — это критерии ведущие и основные. Однако при их абсолютизации мы не получим всей полноты картины. Современные публицисты идут поэтому дальше. Появились разные варианты определения того строя, который был создан в 30-е годы, — «государственный социализм», «казарменный социализм», «ранний социализм». Говорят уже, и вполне серьезно, чуть ли не о «феодальном социализме». Очевидно, сама постановка этих вопросов отражает неудовлетворенность теми представлениями о социализме, которые сложились в 30—40-е годы и которые преодолеваются в ходе перестройки.

Однако проблема имеет еще один принципиально важный ракурс. Широко известны и часто цитируются сегодня слова Ленина о том, что «мы вынуждены признать коренную перемену всей точки зрения нашей на социализм»¹. Слова эти были произнесены в связи с обобщением опыта первых лет нэпа, и они до сих пор несут в себе оттенок определенной загадочности. Известно, что эта «перемена точки зрения» вывела Ленина на постановку вопроса о социализме как строе цивилизованных кооператоров. Но естественно будет задаться и другим вопросом. А какая же точка зрения на социализм была у Ленина и у партии раньше? И для ответа на этот вопрос необходимо обратиться к дооктябрьским работам Ленина. В 1917 году Ленин писал: «... социализм есть не что иное, как государственно-капиталистическая монополия, *обращенная на пользу всего народа* и постольку *переставшая* быть капиталистической монополией»². Именно этот взгляд на социализм как на государственную монополию, вероятно, перерастал у Ленина в идею социализма как строя цивилизованных кооператоров.

Между тем для соратников и наследников Ленина вот этот «старый взгляд» на социализм продолжал служить практическим ориентиром. Отсюда рождался идеал жестко централизованной хозяйственной системы, пря-

мого продуктообмена между городом и деревней и т. д., зафиксированный в свое время во второй Программе РКП(б). Его широко пропагандировали и в 20-е годы с помощью, например, «Азбуки коммунизма» Бухарина и Преображенского. Этот идеал особым образом формировал сознание многих коммунистов, способствовал воспроизводству специфического взгляда на нэп как на отступление, а не на долговременную политику партии.

«Старый взгляд» на социализм был положен и в основу тех критериев, с помощью которых оценивалась зрелость нашего общества в 30-е годы. Определял он и сталинскую трактовку основ социализма и построения социализма в основном. Рассуждения при этом были достаточно просты: если государство пролетарское, если утвердилась общественная собственность на средства производства, если уничтожены эксплуататорские классы и ликвидирована многоукладность, то социализм в основном построен. Но из этой трактовки социализма в общем-то исчезла идея «цивилизованных кооператоров». Фактически к этой идее, к ленинской трактовке «всей точки зрения нашей на социализм» мы приходим в практической политике только сегодня.

Это обстоятельство надо иметь в виду при обсуждении вопроса о том, какой социализм мы строили в 30-е годы. Это заставляет обществоведов задуматься и над хронологическими рамками переходного периода. Можно ли ограничить их концом 30-х годов, как мы привыкли? А может быть, построение социализма в основном следует отнести к концу 50-х годов, когда началось очищение от наследия культа личности, наметился поворот к социальным программам в экономике, была предпринята попытка демократического реформирования административно-командной системы. А возможно, переходный период следует продлить и дальше, до ликвидации административно-командной системы,— цель, которая стоит перед нынешней перестройкой.

Но можно ли сказать, что утверждение «старого взгляда» на социализм 30-х годов объясняется исключительно тем, что соратники и наследники Ленина не поняли и не приняли его последних идей? Конечно, дело отчасти и в этом. Судя по уже известным документам, преемники Ленина представили партии некоторые его последние идеи как идеи тяжело больного вождя. Однако дело, вероятно, не только в этом, но и в том, что в самой реальной жизни существовали основания для ут-

верждения «старого взгляда» на социализм, для его (социализма) отождествления с административно-командной системой.

Объективной основой такого рода отождествления были особенности переходного периода в нашей стране как стране второго эшелона капитализма. Россия не прошла стадию капитализма в полном объеме. Для социализма же нужна определенная материально-техническая база, нужен цивилизованный работник, сформированный десятилетиями капиталистической фабрики. Такой материально-технической базы, такого работника с высоким уровнем дисциплинированности и ответственности страна в полном объеме в 1917 г. не имела.

После окончания гражданской войны сложилась драматическая ситуация, которую Ленин охарактеризовал словами: «остались пока одни», *«без чужой помощи вылезает»*³. Пролетарских революций на Западе не произошло, необходимой помощи пролетариата развитых стран — и материально-технической, и культурной, и технологической — Советская Россия не получила. Страна в одиночку вступала в период «долгих мук родов» нового общества.

Справедливо считают, что Сталин (к сожалению, не только он) огрубил, «выпрямил» задачи социалистического строительства и поставил знак равенства между процессом широкого обобществления (строй цивилизованных кооператоров) и огосударствлением (государственная монополия, обращенная на пользу народа). В конце концов «компенсатором» исторически сложившейся недостаточности формационных предпосылок социализма стала административно-командная система.

В годы первой пятилетки с ее (этой системы) помощью в деревне была создана особая форма производственных отношений социалистического, коллективистского типа. Создана до того, как для этого сложились необходимые материально-технические предпосылки. С помощью происшедших в результате коллективизации базисных изменений началось «подтягивание» материальной базы до уровня измененных производственных отношений не только в городе, но и в деревне. Решить эту задачу в 30-е годы в полном объеме, особенно в деревне, не удалось. На это, например, обращал внимание в 1934 г. Бухарин. Колхозы, отмечал он, нельзя считать предприятиями последовательно социалистического типа и с точки зрения существовавших производственных

отношений, и с точки зрения реальной материальной базы, на которой они основывались⁴.

Вопрос о том, какой социализм мы построили, сопрягается с другим: какими методами мы его строили?

Решение задач социалистической реконструкции было в значительной степени осуществлено методами «штурма и натиска», за счет гипертрофии насилия и имело форму «революции сверху».

Парадокс исторической ситуации состоял в том, что эти в значительной мере вынужденные, часто ошибочные методы социалистического строительства впоследствии не только были возведены в систему, но и до известного предела укладывались в старое, «донэповское» представление о социализме. А сегодня очевидно, что цена «революционного скачка» конца 20 — начала 30-х годов оказалась необычайно высока. Поэтому-то в современной общественной мысли на первый план и выдвинулась проблема альтернатив развития нашего общества в тот период.

МОГ ЛИ СТАЛИН ДИКТОВАТЬ ИСТОРИИ ЗАКОНЫ, ИЛИ КАК В НЕДРАХ НЭПА ЗРЕЛО ЕГО ОТРИЦАНИЕ?

В исторической памяти народа режим личной власти Сталина оказался навсегда связанным с судьбой нэпа. Одно переплелось с другим — это очевидно. Гораздо менее очевидна действительная связь этих двух явлений. Вряд ли можно удовлетвориться простым ответом: Сталин по злему умыслу свернул нэп, чтобы использовать сложившуюся ситуацию для воплощения своих представлений о социализме и утверждения личной власти.

В последнее время серьезные публицисты выводят вопрос о «свертывании» нэпа далеко за рамки аппаратной борьбы, внутрипартийных интриг. Следует достаточно ясно осознавать, что режим Сталина мог паразитировать на объективных социально-экономических процессах, но не определять их. Именно в борьбе за власть Сталин, например, в 20-е годы был вынужден стоять на совершенно определенной позиции, чтобы сохранить ее. Он должен был считаться с мнением большинства, обеспечивать себе это большинство. Причем добиться этого только путем аппаратных интриг Сталин не мог. Люди, поддерживавшие Сталина в те годы, во всяком случае большинство из них, стояли на принципиальных пози-

циях, а не на позициях личной преданности, слепого послушания. Для Сталина важнее было не навязывать ту или иную политику по принципиальным соображениям, а любой ценой удержаться у власти. Сама тактика балансирования и лавирования предполагала, что он проводит ту политику, которая обеспечивала ему поддержку большинства. Так было в 20-е годы. Если в понимании этого мы сумеем в ближайшем будущем продвигнуться вперед, тогда анализ «аппаратных» аспектов борьбы за власть ляжет на реальные социально-экономические основания.

Попытка «вытащить» из исторического процесса борьбу за лидерство в партии и рассматривать ее самостоятельно оставит многие вопросы без ответа. Да, мы знаем о властолюбии Сталина, о его стремлении любой ценой утвердиться у власти, не останавливаясь перед политическими преступлениями. Но он не мог стать поперек потока, перегородить его полностью. Он мог только изменить его направление в достаточно ограниченных пределах. Другое дело, что, определяя политику, вытекающую из объективных потребностей, можно опираться на, грубо говоря, лучшую или худшую тенденцию. И очень часто в выборе методов Сталин опирался именно на эти худшие, реально существующие тенденции. Однако сосредоточение анализа всех проблем на его личности, его стремлении к личной диктатуре, взятое вне контекста социально-экономических и политических процессов, чревато новым типом фатализма, когда приход Сталина к власти рассматривается как главная причина всех последующих событий.

Почему мы все время ставим вопрос об объективных социально-экономических основаниях сталинской политики? Потому, что хотим оправдать Сталина? Нет. Потому, что ищем действительные гарантии от повторения этих событий.

Чтобы уяснить феномен Сталина, феномен сталинизма, режима личной власти, мы должны понимать, что административно-командная система, сформировавшаяся в 30-е годы, зародилась в рамках нэповской экономики. Она, с одной стороны, продолжала традиции «военного коммунизма», но с другой — зрела в рамках самого нэповского общества. Каким же образом из нэпа, с его демократическим потенциалом, ориентацией на личный интерес и т. д., вырастает его отрицание — административно-командная система? Можно ли считать ее полным

отрицанием нэпа, или между ними более тонкая связь? Почему административно-командное отрицание нэпа вырастает из нэпа с гораздо большей легкостью, чем из административно-командной системы вырастает отрицание этой системы в виде теперешней перестройки? С чем это связано?

Глубокое осмысление действительной картины 20-х годов блокирует романтизированное восприятие нэпа, нежелание видеть созревший в рамках нэпа его антипод. Несмотря на трестовский хозрасчет, без сильных административных подпорок изначально не могла существовать государственная промышленность. С момента введения нэпа партия сознательно избегала использования рыночных механизмов во взаимоотношениях между тяжелой и легкой промышленностью. Взаимоотношения между рабочими и администрацией на заводах и фабриках регулировались не работой на конечный результат, не хозрасчетными формами, например коллективным подрядом, а традиционной системой норм, тарифов и расценок. В результате была слаба материальная заинтересованность рабочего в конечных результатах, да и у самого коллектива предприятия заинтересованность носила специфический характер, потому что его прибыль обезличивалась в едином балансе треста. Действовавшая в государственной промышленности система была, образно говоря, хозрасчетом для начальников.

Для рабочих переход от одной системы управления (хозрасчетной) к другой (административно-командной), по сути, ничего не менял. Не чувствуя новую экономическую политику непосредственно на производстве, рабочий класс не стал той социальной силой, которая за принципы нэпа держалась бы и боролась. Да, нэп улучшил материальное положение рабочих, но не проник вглубь, на производство. И когда в 1927 г. обострились социальные проблемы, возникли продовольственные трудности, когда в 1928 г. начали вводить «заборные книжки» (карточная система снабжения продуктами), индустриального рабочего к «традиционному» нэпу уже ничто не привязывало.

Более того, в конце 20-х годов административные методы — зародыш будущей административно-командной системы — как раз и создавали для рабочего класса систему определенных социальных гарантий. Парадокс? Только на первый взгляд. Надо учесть, что доведенный до рабочего места хозрасчет в той или иной мере поста-

вил бы материальное положение рабочего класса в зависимости от стихии частного рынка. Административное вмешательство государства в экономику, когда оплата производилась не по конечному результату работы коллектива, а за выполнение определенных операций, по нормам и тарифам, освобождало рабочих от последствий неизбежного в условиях хозрасчета хозяйственного риска. Поэтому и сам рабочий класс требовал гарантировать его интересы административным путем. Отдельные слои, главным образом новички на предприятиях индустрии, стремились даже к утверждению уравнительности в оплате труда, что и было частично реализовано в ходе тарифной реформы 1928 г.

Казалось бы, абсолютно привязанной к нэпу силой было крестьянство. Но так ли это? 35 процентов крестьян, освобожденных от уплаты сельхозналога, пролетарские, полупролетарские, люмпен-пролетарские и бедняцкие элементы деревни — были ли они заинтересованы в сохранении нэпа? Те льготы, классовые гарантии, которыми пользовалась деревенская беднота в 20-е годы, гарантировались ей непосредственным государственным вмешательством в экономику. Были ли привязаны крестьяне к нэпу не через стихию частного рынка, а через различные госкапиталистические формы — прежде всего низшие формы кооперации? Казалось бы, да. Но за массовым развитием этих форм в 1925—1927 гг. руководители сельскохозяйственной кооперации видели «огосударствление» кооперации. Они даже считали, что в 1927 г. кооперативное движение уже представляло из себя нечто новое, в отношении чего трудно применять слово «кооперация», что необходимую степень соединения частного торгового интереса с общим еще не совсем удалось найти на практике.

Некоторые партийные руководители еще в начале 20-х годов поняли, что в принципе нэп может прийти к собственному отрицанию⁵. Сама по себе возможность прорастания из нэпа административно-командной бюрократической системы вполне осознавалась⁶. И главное уже состояло не в том, насколько теоретически ясен был этот вопрос (правда, не все деятели партии усвоили его в полной мере), а в том, чтобы на каждом этапе социалистического строительства, в связи с постановкой новых проблем, соблюдать верную пропорцию между тем, что пролетарское государство в состоянии «переварить», подчинить своему прямому регулирующему воздействию,

и тем, что такому воздействию поддается слабо или не поддается совсем. Смещение пропорций могло привести либо к нарастанию реставрационных тенденций, таило в себе угрозу диктатуре пролетариата, либо к возникновению административно-командной системы, которая уничтожит нэп, создаст совершенно другую социально-экономическую ситуацию в стране, потребует огромных жертв и издержек.

В 1925 г. в центре внутривнутрипартийной дискуссии в конечном счете и оказался вопрос о том, как оценить существующую на данный момент пропорцию, соотношение регулирующего воздействия государства и стихии частного рынка. В острой борьбе фактически обсуждалась проблема зрелости элементов социалистической экономики середины 20-х годов. Конструктивные элементы были в позиции обеих спорящих сторон. В анализе «новой оппозиции» это было указание на источники грядущих кризисов нэпа как результата переоценки реальных возможностей пролетарского государства влиять на стихию частного рынка. В позиции Бухарина — стремление сохранить такие пропорции между регулирующим воздействием государства и развитием мелкотоварного производства в деревне, при котором государство не будет брать на себя излишне много и его регулирующее воздействие не перерастет в малоэффективную административно-командную систему. Однако верные решения, судя по тому, что предсказания «новой оппозиции» о грядущих кризисах сбылись, не предложила ни одна из сторон. Кризисы продолжались и по своей силе увеличивались.

«Новая оппозиция» фактически предлагала сознательно переместить пропорции между государственным регулированием и рынком настолько, что это неизбежно бы породило административно-командную систему и весь тот спектр отрицательных последствий, который ей сопутствует. Однако была ли в тот момент безошибочной позиция Бухарина и Сталина? Они в значительной степени отметили верные предостережения представителей «новой оппозиции» о нарастании кризисных явлений, положились на полуавтоматическое функционирование нэпа и в конкретных практических действиях исходили из того, что пролетарское государство в целом овладело механизмами рынка. Такая оценка ситуации в конечном счете привела к тому, что стихийные элементы нэпа начали оказывать деструктивное влияние на экономику в

целом. Пропорции сдвинулись в сторону расширения стихийных начал рынка, а это, в свою очередь, было чревато тем, что пролетарское государство, стесненное в своих действиях, попытается восстановить утраченные позиции за счет форсированного административного вмешательства в экономику, за счет своего рода скачка, которым в конце концов и стала сталинская «революция сверху».

Итак, крайности позиции оппонентов 1925 г. в отдаленной перспективе смыкались. Поиск верной политики предполагал использование рациональных элементов, содержащихся в предложениях обеих спорящих сторон. Однако сейчас для нас важно признать другое. Возможность перерождения нэпа в административно-командную систему была заложена в объективной реальности самого нэпа. Это понимал Бухарин. Это понимали его оппоненты. И эта возможность в итоге превратилась в действительность.

Для того чтобы расширить экономическую сферу, регулируемую пролетарским государством, не превращая регулирующие механизмы в неэффективную административно-командную систему, нужны были новаторские действия. Однако на деле, как нам представляется, решения 1925 г. уже закрутили пружину административно-командной системы внутри нэповского общества. Чтобы она распрямилась, достаточно было... начать индустриализацию, опираясь на слабую базу индивидуального крестьянского хозяйства, запустить механизм «перекачки» — неэквивалентного обмена между государственной промышленностью и мелкотоварным сельскохозяйственным производством. Этот неэквивалентный обмен при определенных условиях был способен дестабилизировать неустойчивое равновесие «классической» нэповской экономики, расширить действие административно-командных методов. Чтобы приостановить стихийное развитие этого процесса, требовался перевод индустриализации на новые социально-экономические основания. Однако решение об индустриализации в 1925 г. исходило из возможностей «классического» нэпа. «Критическая точка» 1925 г. была пропущена. Начал раскручиваться маховик накопления противоречий, в конце концов разрешившихся утверждением административно-командной системы репрессивного типа.

Силы, способные «свернуть голову» нэпу, созрели в самом нэповском обществе. Джинн сидел в бутылке. Но чтобы он вырвался из бутылки, нужно было, чтобы резко обострились все противоречия, наступил кризис.

Такой кризис разразился в 1927/28 г. Он начался с привычных уже к тому времени и потому не вызвавших поначалу особой тревоги сбоев в проведении хлебозаготовок.

БЫЛ ЛИ КРИЗИС?

Оценка хлебозаготовительного кризиса 1927/28 г. является узловым моментом сегодняшних дискуссий о «свертывании» нэпа и его исторической судьбе. Если этот кризис был подготовлен исключительно конъюнктурными ошибками, связанными с установлением низких цен на хлеб, неудачно проведенной хлебозаготовительной кампанией в целом, или если допустить, что Сталин просто ввел в заблуждение партию, то все дело в совершенно волюнтаристской акции, направленной на «свертывание» нэпа.

Поставим вопросы прямо. Был ли в деревне хлеб в 1927 г.? Да, хлеб был, хотя урожай 1927 г. оказался ниже, чем в предыдущем году. Сводится ли существо проблемы к тому, был ли в деревне хлеб или его не было? Нет, не сводится! Ибо с того момента, как снабжение городов хлебом и обеспечение экспортных операций было поставлено на рыночные основания, проблема хлебозаготовок оказалась связанной уже не только с размерами урожая, но прежде всего с тем, в какой мере удастся заинтересовать крестьян в быстрой продаже зерна. (До 1924 г. значительная часть хлеба поставлялась государству по налогу, минуя рыночные механизмы.) Делать это удавалось все с большим и большим трудом. Прежде всего в силу товарного голода. (В 1927 г. уже в августе в связи с пронесшимися слухами о войне товарные запасы были в значительной мере выбраны.) В этой ситуации основным продавцам товарного хлеба было выгодно дожидаться более высоких хлебных цен — продавать его немедленно не было стимула. Достаточным количеством товарной массы, способной реально стабилизировать хлебозаготовки, государство не располагало.

Таким образом, проблема «закупорки» государственных хлебозаготовительных сосудов уже не была напрямую связана с количеством хлеба. Урожай влиял прежде всего на уровень цен. Были ли высокими государственные цены? Нет. В начале хлебозаготовок 1927/28 г. они были низкими, и это ухудшило ситуацию. Однако не следует, на наш взгляд, переоценивать значение этого фак-

та. Объем той денежной массы, которую государство могло реально направить на закупку зерна, был ограничен. Конечно, можно было повторить операцию 1925/26 г., когда хлебозаготовители получили такое количество денег, что червонец, по мнению наркома финансов Сокольникова, превратился в «качающуюся» валюту⁷. Хлебозаготовителям можно, конечно, было выдать и больше денег. Но каково было бы их золотое и товарное обеспечение? Словом, механическое увеличение цен на хлеб неизбежно привело бы к нарастанию инфляционных процессов и усилению товарного голода.

Другой момент сегодняшней дискуссии. Указание на то, что кризисы хлебозаготовок были и до 1927—1928 гг. Например, при закупке урожая 1926 г. Да, тогда эти трудности удалось преодолеть. Можно ли было точно так же выйти из положения и теперь? Очень трудно. Почему? В первую очередь потому, что, по оценкам ряда видных партийных деятелей, и в частности Г. Каминского, выход из кризиса хлебозаготовок 1926 г. был обеспечен за счет «свертывания» нэпа в сфере оборота, применения методов «военного коммунизма»⁸. Нэп уже был однажды «свернут» на короткое время. Об этом эпизоде пока никто не пишет и никто не вспоминает. А следовало бы.

Нам представляется, что указание на раздутость, искусственность кризиса 1927/28 г. в области хлебозаготовок по крайней мере нуждается в очень и очень серьезной критической проверке. Ведь в январе 1928 г. все партийное руководство, в том числе Бухарин, Рыков и Томский (об этом не следует умалчивать), единодушно проголосовало за чрезвычайные меры. Значит, ситуация оценивалась как крайне серьезная, фактически безвыходная.

Позднее, в апреле 1929 г., анализируя причины хлебозаготовительного кризиса, Бухарин пришел к выводу: в 1925—1927 гг. хлебная проблема была упущена из поля зрения⁹.

КАК ПОСТУПИЛ БЫ ЛЕНИН?

Последуем вопросу, который обычно ставят сегодня публицисты. Какую политику проводил бы Ленин, если бы он жил дольше?

Ленинские представления о социализме как строе цивилизованных кооператоров пока что восстановлены нами в самых очевидных вещах. Проблема сущности кооперации, вопрос о том, с какого момента ее можно считать

социалистической и можно ли в условиях переходного периода все ее формы относить к социалистическим,— эти проблемы пока остаются открытыми. В современной литературе встречаются определенное отождествление первичных, низших форм кооперации 20-х годов с социализмом, тенденция рассматривать их как собственно социалистические, а следовательно, чуть ли не как альтернативу колхозам. Если мы обратимся к Ленину, то увидим у него более сложное понимание проблемы кооперации, особенно ее низших форм. Кооперация, пишет он, есть все необходимое для построения полного социалистического общества. Но тут же оговаривается: это еще не построение социалистического общества, а лишь необходимое и достаточное для его построения¹⁰.

Подчеркивая, что при существующем строе кооперативные предприятия не отличаются от предприятий социалистических, Ленин вводит совершенно четкий критерий их социалистичности: если кооперативные предприятия основаны на земле, принадлежащей государству, и при средствах производства, принадлежащих государству, то есть рабочему классу. Таким образом, для Ленина чисто социалистической формой являются кооперативы с обобществлением средств производства. Низшие формы кооперации фактически находятся на различных этапах движения к социалистическому идеалу.

О том, что Ленин и в 1923 г. не относил любую кооперацию к социалистической, свидетельствует его принципиально важная мысль: государственная поддержка кооперации не может быть сведена к поддержке любого кооперативного оборота, а только такого, в котором действительно участвуют действительные массы населения¹¹.

Значит, Ленин видел, что кооперация может выступать и в форме замкнутого объединения мелких хозяйчиков, которому в государственной поддержке должно быть отказано. Примерно так поясняла эти ленинские суждения Н. К. Крупская, выступая на XIV съезде ВКП(б)¹². Кроме того, Ленин ставил вопрос не просто о росте кооперации, тождественном росту социализма, а о цивилизованных кооператорах. Цивилизованность предполагает выход кооперации на очень высокие рубежи. И конечно, с этих позиций, позиций цивилизованности и культурности, всю кооперацию 20-х годов нельзя рассматривать как чисто социалистическую.

А какое значение имеют эти несколько отвлеченные рассуждения для понимания альтернатив? Есть основания предположить, что у Ленина выростала концепция нескольких фаз развития по пути нэпа. И второй необходимой фазой, предшествующей собственно социалистической, является фаза кооперативная.

На этом этапе всю кооперацию еще нельзя считать социалистической. Это еще не построение социалистического общества, но его совершенно необходимое условие. На практике в 20-е годы этот следующий этап, этап кооперативного нэпа, «пропустили». Нынешние попытки отождествить низшие формы кооперации 20-х годов непосредственно с социализмом фактически ведут к той же, что и в 1925 г., переоценке нашего строя того времени. Из этих построений выпадает очень важный этап, когда нэповское общество еще не становится социалистическим, оно только выходит на следующую фазу.

Пропустив подготовительный этап создания «необходимого и достаточного» для социализма, страна попала в сложное положение. Ведь кооперация, даже в ее низших госкапиталистических формах, не просто позволяла каким-то образом «стягивать» частный интерес крестьян, но и получить значительные средства на индустриализацию, не нарушая нормальной экономической жизни. Встав после 1925 г. на путь «перекачки» средств на индустриализацию из индивидуального крестьянского хозяйства, партийное руководство уже заложило основы будущих трудностей.

В середине 20-х годов нарастает тенденция к «огосударствлению» кооперации, подрыву ее хозрасчетных начал. Она становится одним из каналов «перекачки». В сентябре 1927 г. прозвучала даже мысль о том, что кооперативное движение представляет из себя нечто новое, в отношении чего трудно применять слово «кооперация», что необходимую степень соединения частного торгового интереса с общим «мы еще на практике не совсем нашли»¹³. В то же время не были сконцентрированы усилия на таком участке сельскохозяйственного производства, как советские и коллективные хозяйства, — результат распространенных тогда представлений, что не колхозы — «столбовая дорога к социализму»¹⁴. Потому их число было небольшим и едва росло, так же как и объем продукции, которую они продавали государству, а в 1926—1927 гг. наметилась даже тенденция к сокращению их доли в сельскохозяйственном производстве. Опреде-

ленная часть средств, которая безболезненно могла быть направлена на укрепление материально-технической базы колхозов, была заморожена в индустриальном долготретье.

И вот тут можно с уверенностью утверждать: Ленин не допустил бы такого серьезного просчета. Ведь решение об индустриализации с опорой на «перекачку» породило парадоксальную ситуацию: «локомотив» индустриального развития страны поставлен на «рельсы», но только спустя два года после этого, на XV съезде партии, был всерьез проработан вопрос о «колесах», на которых этот «локомотив» устремится вперед. Программа плавной трансформации нэпа для задач социалистической реконструкции предусматривала реальные для того времени масштабы вовлечения крестьян в производственную кооперацию. Она ориентировала на постепенность, сбалансированность и взвешенность в определении темпов индустриализации, на укрепление смычки города и деревни и, главное, на достаточно длительное сохранение индивидуального крестьянского хозяйства как основы развития аграрного сектора экономики. В идеале такая программа была реальной и приемлемой для страны. Однако международная обстановка обострилась. Разразился хлебозаготовительный кризис 1927/28 г. Запаса времени для маневра уже не было. Перспективы проведения индустриализации наименее болезненным для крестьян способом предельно сужены.

Рано или поздно, по мере исчерпания ограниченных резервов, «перекачка» (кстати, Ленин вопрос о «перекачке», то есть о неэквивалентном обмене между городом и деревней, вообще не ставил) могла привести к кризису. В итоге страна и попала в «ворота чрезвычайных мер», когда пришлось форсированно создавать производственные формы кооперации — колхозы, в экономическом и социально-психологическом плане повисавшие в воздухе. Одновременно низшие формы кооперации оказались в загоне. Такая социально-экономическая конструкция потому и насаждалась в значительной мере сверху, а не прорастала естественно из деревенской действительности 20-х годов.

Пропуск исторически неизбежной фазы отрицательно сказался на развитии страны. А ведь эта фаза не просто должна была обеспечить «колеса» индустриализации, но и развитие общественных отношений. Между тем в 20—30-е годы в значительной степени был поставлен знак

равенства между индустриализацией и социализмом. Строительство социализма нельзя свести к одной приоритетной задаче, иначе получится не завершенное постройкой здание. Так и случилось. Был пропущен важнейший этап подготовки цивилизованного работника, неизбежно медленного подтягивания культурных предпосылок социализма в его широком ленинском понимании. Пропустив этот этап, попытались компенсировать слабость формационных предпосылок социализма с помощью гипертрофии административно-командных методов. Под влиянием личной позиции Сталина и без того огромная роль принуждения переросла в абсолютизацию «чрезвычайщины» и прямого насилия.

Сейчас мы вынуждены вернуться снова, хотя и на принципиально иной материальной базе, к решению ряда задач того пропущенного этапа. Это задачи экономических методов хозяйствования и управления, развития кооперативных форм, демократизации, повышения «культурности» и цивилизованности. Будь ленинские идеи кооперации во всем их объеме полностью реализованы в свое время, мы, может быть, получили бы искомый сегодня результат гораздо раньше.

В оценках 20-х годов и в оценках нэпа историки все еще исходят из посылки, что в 1925—1927 гг. развитие экономики направлялось в основном в правильное русло. Однако более пристальный разбор «критической точки» 1925 г., возможно, заставит нас отказаться от этого взгляда или, по крайней мере, существенно его уточнить. Может быть, именно в этот момент была и упущена стратегическая возможность сохранить нэп «всерьез и надолго», но уже в измененном, преображенном виде.

Какова же личная ответственность Сталина за допущенные в середине 20-х годов ошибки в оценке ситуации? Прежде всего сказалось то, что Сталин всецело подчинил процесс выработки политических решений борьбе за власть. Именно борьба за власть диктовала ему и выбор сторонников, и политическую позицию, в частности по хозяйственным вопросам. Подчинив все борьбе за власть, он не выполнил главной функции, которая в условиях нашей политической системы лежит на Генеральном секретаре,— способствовать выработке верного решения с учетом всех оттенков мнений.

То же самое произошло и в 1929 г., когда Сталин в значительной степени для того, чтобы вывести из политической борьбы еще трех представителей старой ленин-

ской гвардии, сознательно обостряет противоречия, не пытается найти равнодействующую линию. Свои явные теоретические слабости, неумение увидеть у оппонентов «рациональное зерно», а оно, безусловно, было у Бухарина, Рыкова и Томского, нежелание даже считаться с их готовностью к компромиссам, с их явным стремлением избежать всякой фракционности, оппозиционности Сталин компенсирует «теорией» постоянного обострения классовой борьбы и прямой апелляцией к насилию.

«ЛАКМУСОВАЯ БУМАЖКА» ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ МЕР

Кризис «классического» нэпа стал, по нашему мнению, результатом просчета в оценке социально-экономической ситуации в 1925 г. Этот просчет представлял собой скорее трагическую ошибку руководящего слоя коммунистов, чем результат навязанного Сталиным решения. Партии и народу пришлось преодолевать последствия ошибок, допущенных тогда, когда Сталин еще не имел всей полноты власти, когда решения еще принимались коллегиально, когда Сталина еще поддерживали будущие выразители альтернативы сталинизму — Бухарин, Рыков и Томский.

Первоначальный просчет в оценке возможностей индивидуального крестьянского хозяйства обеспечить форсированную индустриализацию привел к такому обострению напряженности в обеспечении индустриализации, что заставил прибегнуть к чрезвычайным мерам — сначала ситуативно, а затем, под прямым давлением Сталина, систематически. Большинство ЦК оказалось перед очень серьезным выбором: с одной стороны, чрезвычайные меры, с другой — сохранение демократических традиций. Да, выбор был сделан неверно. И нам еще предстоит понять, чем продиктован этот выбор.

В чем же, собственно, суть стоявшей перед партией альтернативы? Что, это был путь с равнением на культурного хозяина, фермерский путь развития сельского хозяйства? У Бухарина, Рыкова и Томского такой взгляд на эти проблемы не прочитывается. Значение производственного кооперирования они понимали. Другое дело вопрос о сроках, вопрос о том, что именно в данный момент должно быть опорой для развития страны — мелкое крестьянское хозяйство и ориентация на него или же форсированное «насаждение» колхозов. На протяжении 1928—1929 гг. происходило постепенное сближение

позиции группы Бухарина с позицией большинства ЦК, которое поддерживало Сталина в то время¹⁵. (Стоит отметить, что это большинство составляли не только те, кто занял свое положение в партии, в ЦК благодаря системе, контролируемой Сталиным, и созданному им, полностью зависящему от воли генсека партийному аппарату.)

Единственным разногласием, оставшимся между группой Бухарина и сторонниками Сталина, было отношение к вопросу о чрезвычайных, административно-насильственных мерах при проведении хлебозаготовок, создании колхозов, раскулачивании¹⁶.

Поддержав Сталина в вопросе о чрезвычайных мерах и отвергнув бухаринскую концепцию о том, что чрезвычайные меры не могут быть системой, то есть постоянным методом воздействия на общественные процессы, члены ЦК фактически уже заложили основу той драмы, которая развернулась на рубеже 20—30-х и в 1937—1938 гг.

Возведение чрезвычайных мер в систему привело к гипертрофии функций исполнительных и карательных органов, их выводу из-под контроля партии. В условиях «чрезвычайщины» Сталин как Генеральный секретарь получил гораздо большую свободу рук. В результате члены ЦК поставили себя в крайне сложное положение. Поле борьбы, на котором они могли оказать сопротивление сталинским методам, стало крайне узким. Однажды вступив на путь чрезвычайных мер как системы, большинство ЦК, поддерживавшее Сталина, вынуждено было идти и дальше по этому пути. В январе 1933 г. Каганович, выступая на Объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б), призывал к активизации карательных мер¹⁷. Раздававшиеся на Пленуме призывы к ужесточению репрессий и более широкому применению расстрелов ни у кого из членов ЦК уже не вызвали открытых возражений. Очевидно, требовалось и немалое мужество, чтобы возразить Сталину и его ближайшим подручным, которые не терпели инакомыслия.

«Теория» обострения классовой борьбы по мере успехов социализма, которая поначалу вызвала принципиальное неприятие группы Бухарина, постепенно завоевывала все больше формальных сторонников в ЦК и укрепляла тем самым позицию Сталина. Члены ЦК не сумели из позиции Бухарина и его единомышленников извлечь рациональное зерно, не отнеслись со всей серьезностью

к предлагаемым им мерам по укреплению революционной законности, правопорядка. Для того чтобы ситуативное применение чрезвычайных мер на рубеже 20—30-х годов превратилось в регулярную систему управления обществом, мало было личной заинтересованности Сталина. В то время он еще должен был получить на это вотум доверия ЦК, который несет коллективную ответственность за принятые решения.

Почему же члены ЦК пошли на это? Безусловно, подталкивала экстремальная обстановка. Но она накладывалась еще и на тревожное, обостренное восприятие действительности, на особый тип революционного мышления. У многих представителей коммунистического авангарда было специфическое отношение к праву, к гражданскому обществу. Даже Рыков, выступая в 1928 г. на Пленуме ЦК, рассматривавшем «шахтинское дело», говорил, например, по поводу ареста немецких специалистов, что партия должна подчинять те или иные процессы вопросам политики, а вовсе не руководствоваться абстрактным принципом наказания виновных по справедливости, что к вопросу об аресте нужно подходить не столько с точки зрения интересов нашей уголовной практики или принципа «справедливости», сколько с точки зрения нашей «большой политики»¹⁸.

Само по себе такое восприятие социальной действительности было, вероятно, неизбежным порождением острых классовых конфликтов, отражением индивидуально- и коллективного опыта коммунистов, вынесенного из эпохи подполья, революции и гражданской войны. В конце 20-х годов фактически произошли серьезные деформации этого типа сознания в сторону мелкобуржуазного революционаризма. Почувствовав, что партия в своей практической деятельности переступает через какой-то принципиальный рубеж, против этой тенденции выступили Бухарин, Рыков и Томский. Поначалу имело место и определенное сопротивление среднего партийного звена, среднего и низшего звена судебных органов, прокуратуры и т. д. (на это справедливо обратил внимание доктор экономических наук О. Р. Лацис¹⁹).

Сопротивление выражалось в более сдержанной практике применения чрезвычайных мер хлебозаготовок, в выступлениях против тех методов, которые в конечном счете привели к голоду 1933 г. Например, в 40 процентах дел, связанных с нарушениями очень жесткого законодательства об охране социалистической собственности

сти, судебные работники на местах давали наказание нарушителям ниже нижнего предела, то есть меньше 10 лет²⁰. Это свидетельствовало, что они руководствовались как раз нормами революционной морали. Крыленко*, говоря об этих случаях на Объединенном пленуме ЦК и ЦКК в январе 1933 г., приводил пример с судьей, который заявил, что у него не поднимается рука давать срок 10 лет за четыре украденных колеса телеги²¹. Выступая с резкой критикой такой «порочной» установки местных работников, Каганович призывал выполнять постановления партии и правительства, а не законы²². Это также не вызвало возражений участников Пленума, равно как и требование о чистке низового звена.

СОПРОТИВЛЕНИЕ СТАЛИНИЗМУ БЫЛО...

Период с января 1933-го по февраль — март 1937 г. был в истории партии и страны очень своеобразным. Он, можно сказать, содержит в себе определенную тайну последующей истории. Здесь необходимо привести сталинскую фразу, которая прозвучала в решениях февральско-мартовского Пленума ЦК ВКП(б) в 1937 г.: «С разоблачением... злейших врагов народа Наркомвнудел запоздал, по крайней мере, на 4 года»²³. Вот эти четыре года и есть период с 1933 по 1937 г.

Почему понадобилась специальная резолюция Пленума о работе органов НКВД? Можно предположить, что начиная с января 1933 г., когда уже в развернутом виде прозвучала выдвинутая еще в конце 20-х годов концепция вредительства как объяснение всех трудностей социалистического строительства, в практическом воплощении этой политики на протяжении следующих четырех лет выявились какие-то отклонения и даже сопротивление. В каких формах оно проявлялось, предстоит еще выяснить. Очевидно, однако, что это сопротивление уже не было направлено прямо против Сталина. Это было скрытое сопротивление гипертрофии насилия. В публичной же политике продолжали раздаваться восхваления вождю.

Нам представляется, что в 1933—1934 гг. обращение к чрезвычайным мерам и возведение их в систему начинает оформляться в своеобразное «двоевластие» на местах. Особенно это касается деревни. С одной стороны,

* При публикации статьи в «Правде» слова Н. В. Крыленко ошибочно были приписаны Кагановичу. За это авторы приносят свои извинения читателям.

создаются политотделы МТС, а с другой — существуют райкомы партии. Между ними постоянно возникают трения. По существу, это трения между чрезвычайными органами и обычными, регулярными. Такого же рода сложные взаимоотношения устанавливаются между парторганами ЦК на заводах и городскими, районными комитетами партии, где также складывается структура, которая явно нарушает обычный порядок. К концу 1934 г. многие члены ЦК на примере политотделов осознают недостаточную эффективность системы «чрезвычайщины». Она вела к сосредоточению хозяйственно-политических функций лишь на очень узких, оперативных задачах, не позволяла охватить ситуацию в целом, обеспечить правильное руководство развитием на всей территории.

На уровне областей, краев и республик также существует параллельно система карательных органов, обеспечивающая в том числе и решение хозяйственных задач путем «изъятия вредителей» и т. д., и обкомы, крайкомы, ЦК, которые должны владеть общей ситуацией и целиком полагаться на «чрезвычайщину» не могут. Складывается ненормальная ситуация в управлении обществом в целом. Ни чрезвычайные органы, ни райкомы и обкомы не могут полностью самостоятельно анализировать и решать социально-экономические проблемы. Возникают трения. По логике надо было упразднить систему существующих партийных органов и полагаться целиком на чрезвычайные органы. Но это значило бы выпустить из-под контроля ряд важнейших сфер социальной жизни. Ликвидировать же чрезвычайные органы, когда выработан курс на решение задач через «выявление вредителей», означало отказ от самого этого курса.

Возможность определенного поворота в политике, связанного со свертыванием политотделов МТС как чрезвычайных органов в деревне, содержали в себе решения ноябрьского (1934 г.) Пленума ЦК. Если в деревне ликвидируется «двоевластие» и райкомы партии «берут верх» над политотделами МТС, то они тем самым «возьмут верх» и над системой чрезвычайных органов, находившихся вне их контроля²⁴. Отметим, что одним из заместителей начальника политотдела был работник ОГПУ. Таким образом, партия предприняла попытку ввести «чрезвычайщину» в какие-то рамки. Во всяком случае, можно предположить, что в конце 1934 г. на Пленуме ЦК умеренная линия в партийном руководстве получила определенную поддержку.

Было принято и решение о создании комиссии по подготовке новой Конституции, что свидетельствует об ориентации на создание правового общества, в котором чрезвычайные меры как система своего воплощения найти не могут. Но вот парадокс истории — принятая в декабре 1936 г. демократическая Конституция была, по сути, перечеркнута чрезвычайными мерами, в реальной практике многие ее положения воплощения не нашли. Тогда почему и зачем она создавалась? Вряд ли все можно списать исключительно на фальшь и лицемерие Сталина. По всей вероятности, само решение о подготовке Конституции было связано и с усилением в то время умеренной линии в партийном руководстве.

Почему же Сталин пошел на определенные уступки умеренным позициям в ЦК? Очевидно, это был маневр с целью добиться переориентации партийных комитетов всех уровней на чрезвычайные меры, подчинения их идеологии «чрезвычайщины», то есть тому, чему они пассивно сопротивлялись. Такой процесс «переключения» и происходит в середине 30-х годов. Вряд ли подобный поворот событий могли предположить сторонники умеренной политики, выступившие за ликвидацию политотделов МТС. Но и надежды Сталина и его окружения на быструю переориентацию партийных комитетов, видимо, не оправдались. Тогда и был заострен вопрос: а те ли кадры там сидят? Это вполне в духе того времени. Весьма часто сложные ситуации объяснялись тем, что неправильно расставлены, подобраны кадры и если поставить другие кадры, то дело пойдет лучше.

В результате «передвижки» власти в сторону партийных органов они получили большую власть на местах. Степень контроля сверху стала меньше, свобода действий — шире. На фоне этого неизбежно возникла проблема местничества. Ориентация на подчинение всех ресурсов, всех сил и средств решению узких, приоритетных задач не могла не вступить в противоречие с интересами мест. Снять это противоречие можно было путем соединения хозяйственных, экономических интересов. Но оптимальный механизм создать не удалось. Местничество росло, и в политическом плане его выражением становятся местные «культы» и «культики», в которых потом, на февральско-мартовском Пленуме ЦК ВКП(б) в 1937 г., обвинят ряд руководителей.

Но здесь есть и другая сторона. Думается, и решения самого Пленума, и последовавший за ним разгул

репрессий можно рассматривать как преступную попытку Сталина окончательно утвердить свой личный диктат, паразитируя на реально существующих противоречиях между «аппаратом» и массой, между местными интересами и интересами центра, разрешить их «раз и навсегда» путем слепого подчинения и подавления всякой самостоятельности.

Решающий акт трагедии партии и народа начался еще раньше, в конце 1934 г., после убийства С. М. Кирова. Вновь восстанавливается «чрезвычайщина», только что ограниченная ноябрьским Пленумом ЦК, происходит расправа с бывшими оппозиционерами, совершаются массовые аресты, в немедленное исполнение приводятся смертные приговоры — словом, начинается явное ужесточение линии на чрезвычайные меры. К началу 1937 г. произошло резкое нарастание полномочий чрезвычайных органов, они вышли из-под контроля партии. Она перестает контролировать ситуацию. Тем не менее на февральско-мартовском Пленуме ЦК в 1937 г. еще встречаются последние эпизоды сопротивления и борьбы. В сущности, именно после него начинается уничтожение партийных кадров в широких масштабах. Следует, вероятно, связать начало массовых репрессий с тем, что Сталин решил расправиться с членами ЦК, руководителями среднего и низшего звена, многие из которых (в основном в неявной форме) сопротивлялись чрезвычайной системе, выступали за нормализацию обстановки. Будучи сами сторонниками жесткой линии, сторонниками Сталина, принять в полном объеме складывающуюся систему они не могли. Поэтому их судьба была решена, они были отстранены от руководства, большинство их репрессировано.

Сталину удалось создать своеобразную административную систему. «Нормальная» административная система, формально «обогащая» руководителя (как это было, к примеру, при Брежневе), фактически подчиняет его себе. Такого рода система не обладает динамичностью и ведет к застою. Сталин же ориентировался на динамизм, на высокие темпы, и этого у него не отнимешь. Для того чтобы подстегивать, подхлестывать административную систему, он должен был держать аппарат под постоянным нажимом не только сверху, но и снизу. Извращенной формой такого «контроля» стали в 30-е годы постоянные призывы к массе выявлять двурушников, троцкистов в руководящей сфере.

Парадокс ситуации, на наш взгляд, состоял в том, что очень часто Сталин и его сторонники, например Жданов, выступали с призывами к большей демократизации внутрипартийной жизни, отказу от практики кооптации, назначения, заорганизованности при проведении выборов в руководящие органы партии²⁵. На деле же под флагом демократизации внутрипартийной жизни легче было произвести замену старых руководителей на местах новыми людьми, которые беспрекословно будут проводить указания сверху, а не заниматься «самодеятельностью».

По-ленински ориентироваться на массу Сталин не мог, поскольку это предполагало развертывание демократических механизмов и такого контроля снизу, которые исключали личный режим власти. Он апеллировал к массе с иной целью: создать условия, необходимые для смены отработавшего свое руководства, чтобы вновь пришедшие руководители, быстро овладев ситуацией, обеспечили новый рывок. Это была не имеющая ничего общего с ленинскими представлениями, чисто сталинская модель обеспечения динамизма экономического роста. На самом же деле эта модель, даже если абстрагироваться от ее негуманного характера, была неэкономична. Она постоянно создавала в обществе параличные ситуации.

Очевидно, что процесс уничтожения кадров вышел из-под контроля и количество жертв во много раз превысило тот рубеж, который был, если так можно выразиться, необходим лично Сталину. В созданной им системе общества, которое возникло в те годы, насаждение атмосферы страха было, конечно, неотъемлемым компонентом, но масштабы устрашения, его жестокость парализовали волю людей, приводили к моральной деградации. Смена кадров, приобретающая характер массовых репрессий, вела к тому, что многие руководители просто переставали думать, ориентируясь только на верхи.

Волна стихийного репрессивного процесса — результат сталинского подхода к преодолению разногласий в партийном руководстве и инакомыслия в обществе — не позволяла нормально управлять партией и страной. Видимо, Сталин это понимал. И поэтому время от времени по его инициативе, о которой обязательно становилось известно массам, происходили своего рода «откаты», в сознание людей вселялись новые иллюзии: волна репрессий кончена, все враги уничтожены, и можно работать

нормально. Без этого Сталин и созданная им модель действовать не могли. Это не просто лицемерие с его стороны, а сознательный политический маневр, направленный на восстановление разрушенной страхом работоспособности кадров.

ЧЬИ КЛАССОВЫЕ ИНТЕРЕСЫ ВЫРАЖАЛ СТАЛИН?

В нашей публицистике последнего времени в различных формах, порой весьма экстравагантных, поставлена проблема узурпации власти Сталиным. Не касаясь всего разнообразия мнений по этому вопросу, отметим: сама постановка проблемы возвращает нас к принципиальным марксистско-ленинским идеям о социологии власти, об опасности правительственной или личной узурпации классового господства, выводит на новый уровень понимания политической истории советского общества. Активно разрабатывается и конкретная история борьбы за власть в 20—30-е годы. Здесь уже накопился изрядный ворох вопросов. Прежде всего, изменяется ли характер самого строя в результате узурпации власти? Можно ли сказать, что сталинский режим не выражал интересов рабочего класса? На эти вопросы ищет сегодня ответы наша общественная мысль.

Уже в первые годы Советской власти возникла ситуация, когда Советы, как говорил Ленин, стали органами «для трудящихся», но не «через трудящихся»²⁶. Реальный уровень цивилизованности и культурности рабочих и крестьян ставил пределы демократии. Известное, а в ряде ситуаций очень значительное ограничение демократии (например, закрепленное Конституцией РСФСР 1918 г. непропорциональное представительство рабочих и крестьян в высших органах Советской власти, лишение избирательных прав по классовому признаку и т. п.) было в то время неизбежно и необходимо. Ленин считал, что государство такого типа будет постепенно отмирать. Сталин же ориентировался на всеобъемлющий контроль государства во всех сферах жизни, включая семью.

Реальный механизм функционирования власти в мелкокрестьянской стране, в одиночку строящей социализм, сопровождался неизбежной концентрацией всех рычагов управления в руках ЦК и Политбюро. Очевидна и особая роль старой партийной гвардии в механизме власти.

В начале 20-х годов В. И. Ленин, говоря о демократизации нашего политического строя, укреплении законности, вовлечении в деятельность руководящих партийных органов представителей кадрового ядра рабочего класса, нигде не ставил вопрос о передаче полномочий старой гвардии в принятии тех или иных принципиальных решений и выработки партийной политики для управления широкими массами. Речь шла о сохранении единства этого «тончайшего слоя», для того чтобы обеспечить пролетарскую политику партии. Это объяснялось мощным давлением на партию мелкобуржуазной стихии, способной деформировать партийную политику. Таким образом, налицо специфическая форма реализации классового господства рабочего класса.

В 20-е годы, после смерти Ленина, дискуссии в Политбюро и ЦК, отягощенные борьбой за власть, носили очень острый характер. И в этих дискуссиях в конечном счете большинство неизбежно оказывается за Сталиным. Почему? Раскол старой гвардии, ее идейные разногласия, которые уже не удавалось изживать по-ленински, в рамках внутрипартийной демократии, давали Сталину возможность лавировать и сохранять свой пост, несмотря на то, что оппозиция постоянно обрушивалась на него с критикой, порой весьма справедливой. В идейную борьбу все время примешивался личный момент. Сфера действия системы коллективного руководства, созданной Лениным, все больше и больше сужалась. В нараставшем ожесточении идейной борьбы и борьбы за власть большинство не сумело удержаться на ленинских позициях и прибегло к иным методам разрешения разногласий — к выведению оппонентов из активной политической жизни. Глубокие разногласия между членами Политбюро ставили Сталина, как генсека, в особое положение. Подчинив выработку политических решений борьбе за власть, Сталин благодаря этому положению мог обеспечить себе постоянное большинство в ЦК.

То большинство ЦК, которое сложилось к концу 20-х годов и по принципиальным соображениям поддержало Сталина, по сути дела, и определяло партийную политику. В самой структуре партии сложилась определенная «пирамида» ответственности, компетентности, сосредоточения власти на самом верху. И эта власть была узурпирована Сталиным у тончайшего слоя, которому рабочий класс как бы делегировал право принимать принципиальные решения. Более того, этот слой был

впоследствии физически уничтожен. Вероятно, можно сказать, что Сталин узурпировал право руководящих партийных органов представлять интересы партии и рабочего класса.

Отметим, что Ленина не шокировала сама возможность того, что через диктатуру отдельных лиц может выражаться диктатура революционного класса. А мысль Бухарина («при определенном сочетании условий господство класса может выражаться в личном режиме») вызвала следующее замечание Ленина: верно, но слова «личный режим» имеют какой-то побочный смысл²⁷. К сожалению, именно с таким, мягко говоря, двойным смыслом сформировался личный режим Сталина. Сами по себе цели провозглашенной им политики интересам рабочего класса не противоречили. Именно поэтому его концепция форсированной индустриализации встретила такую поддержку и в рабочем классе, и в партии, и в ЦК. Но сталинские методы достижения исторически прогрессивных целей интересам рабочего класса не отвечали. Порочные методы «зодчего» деформировали здание, вели к отклонению от первоначального проекта, от социалистического идеала.

Многие авторы обращают внимание на то, что молодой рабочий класс нес в себе свое крестьянское прошлое, мелкобуржуазные предрассудки, заблуждения. И Сталин в выборе методов очень часто отражал взгляды именно этой части рабочего класса, точнее, худшую сторону «натуры» его многочисленных новых слоев, в которых растворилось малочисленное индустриальное ядро старой закваски. Вместо того чтобы как-то корректировать всю гамму настроений, интересов различных слоев рабочего класса, направлять их в правильное русло, Сталин часто оказывался пленником, рабом этих настроений. В значительной степени это шло еще с 20-х годов, когда его позиции менялись в зависимости от того, каким способом он может обеспечить себе большинство.

В известном смысле можно сказать, что Сталин со своими представлениями о социализме вырастал из этих отсталых, пережиточных, старых представлений. Не только он «лепил» массовые представления о вожде, но и сама масса новых рабочих «лепила» вождя. Левацкое нетерпение, стремление одним махом разрешить все проблемы вырастали из этой массы. Попытка старой партийной гвардии удержать политику в рамках позиции

индустриального, кадрового ядра рабочего класса не удалась. В молодом рабочем классе уже сформировалась установка на делегирование полномочий при принятии решений «наверх». Такая ситуация изначально создавала очень удобные условия для узурпации власти достаточно узким слоем или «вождем». Это понимал и Ленин. Но он стремился в рабочем классе развивать его лучшие черты, чтобы превратить его в действительно достойного носителя социалистической перспективы. Ленин думал о демократии как школе цивилизованности, опирался на стремление передовых слоев рабочего класса к управлению, к творчеству новых форм жизни. Нельзя сказать, что Сталин игнорировал эти лучшие стороны рабочего класса, он стремился использовать и их в преобразовании страны. Но личный режим Сталина, как особая форма организации политической власти, вырос из других тенденций, также существовавших в молодом рабочем классе,— стремление к авторитаризму, психология «плохо орабоченного мужика» (по выражению Л. Рейснер) ²⁸.

* * *

Какие же уроки можно извлечь сейчас из исторического опыта 20—30-х годов? Вероятно, прежде всего необходимо понимать, что общество в своем развитии проходит этапы, которые можно назвать «критическими точками». Это периоды наибольшей концентрации всех противоречий, противоречий той или иной системы хозяйствования, управления обществом. Момент, когда возможен и необходим переход на какой-то новый тип движения. Момент, когда совершается исторический выбор. Опыт 20—30-х годов показывает, что очень часто самих этих «критических точек» просто не замечали. Их «проскакивали», если они не сопровождались серьезными кризисными явлениями. Очень часто не было теоретического упреждения, которое позволяло бы по каким-то совершенно определенным социально-экономическим, социально-психологическим и политическим симптомам зафиксировать момент перелома.

В 1925 г. такое ощущение перелома попытались выразить Зиновьев в статье «Философия эпохи», многие публицисты того времени. Однако само ощущение переломности отлилось тогда в форму достаточно простого решения. Да, партия приняла курс на индустриализацию. Но решение должно и могло быть принято более

системно, опираться сразу на развертывание производственной кооперации, по крайней мере в зерновом хозяйстве. Этого не произошло. В результате был упущен реальный шанс более «плавной» трансформации нэпа, перевода его в более высокую кооперативную фазу.

Можно считать, что и конец 20-х годов, последний период борьбы с группой Бухарина, это тоже «критическая точка» советской истории. В тот критический момент еще можно было остановиться, понять, что ни в коем случае нельзя было возводить чрезвычайные меры в регулярную систему, в систему управления обществом. Когда же произошел поворот к «чрезвычайщине», тем самым сложилась основная предпосылка для последующих извращений в период коллективизации, массовых репрессий.

По-видимому, критическую точку страна прошла и в 1934 г. В этот период утверждается сталинский взгляд на дальнейшее развитие общества. Правда, в «Известиях» появляется статья Бухарина, в которой он подходит к пониманию хозрасчетных основ социализма, но сама обстановка в партии уже не способствовала широким творческим поискам и смелым постановкам вопросов. И все же тенденция к более уравновешенной политике пробивается. Но силы, стремившиеся проводить трезвую, сбалансированную политику, уже не имели возможности ставить всерьез вопрос об ошибках Сталина, о его смещении с поста Генерального секретаря.

Взгляд на наше прошлое с точки зрения его критических моментов помогает оценить и настоящее. Надо научиться теоретическому предвидению того момента, который требует существенных изменений в политике.

В прошлом очень часто в оценке ситуации слепо подчинялись моделям, выработанным в предшествующий период, хотя эти модели уже становились вредной догмой. Не всякая «критическая точка» сопровождалась поворотом в нашей партийной политике. Опыт показывает, что каждый раз упущенная возможность своевременного поворота в конечном счете приводила к тому, что в этот поворот партия, страна втягивались через кризисные явления, а то и «через ворота чрезвычайных мер». 1929 г. — прямое этому свидетельство.

Значит, если в критический момент, поворотный момент не выносить исторически назревающую проблему в плоскость практической политики, если продолжать дей-

ствовать по старинке, противоречия неизбежно обостряются, начинается тот процесс, который в философии называют саморазрешением противоречий. В этом случае нарастают стихийные процессы, с последствиями которых все сложнее и сложнее справиться. Резко повышается и цена последующих преобразований, когда приходится из неблагоприятной позиции выходить на решение тех проблем, которые еще несколько лет назад могли быть решены гораздо меньшей ценой. А когда мы уже оказывались в сложном положении, состоянии кризисном или предкризисном, часто возникало стремление разрешить все проблемы за счет насилия, административного нажима и т. д. Конечно, потом историческая закономерность все равно пробивает себе дорогу. Но чем позднее спохватывались, тем большим был соблазн насилием, волевыми усилиями компенсировать слабости самой программы дальнейшего движения и тем большим был понесенный ущерб.

Так или иначе сегодняшняя историческая дискуссия выходит на проблему гарантий — гарантий необратимости перемен. Как выразился один из публицистов, общество должно останавливать не очень компетентную личность за шаг до того, как она достигнет пика своей некомпетентности. Но многим кажется, что проблема гарантий — это проблема, так сказать, организационно-политическая, что достаточно запустить определенные механизмы, и они сработают чуть ли не автоматически. Между тем эта проблема все-таки социально-политическая. Она замыкается на самом человеке, его культурности, цивилизованности, гражданском достоинстве и самосознании. Она напрямую связана с экономическими основами, которые формируют тот или иной политический режим, политическую форму.

И здесь, конечно, очень важно понять диалектику взаимодействия социально-экономического развития общества, соответствующей ему политической системы и человека. Политическая система в 30-е годы действительно могла быть иной, не рождать личный режим Сталина и уж тем более не вести к массовым репрессиям. Но мы неизбежно должны признать и другое. Очевидно, уровень цивилизованности нашего общества в то время оказался все-таки недостаточным для того, чтобы противостоять этим явлениям, создать им эффективный демократический противовес. Культуры не хватило, говоря словами Ленина, не только рабочим и крестьянам, но и тому слою

коммунистов, которые управляли страной. И ответ на сегодняшний вопрос о судьбах перестройки тоже в ленинских словах: «Обеспечен успех, если хватит? чего? **культурности!!!**»²⁹ Эта культурность включает в себя отнюдь не только наличие у всего населения страны свидетельств об окончании средней школы, но и прежде всего трудолюбие, совесть, навыки реального демократизма, гуманистическое отношение к жизни, к людям. Она может быть сформирована лишь в результате действительного участия масс в выработке принципиальных политических решений, в повседневном управлении производством, делами общества.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 376.
- ² Там же. Т. 34. С. 192.
- ³ Там же. Т. 45. С. 434, 432.
- ⁴ Известия. 1934. 12 мая.
- ⁵ Бюллетень IV Конгресса Коммунистического Интернационала. 1922. № 14—15. С. 10.
- ⁶ См. там же.
- ⁷ См.: ЦПА ИМЛ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 220. Л. 42.
- ⁸ См. там же. Д. 276. Вып. 1. Л. 55.
- ⁹ См.: Бухарин Н. И. Проблемы теории и практики социализма. М., 1989. С. 278.
- ¹⁰ См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 370.
- ¹¹ См. там же. С. 371.
- ¹² См.: XIV съезд Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков): Стенографический отчет. С. 162.
- ¹³ См.: ЦПА ИМЛ. Ф. 631. Оп. 2. Д. 36. Л. 46.
- ¹⁴ См.: XIV конференция РКП(б): Стенографический отчет. С. 188.
- ¹⁵ См.: Заявление Бухарина, Рыкова, Томского на ноябрьском (1929 г.) Пленуме ЦК ВКП(б) // Документы свидетельствуют: Из истории деревни накануне и в ходе коллективизации. М., 1989. С. 274—282.
- ¹⁶ См. там же.
- ¹⁷ См.: ЦПА ИМЛ. Д. 17. Оп. 2. Д. 514. Вып. 2. Л. 20.
- ¹⁸ Там же. Д. 354. Вып. 2. Л. 4.
- ¹⁹ См.: Лацис О. Р. Перелом // Знамя. 1988. № 6.
- ²⁰ ЦПА ИМЛ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 514. Вып. 2. Л. 20.
- ²¹ Там же.
- ²² Там же.
- ²³ Там же. Д. 613. Л. 13.
- ²⁴ См.: ЦПА ИМЛ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 536. Л. 25, 29, 31.
- ²⁵ ЦПА ИМЛ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 612. Вып. 1. Л. 42.
- ²⁶ См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 38. С. 170.
- ²⁷ См.: Ленинский сборник XL. С. 412.
- ²⁸ Рейснер Л. Избранные произведения. С. 410.
- ²⁹ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 411.

«РЕВОЛЮЦИЯ СВЕРХУ» И ТРАГЕДИЯ «ЧРЕЗВЫЧАЙЩИНЫ» *

Некоторое время назад многим казалось: история второго послеоктябрьского десятилетия хорошо известна. Его узнаваемые черты — «штурм и натиск» первых пятилеток, индустриальные гиганты, эпопея спасения челюскинцев, незабываемые подвиги советских авиаторов, энтузиазм ударных бригад и рекорды стахановцев, ликвидация безработицы... Но была ли в этом вся правда тех лет? Далеко не вся. Теперь перед нами полнее раскрылись и трагические страницы.

Сложнейшее десятилетие. Его диалектика такова, что долго еще историки, политологи, социологи будут изучать феномен массового порыва, переросшего в трагедию, пытаться уяснить социальный алогизм фактов и ситуаций, в которых энтузиасты нового строя могли превратиться в жертвы сталинского беззакония.

У этих лет своя привычная символика. Магнитка и Днепрогэс, Комсомольск-на-Амуре и Сталинградский тракторный, Московское метро и Горьковский автозавод... Память каждого из нас может добавить в такой ряд еще немало столь же знакомых адресов. Но мы не хотим касаться очевидного и выбираем для себя угол зрения, может быть, и кажущийся узким; однако достаточный для того, чтобы увидеть по-иному, в иной окраске известное и не очень известное прошлое.

Повторим, мы узнаем сегодня многое полнее. И все же нынешние дни перестройки, гласности, возвращения истории — не только время факта. Это время осмысления. Массовое историческое сознание переживает кризис. Его суть можно выразить словами Бориса Пастернака:

Чреду веков питает новость,
Но золотой ее пирог,
Пока преданье варит соус,
Встает нам горла поперек.

То, что поэт имел в виду под «соусом преданья», для современного исследователя — историографическая традиция. Она создается на наших глазах. Наверное, никто здесь не стал бы претендовать на окончательные ответы. Речь в данном случае идет об осмыслении событий 20-х и 30-х годов, критических моментов чрезвычайного для страны десятилетия, драматизма политических решений,

* Опубликовано: Литературная газета. 1988. 12 окт.

создавших тот образ советского общества, в котором бесспорным достижением на пути утверждения нового строя сопутствовали грубейшие деформации и нарушения социалистических принципов.

КОНЕЦ 20-х: НАСТРОЕНИЯ

Второе послеоктябрьское десятилетие начиналось тревожно. Многие, вероятно, уже почувствовали, что в предстоящие годы на их долю выпадут суровые испытания. Однако действительного драматизма событий не предвидел никто. В народной массе наиболее остро и непосредственно воспринимались те противоречия, с которыми столкнулось наше общество в конце 20-х годов. Грянул кризис хлебозаготовок. Сначала ситуативно, а потом регулярно стали применяться чрезвычайные меры для того, чтобы получить зерно — главный источник обеспечения страны валютой, необходимой для импорта промышленного оборудования. В партии нарастала борьба против тех методов, которыми Сталин и его сторонники стремились обеспечить решение исторически прогрессивных задач.

Но что же думали те, кто не определял политику непосредственно, но ощущал на себе ее результаты и своими настроениями, своим экономическим поведением, мнением в той или иной мере влиял на политическую практику?

«Верхи» постоянно получали различного рода материалы, в которых суммировались данные ОГПУ и других органов о настроениях масс. Эти материалы известны пока плохо даже специалистам и недоступны широкой публике. Но есть не менее интересные материалы, не уступающие по информативности сводкам ОГПУ. Это такой поистине уникальный источник, как сочинения школьников. Одна из подборок ученических тетрадей, найденных историком Е. Семеновой, была объединена темой «Как я провел каникулы». Время — зима 1929 г. Приведем некоторые выдержки из этих сочинений:

«Одним вечером у нас собрались старухи пить чай и разговаривали о хлебе, некоторые говорили, что хлеба не будет совсем и из Москвы хлеб на поездах возить будет запрещено, и в кооперации хлеба будут давать очень помалу, другие же говорили, что хлеба будет много и не нужно будет ездить в Москву за хлебом».

«Еще у меня происходили стычки с мужиками насчет

бога. Я с товарищами разъяснял, что бога нет, что человек произошел от маленькой клеточки, а они все это объясняли, что человека создал бог... но, когда мы все-таки настаивали на своем, они злились и говорили: «Раньше в бога верили и хлеб был, а теперь не верят в бога, вот хлеба и нет». Или еще так говорили: «Ступайте в пионеры-то свои, там и кормитесь».

«Я часто слышала разговор меж крестьян насчет хлеба, они ругали Советскую власть, что она гораздо хуже, даже нечего есть... Я даже слышала от одной старухи, она говорила, что через несколько лет опять будут везде цари».

«Еще во время отпуска я слышал старушечий разговор. Хорошо не помню, о чем я говорил со старушкой, но, кажись, про социализм. Старушка стала со мной спорить: «Социализм, может, будет через лет 50, потому что у нас народ нечестный». И стала она мне примеры приводить».

«В деревне я слышал разговоры про войну, про хлеб. Говорят, что большевики боятся войны, вот они весь хлеб и отдают, но, несмотря на хлебные взятки другим державам, говорит кулак, война уже начинается, и когда он ездил в Москву, то видел много вагонов, нагруженных разными снарядами, идущих на фронт».

«Мама спросила у коммуниста, почему недостаток всяких продуктов в потребилровке. А он сказал, вот почему. Раньше в одной деревне ели мясо 5 человек, а 200 не ели мясо. А теперь, при Советской власти, из 200 человек едят все до одного и много берут. А почему нет обуви. Раньше в обуви ходили только к попу в церковь... а теперь везде ходят в сапогах».

Два ключевых слова — ХЛЕБ и ВОЙНА — лейтмотив всех приведенных разговоров зимы 1929 г. Эти разговоры откровенно и бесхитростно были записаны детьми. Однако для взрослых они были отнюдь не так безопасны. Выражение недовольства чрезвычайными мерами, обсуждение слухов о предстоящей войне на базарной площади или на собрании могло быть расценено как антисоветская деятельность. Достаточно было милиционеру вписать фамилию такого разговорчивого в заранее заготовленный бланк, как этот бланк превращался в основной документ для разного рода репрессий.

То, что в ходе хлебозаготовительных кампаний изымается большое количество хлеба, что фактически намечался возврат к продразверстке, часто получало самые

превратные интерпретации. Страна знала, что хлеб вывозится за границу. Но классовые враги, которые в то время отнюдь не исчезли, пускали в ход другое объяснение. Например, что рабочим хлеба достанется мало, так как он пойдет за границу для получения золота и последующего распределения его между коммунистами «ввиду близости конца Советской власти». Такие слухи еще больше усиливали напряженность и сгущали атмосферу в деревне. Они переливались в город и отражались на настроениях определенной части рабочего класса, прежде всего выходцев из деревни.

На собраниях тоже можно было услышать довольно резкие высказывания, которые являлись реакцией на возникшие продовольственные трудности и бесконечные очереди. «Почему мы развиваем так индустрию, раз нет сырья?..—спрашивали рабочие.—От рационализации условия работы хуже, передохнуть рабочему не дают. Делается не так, как нужно делать. Нельзя сразу. Страна земледельческая, а создать промышленность — надо сто лет»¹.

Одновременно с недовольством политикой, которая привела к трудностям, рождается неприятие идей социалистического соревнования, трудовой дисциплины. Звучали и такие слова: «Трудовая дисциплина является насилием рабочего, я протестую против трудовой дисциплины... не верьте этим фанатикам, которые в данное время ходят и проповедуют, они ведут к гибели нас. Будь проклят тот, кто потеет на казенной работе»².

Однако не такие настроения определяли позицию основной рабочей массы. Достаточно убедительно раздавались голоса в защиту разрабатываемых планов: «Пятилетку нам необходимо осуществить во что бы то ни стало. Если мы ничего не будем добавлять к своему хозяйству, мы будем постепенно замирать...»; «Если мы не будем выдерживать темп нашего строительства, мы можем очутиться в когтях капитализма, и даже больше, проиграть революцию»³.

Желание какого-то перелома нарастало в массах все заметнее. Все громче призывы «придумать какой-нибудь зигзаг, чтобы поскорей прийти к заветной цели»⁴. Не считаться с этими настроениями партия не могла. Желание поскорее прийти к заветной цели — это та доминанта общественного сознания, которая оказывала влияние на руководство и на выработку целого ряда политических решений.

Мы сознательно не делаем обобщений из приведенных выше повседневных разговоров конца 20-х годов. Нам бы хотелось, чтобы читатели сами почувствовали разноречивую, разнотонную картину мнений и настроений, на фоне которых приходилось принимать важнейшие политические решения. Итак, хлебозаготовки не идут. Индустриализацию обеспечить не удастся. Недовольство народа растет. Даже тот слой рабочего класса, который поддерживал партию, высказывал сомнения по поводу темпов индустриализации. Доходящие из деревни вести о методах проведения хлебозаготовок вызвали и у него прямые протесты.

НЕРЕАЛИЗОВАННАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Когда рождалась сама идея о том, что можно быстро построить социализм, она опиралась на опыт предшествующего периода. Метод нажима, штурм и натиска оправдал себя в гражданскую войну. И коммунисты помнили, как таким способом они добились победы над врагом. Естественно возникал вопрос: ну а почему, собственно, не применить этот метод к мирному строительству? Многим казалось это вполне возможным. А главное, многие только так и умели действовать. Тонкое, гибкое маневрирование в условиях нэповского общества, в условиях сложной, противоречивой, кризисной экономики требовало, конечно, другого уровня подготовки, другого уровня культуры. Поэтому революционное нетерпение сочеталось у многих еще и с неумением решать возникающие проблемы иначе.

Приплюсуем к тому обостренное восприятие военной угрозы. Не забудем и о наличии эксплуататорских элементов в городе и деревне. Словом, создавался совершенно определенный фон, который благоприятствовал ориентации на «штурм и натиск», на то, чтобы затянуть ненадолго ремни, поднатужиться — и рвануться вперед.

Однако нам хотелось бы предложить читателю несколько иной ракурс и затронуть вопрос о потенциале нэпа, об одной из тенденций, которая тоже реально существовала в нем, но развития не получила. Это имеет особое значение для сегодняшнего времени. В 1926 г. в ЦК ВКП(б) пришло письмо в связи с проводимой тогда в стране кампанией за режим экономии. Его автором был С. Клименко, член партии с 1902 г., из рабочих, имевший опыт партийной, хозяйственной и профсоюзной работы.

В результате длительных размышлений о действовавшем тогда в промышленности хозяйственном механизме он пришел к идеям, близким по духу нашим сегодняшним поискам.

Предложенный С. Клименко проект соотношения централизации хозяйственного управления и самостоятельности отдельных хозяйственных звеньев заключался в следующем: «Внутри производства коллектив производителей становится полным хозяином — самодовлеющей величиной и во всей своей разумной производственной деятельности отчитывается только перед самим собой и перед высшим союзным органом...»⁵ При этом предприятие не передается в собственность трудовому коллективу, а через ВЦСПС особым государственным актом вверяется в «производственное пользование». Государство устанавливает контроль через промышленных инспекторов РКИ, учреждает институт производственных судов, контролирует через «единый общественный кооперативно-промышленный банк» (на его балансе все предприятия) и т. д. «Упразднив централизованную бюрократическую опеку в госпромышленности,— писал далее С. Клименко,— государство тем самым дает толчок к развитию самостоятельности масс». Одна из первейших задач социалистического государства, чтобы «оправдать свое историческое значение — призвание,— разгрузить себя от всего, что без страха и сомнения можно передать обществу»⁶.

В конечном счете весь этот проект означал перенесение кооперативных принципов на госпромышленность. Вопрос о том, почему эта потенция нэповского общества оказалась нереализованной, потребует еще очень долгих и долгих размышлений и изысканий. На наш взгляд, одна из причин заключалась в том, что идея С. Клименко очень плохо «стыковалась» с господствовавшими в то время представлениями о бестоварном социализме, с упрощенными взглядами на характер социалистической собственности, форм обобществления и т. д. Эти теоретические представления в известной мере блокировали развитие идей активизации группового интереса и использования рыночных отношений на новых основаниях между предприятиями госпромышленности, доведения хозрасчета до каждого рабочего места. Отметим также, что страна вступила в новый период через «ворота чрезвычайных мер»⁷. Это активизировало атмосферу «чрезвычайщины». Упрощенные, вульгарные представления

Сталина о социализме еще более усугубили ситуацию. К тому же они наложились на действительную экстремальность обстановки.

С ЧЕМ МЫ ВОШЛИ В 30-е ГОДЫ?

Возведение чрезвычайных мер в регулярный метод социалистического строительства окрасило собой все 30-е годы. На волне «чрезвычайщины» мы вошли в это десятилетие, чуть-чуть не получив крестьянскую Вандею. Только напор жизни заставил Сталина отступить, опять же тактически, а не принципиально.

В результате в годы первой пятилетки мы получили совершенно другое общество, с новыми производственными отношениями в деревне. Правда, они не базировались на необходимой материально-технической базе и поэтому были деформированы в казарменно-коммунистическом духе. Колхозы обеспечили «перекачку» средств в пользу индустриализации, но производительные силы деревни были подорваны. Резкий спад животноводства, разрушение традиционных стимулов, на смену которым еще не пришли новые; слабую организацию труда в колхозах и совхозах пытались восполнить гипертрофией насилия и «погонялкой председателя». Результатом прежде всего безграничной «перекачки» средств из деревни стал голод 1933 г., когда, по более поздней оценке самого Сталина, в стране голодало не менее 25—30 миллионов человек⁸.

Мы вошли в 30-е годы с серьезнейшими деформациями в культуре политического руководства. Нетерпимость к инакомыслию, свертывание внутрипартийной демократии, снижение роли теоретического предвидения в политике, догматизация духовной жизни — все это было дополнено нагнетанием репрессивных функций административных органов и специальных новых образований, созданных для этих целей.

Общий поворот к ужесточению централизации всей жизни сказался, в частности, в сужении прав союзных и автономных республик. Образование Всесоюзного наркомата земледелия было наиболее приметным и наиболее тяжким по последствиям проявлением этого процесса. В начале 1929 г. за подписью Кагановича на места пошла директива, в которой подчеркивалось, что религиозные организации (церковные секты, мусаваллиаты, синагогальные общества и т. д.) являются единственной легально действующей контрреволюционной силой,

имеющей влияние на массы⁹. Этим фактически была дана команда к широкому применению административных и репрессивных мер в борьбе с религией.

В сознании коммунистического авангарда «чрезвычайщина» уже не вызывала того протеста, который она могла бы вызвать, допустим, в 1924 г., когда осуществлялся курс на революционную законность, укрепление авторитета Советов. Она уже воспринималась как определенная норма. Расширялась зона деформации общественного сознания. И дело было не только в усилении славословий вождю. В дневниковых записях А. Коллонтай 1930 г. появляется весьма резкая и трагическая мысль о том, что для молодого поколения коммунизм стал той же догмой, какой являлось христианство с его догматом равенства и братства. Она с тревогой размышляла о тех молодых людях, которые наизусть запоминают передовицы «Правды» и без критики проводят их призывы в жизнь. Некогда мыслить, судить да рядить. Делать надо. И делают. Работают с энтузиазмом¹⁰.

Энтузиазмом, конечно, не были охвачены все. Трудно предположить энтузиазм у тех крестьян, которые были согнаны в колхозы, равно как и тех новых рабочих, которые бежали от коллективизации в города. Этот «недостаток» энтузиазма Сталин попытался восполнить насильем и страхом. Но добиться повышения производительности труда в сложившейся хозяйственной системе можно было прежде всего на энтузиазме, то есть на желании передовых слоев рабочего класса добиться больших успехов, подать пример всем. Даже Сталин как прагматик понимал, что ни в коем случае нельзя лишать людей оптимистического восприятия перспектив, бесконечно оглушать их страхом. «Чрезвычайщина» не могла надолго переступать через определенный предел, не могла не откатываться периодически назад, создавая ощущение нормализации общественной жизни.

Сохранив ориентацию на исторически прогрессивное развитие индустрии, на подготовку к неизбежному в то время столкновению с капитализмом, партия в 30-е годы допустила существенное искажение методов социалистического строительства. Мы наблюдаем и левацкий экстремизм, и мелкобуржуазный радикализм, и революционизм. Короче говоря, 30-е годы, если воспользоваться словами И. Эренбурга, были выкрашены в розовый и черный цвета. Сочетание оптимистического мировосприятия и порыва энтузиастов с трагедией несправедливо

раскулаченных крестьян, массового голода 1933 г., политическими процессами и репрессиями придают этим годам такие необычные цвета.

Раньше мы видели как бы один цвет, сейчас кто-то предпочитает видеть другой и замечает только его. Сочлазнительно сказать, что правда лежит посередине, но это будет неправдой.

БОРЬБА ДВУХ ТЕНДЕНЦИЙ

Известны письма в редакцию «Правды», адресованные Сталину в связи с его статьей «Головокружение от успехов» (март 1930 г.). Разумеется, мы не знаем, были ли они им получены. Вот некоторые выдержки из этих писем.

«Почему т. Сталин до своей статьи не соизволил заглянуть в сочинения Ленина? — спрашивал С. Черкизов (Мечетлинский район). — Легко сказать т. Сталину с высокой колокольни... Лучше всего присмотреться к жизни крестьянина и его заинтересованности в социалистическом строительстве... Один Троцкий опровергал союз с крестьянством, помогая врагам пролетариата. Мы не пошли на удочку Троцкого и никогда с вашим мнением не согласимся». С вопроса начинает свое письмо и рабочий завода «Пресс» Белик (Днепропетровск): «Т. Сталин! ...Виноват ли тот, кто не сумел не послушать создавшегося шума и крика вокруг вопроса коллективизации сельского хозяйства?.. Мы все, низы и пресса, проморгали этот основной вопрос... а т. Сталин, наверное, в это время спал богатырским сном и ничего не слышал и не видел наших ошибок, поэтому и тебя тоже нужно одернуть... Теперь т. Сталин сворачивает вину на места, а себя и верхушку защищает». В письме Р. Н. Чумаченко (г. Березовка Одесской области) уже содержались выводы: «Я не знаю, как партия может терпеть такого типа, который, не зная постановки дела на селе, своими выступлениями заставляет делать два шага назад и один вперед... Пусть живет коммунистическая партия, но без сталинских уставов»¹¹.

Известно несколько эпизодов внутрипартийной борьбы — так называемое дело Рютина, так называемое дело Эйсмонта, Толмачева, Смирнова, которые отражают робкие попытки прямого сопротивления Сталину. Однако следует признать, что такого рода очаги неприятия были немногочисленны. А после убийства Кирова 1 декабря

1934 г. не соглашаться со Сталиным стало, по сути, невозможно. Но, кроме Сталина, был еще сталинизм, политические и идеологические структуры, которые вырастают из «чрезвычайщины», то есть абсолютизации насилия на практике и концепции постоянного обострения классовой борьбы в теории.

«Чрезвычайщина» не просто выростала из экстремальной обстановки конца 20-х годов. Возможность стала действительностью из-за неумения, а потому и нежелания сталинского руководства последовательно пользоваться марксистским инструментом анализа действительности. Это близко к мелкобуржуазной революционности, хотя ее трудно уже назвать «детской болезнью» левизны. Это тяжелая болезнь Коммунистической партии в 30—40-е годы. И сталинизм как система, конечно, не только порождение самого Сталина. Сталин — это выражение сталинизма.

Не вдаваясь в глубины психологии Сталина (вещь трудная для историков — задача скорее художников), можно предположить, что, наверное, и в самом Сталине иногда боролись и сталкивались эти два начала. Он очень часто становился рабом своих решений, но потом как будто спохватывался — вряд ли по личному убеждению, скорее, под давлением необходимости.

Уже в начале 30-х годов стало ясно, что экономика не может больше развиваться в тех чрезвычайных формах, в каких происходила «революция сверху». Нарушен нормальный товарооборот, «свернут» хозрасчет, подорваны производительные силы деревни. Часть сельского населения в порядке раскулачивания этапирована в лагерь или выслана. Там эффективность принудительного труда, ясно, была невысокая. Порыв энтузиастов первой пятилетки тоже нуждался в закреплении — как только дело доходило до работы на сложной технике, а она появилась после строительства новых заводов, выяснилось, что не хватает производственной культуры. Сталинградский тракторный осваивали почти столько же, сколько его строили. Словом, надо было приводить экономику страны в порядок, но уже на иной основе. В 1931 г. ставится задача восстановить хозрасчет, пусть и в предельно зауженных формах, на низших этажах производственной лестницы — цех, бригада. В деревне идет поиск форм материального стимулирования колхозов. Трудодень давал возможность хотя бы ту часть продукции, которая оставалась в распоряжении колхоза, рас-

пределять между его членами в соответствии с трудовым вкладом.

Создается впечатление, что здоровые тенденции начинают пробиваться сквозь «чрезвычайщину». Причем осознание необходимости нормализовать экономическую жизнь характерно как для бывших «правых», так и для бывших «левых». В своих показаниях, данных в 1933 г. в ЦКК по делу Рютина, Зиновьев заявил: «...насколько я могу судить, в последнее время довольно значительной частью партийцев овладевает... неопределенная идея отступления, надо куда-то отступать. Такое представление есть из моих впечатлений, что я читаю и слышу, что есть неопределенная идея отступления»¹². То же подтвердил, приводя эти слова Зиновьева в «Правде», и Молотов¹³. Даже находившийся в это время за границей Троцкий предлагал объявить 1933-й годом «капитального ремонта»¹⁴.

Однако тенденции к нормализации общественной жизни, надо заметить, развивались с трудом. Политика партии в первой половине 30-х годов противоречива. Чрезвычайный метод уже освоила значительная часть руководителей среднего и низшего звеньев. Он прост в осуществлении, сориентирован на исполнение команд, избавляет от личной ответственности. В то же время многие из секретарей обкомов и крайкомов партии понимают, что такие методы в конечном итоге ведут к притуплению большевистского чутья, ослаблению важных и ценных революционных традиций, потере вкуса к настоящей партийной работе. Более того, они с горечью признают, что, боясь ошибиться, перестали честно и прямо высказываться по тем или иным проблемам партийной политики. В 1937 г. секретарь Днепропетровского обкома Хатаевич откровенно говорил о том, что многих вопросов о недостатках, упущениях и трудностях он перед ЦК ВКП(б) как следует не ставил, не сигнализировал потому, что косо на тебя посмотрят, не так тебя поймут¹⁵. Совсем не там, где указывали Сталин и его окружение, предлагал искать причины вредительства директор Магнитогорского комбината Завенягин. Все злоупотребления будет легче вскрыть, считал он, если мы сосредоточим внимание на проблемах бесхозяйственности, нашего отставания от заграничных предприятий, существующих диспропорциях в планах¹⁶.

Короче говоря, шла глухая борьба. В отдельные моменты она имела и политическое выражение, судя по

имеющимся свидетельствам, предполагалось поставить на XVII съезде ВКП(б) вопрос о перемещении Сталина с поста генсека на другую работу. Борьба двух тенденций не прекращается и после убийства Кирова, и даже тогда, когда над сторонниками умеренной политики нависла угроза физического уничтожения. Сталину не сразу удается убедить членов ЦК в том, что теперь вредителей составляет уже не буржуазный лагерь, не среда буржуазных специалистов, а что сама партия заселена шпионами и провокаторами. В 1937 г. Ежов резко упрекал хозяйственников и руководителей наркоматов за то, что никто из них по своей инициативе ни разу не позвонил ему и не сказал: что-то мне подозрителен такой-то человек, что-то там неблагополучно, займитесь этим человеком. Наоборот, сетовал Ежов, некоторые товарищи пытаются защищать «вредителей» и «террористов», когда встает вопрос об их аресте¹⁷. Никак не мог понять и Молотов, убедили ли партийных руководителей доклады об уроках вредительства, диверсий, шпионажа троцкистско-немецко-японских шпионов¹⁸. Даже позднее, после разгула массовых репрессий, когда они уже начали питать сами себя, на XVIII партийной конференции продолжалась борьба двух тенденций в политике — экономика и общественная жизнь объективно требовали не «чрезвычайщины», а чего-то другого: другого подхода, другого взгляда на развитие страны.

Оправдывать тот тип административно-командной системы, который приобрел форму личного режима, подготовкой к войне, экстремальностью обстановки, вероятно, нет необходимости. Мы должны больше говорить о том, что была демократическая альтернатива, и она содержалась в ряде решений 1931, 1932, 1933, а особенно 1934 г., когда была предпринята прямая попытка стабилизировать положение, создать некие правовые гарантии, отказаться от чрезвычайных мер как системы. Все знают, чем закончился тот год.

РЕШАЮЩИЙ АКТ ТРАГЕДИИ

В 1937 г. количество арестованных по обвинению в контрреволюционных выступлениях возросло по сравнению с 1936-м в 10 раз¹⁹. И тогда же, на исходе столь печально известного теперь года, в стране состоялись выборы в Верховный Совет СССР. Они прошли под лозунгами победившего социализма, одобрения политики пар-

тии. По объему валовой продукции страна стала второй державой в мире. В 1937 г. был собран рекордный урожай, завершился переход ко всеобщему обязательному начальному образованию.

Если судить по газетному образу того времени, в стране установилось спокойствие, связанное с ликвидацией классовых врагов, очищением от вредителей, двурушников, троцкистов. Но все это лишь на поверхности событий. Партийное руководство того времени, начиная подготовку к выборам на основе Конституции 1936 г., понимало политическую нестабильность ситуации. Результаты голосования предсказать было трудно. В качестве возможных оппонентов рассматривались очень активные и влиятельные церковные силы, значительное число раскулаченных, вряд ли довольных политикой предшествующего периода, огромное количество исключенных из партии, слой мелких кустарей в городах, жителей глухих мест с сохраняющимися патриархальными нравами и устоями жизни, служащих, которые, по мнению Косиора, «часто считаются у нас народом второсортным»²⁰, спецпереселенцев, которые тоже должны были голосовать.

В общем положение было серьезное. Фактически если бы выборы прошли вполне демократическим путем, с возможностью свободного выдвижения кандидатов, то они могли бы стать немалым испытанием для партии и показать реальное отношение народа к тому, как основы социализма строились, как оцениваются действительные достижения общества к 1937 г. Молотов тогда прямо заявил, что авторитет партии поставлен перед глазами населения на новую поверку и что без провалов кое-где не обойтись²¹.

Что же надо было делать? Как можно было выйти на выборы и сохранить вотум доверия? Среди членов ЦК открыто высказывались мнения, что надо восстановить подлинную роль Советов, сломать легкое отношение к советским законам, но, главное, подготовить прежде всего самих себя, партию, перестать декларировать безграничное доверие к ней. Открыто прозвучали мысли о том, что партия не сумеет возглавить избирательную кампанию, если не будет соблюдать внутрипартийную демократию, если не преодолеет в своих рядах подхалимаж, семейственность, кумовство. В печати приводились образцы славословий в адрес некоторых руководителей. Из уст делегатов отчетно-выборной конференции Таганрогской партийной организации раздавались, к примеру, такие

слова: «Блестящий доклад я позволю себе назвать поэмой пафоса социалистического строительства, поэмой величайших побед рабочих и трудящихся Таганрога. На фоне этих исторических побед ярко вырисовывается фигура Степана Христофоровича... Я хотел бы — и это желание делегатов — доклад Степана Христофоровича издать брошюрой на хорошей бумаге и раздать каждому присутствующему здесь делегату... и пусть этот доклад, эта героическая поэма, симфония нашего строительства будет понята каждым»²².

Но многие члены ЦК понимали, что благозвучные «симфонии» уже не доходят до сознания масс, что от настоящих отчетов руководящие работники отвыкли, а вся агитационная работа партии стала беззубой, обходит острые вопросы, приняла, по словам Н. Крупской, «балалаечный уклон»²³.

Однако на деле руководство партии пошло по пути выработки различных инструкций, поправок и дополнений, фактически неконституционных, то есть по пути организации техники выборов. Вместо обсуждения программы, с которой партия выйдет к избирателям, обсуждается масса процедурных моментов. По сути, та практика, от которой сегодня мы стремимся избавиться, как раз и складывается в 1937 г. в результате «чрезвычайщины», неспособности признать свои ошибки прямо. Признание ошибок (и это, в общем-то, логично для действий тогдашних лидеров) происходит лишь в январе 1938 г., задним числом. Хотя и при этом «ошибки», если так можно было назвать прямые преступления против партии и народа, списываются на местное руководство.

Две тенденции — демократическая и авторитарная — были заложены в противоречиях общества, ставшего на путь социализма. В силу определенного сочетания объективных и субъективных факторов победила авторитарная тенденция. Но социалистический идеал продолжал жить в сознании людей, в социально-экономических, политических и идеологических структурах. Он, этот идеал, воплощенный в трудах и делах миллионов людей, а не сталинская «чрезвычайщина» сохранил наше общество в годы Великой Отечественной войны. Он существовал и как некое социальное качество, и как гражданский эталон.

И при этом, никогда не забыть, остается жестокая реальность: главной приметой не только этого десятилетия — всего довоенного времени сознание людей опреде-

лили массовые репрессии 1937 г. Тут ни убавить ни прибавить. Акт трагедии состоялся. Но занавес еще не был закрыт.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ ЦПА ИМЛ. Ф. 17. Оп. 69. Д. 672. Л. 7.
- ² Там же. Д. 669. Л. 31.
- ³ Там же. Л. 30.
- ⁴ Третий съезд Советов СССР: Стенографический отчет. М., 1925. С. 217.
- ⁵ Цит. по: Исторический опыт и перестройка: Человеческий фактор в социально-экономическом развитии СССР. М., 1989. С. 65.
- ⁶ См. там же.
- ⁷ См.: Правда. 1930. 19 февр.
- ⁸ Материалы Отдела истории КПСС ИМЛ при ЦК КПСС.
- ⁹ ЦПА ИМЛ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 723. Л. 10.
- ¹⁰ См.: Куликова И. С. Заветные тетради А. М. Коллонтай // Вопросы истории КПСС. 1989. № 8. С. 99.
- ¹¹ Материалы Отдела истории КПСС ИМЛ при ЦК КПСС.
- ¹² Правда. 1933. 15 марта.
- ¹³ См. там же.
- ¹⁴ ЦПА ИМЛ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 514. Вып. 1. Л. 27.
- ¹⁵ Там же. Д. 612. Вып. 1. Л. 23.
- ¹⁶ Там же. Вып. 2. Л. 46—47.
- ¹⁷ Там же. Л. 57.
- ¹⁸ Там же. Л. 85.
- ¹⁹ Материалы Отдела истории КПСС ИМЛ при ЦК КПСС.
- ²⁰ ЦПА ИМЛ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 612. Вып. 1. Л. 18.
- ²¹ Там же. Д. 623. Л. 186.
- ²² Там же. Д. 612. Вып. 1. Л. 37.
- ²³ Там же. Л. 40.

К ВОПРОСУ О ТАК НАЗЫВАЕМЫХ ДЕФОРМАЦИЯХ СОЦИАЛИЗМА *

1. НЕКОТОРЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ О СУЩНОСТИ ДЕФОРМАЦИЙ

О чем идет речь, когда мы оперируем категорией «деформации социализма»? Первое и самое простое объяснение, которое могло бы прийти в голову,— это определение деформации как искажения чего-то уже существующего. Подобного рода подход присутствует в современных исследованиях. Упрощенная логика рассуждения при

* Впервые опубликовано: История СССР. 1989. № 6. Печатается с сокращениями.

этом такова: при Ленине была правильная политика, не было никаких деформаций, а после Ленина они начались, постоянно набирали силу, что и потребовало нынешней перестройки, кардинального изменения всего здания социализма. Подобного рода представления вряд ли можно признать достаточно глубокими, ибо в них предполагается некая изначальная заданность сущностных черт социализма, вроде бы уже существующих в новом обществе в момент его рождения. Однако на самом деле в 1917 г. действительность содержала в себе огромное разнообразие вариантов развития, в том числе и несоциалистического типа. Наше сегодняшнее отношение к аномальным явлениям и процессам в социалистическом обществе как к деформациям вовсе не исключает признания возможности закономерного, а не случайного их появления на свет.

Думается, речь следует вести не о деформациях социалистического общества, а о деформациях общества, строящего социализм. Как нам представляется, подобное уточнение является весьма существенным. В процессе создания «новых форм жизни» было чрезвычайно трудно (но возможно!) осознать момент отступления, разрушения каких-то уже имевшихся компонентов самого социализма. Среди многих возможных взглядов на эту проблему, по нашему мнению, необходимо рассмотреть прежде всего те деформации, которые возникают на пересечении объективных условий строительства социализма и теоретических моделей самого социализма. На этом пересечении рождались парадигмы политического сознания, политической культуры, которые определяли конкретные решения. Соотнесение объективных условий, теоретических представлений о социализме и практики, которая соответствующим образом осмысливается в сознании политического руководства, позволит выявить узлы проблем, выводящие нас на понимание глубинных корней деформации общественного строя, содержание этих деформаций. В противном случае строительство социализма будет рассматриваться как осуществление некоего провиденциального замысла, а деформация — как результат неких неосуществленных (или осуществленных) предначертаний классиков марксизма. Нет ничего более наивного и противоречащего самому духу марксизма, чем это отождествление его фундаментальных принципов с конкретными, всегда привязанными к живой (и постоянно меняющейся) действительности решениями.

Сегодня уже стало распространенным утверждение: главной причиной деформаций социализма было то, что преемники Ленина не выполнили его завещания, а Сталин грубо выхолостил содержание ленинского плана построения социализма. Все это совершенно верно, но только... ничего не объясняет в прошлом и мало что дает для настоящего и будущего. В самом деле, воспользуемся популярным в нашей публицистике логическим ходом и зададим вопрос: а что было бы, если бы Ленина не стало, ну, например, в мае 1920 г., в разгар «военного коммунизма»? Ведь в этом случае статус завещания приобрели бы такие идеи Ленина, из которых, если руководствоваться расхожей логикой, никогда не удалось бы вывести новую экономическую политику. Уже спустя несколько лет после смерти Ленина его преемники столкнулись с ситуацией, когда сохранение жизнеспособности ленинской концепции нэпа предполагало существенную корректировку и теоретических постулатов, и практической политики. Жизнь поставила такие вопросы, на которые у Ленина уже нельзя было получить практические ответы. Начался теоретический поиск, в партии разворачивались дискуссии. Однако оппоненты встали на путь взаимного обстрела ленинскими цитатами, и практически все участники споров обнаружили стремление к доктринерскому истолкованию ленинизма. Важнейшие для судеб социализма теоретические вопросы (о перспективах мировой революции, о новом этапе развития капитализма, о социализме в одной стране, об атрибутах полного социализма) не получили удовлетворительного решения. Теоретические слабости оборачивались политическими просчетами, затвердевали в общественном сознании. Эвристическая функция теории сходилась на нет, на первый план выходила апологетика политики, обоснованная «теоретическими» аргументами.

Очень часто с позиций господствующих теоретических воззрений и идеологических постулатов тот или иной процесс, та или иная новая форма воспринимались как деформация, как отступление от принципов социализма. В действительности же в 20—30-е годы в обществе постоянно возникали своеобразные мутации, каждая из которых могла прорасти прогрессивными изменениями и реформами. Однако теория часто не замечала этих положительных мутаций либо объявляла их несоциалистическими, а политика пыталась вытравить их из реальной жизни, начинала действовать вопреки закономерностям развития

самого социализма. В обществе 20—30-х годов был определен запас таких положительных социальных мутаций, ростков будущего, которые рождаются в живом историческом творчестве масс и несут в себе определенную перспективу. Умение правильно их оценить требовало глубокой ломки сложившихся стереотипов и представлений о социализме, которую успел начать Ленин в конце своей жизни. Устаревшие теоретические представления могли привести к оценке положительных изменений как деформаций, а действительных деформаций — как данности, которым фактически приписываются сущностные черты самого социализма.

На наш взгляд, отличать положительные общественные мутации от тормозящих развитие общества деформаций следует прежде всего по гуманистическому критерию. Деформацией надо считать все, что сужает пространство свободного развития личности сверх определенной исторической необходимости. Если же мы встанем на какое-то перечислительно-описательное представление о социализме, которому должно было следовать, то мы никогда не поймем существа деформаций. Вернуться к Ленину надо в главном — в гуманистическом понимании самой сущности социализма. У значительной части старой партийной гвардии на определенном этапе произошло отождествление промежуточных целей с конечной, произошло слияние целей, ближайших на данный период, с перспективными целями развития общества в сторону социализма. И поэтому идеал мощного государства с развитой экономикой, тяжелой промышленностью, высокой обороноспособностью и т. д. фактически подменил собой социалистический идеал. Между тем это была лишь ступень, промежуточный этап. Сама же цель — это нарастающая гуманизация общественной и личной жизни. На пути к этой цели могут быть и экстремальные ситуации, когда стоят вопросы: кто кого? быть или не быть новому строю? В этот момент очень трудно удержаться на грани, возникает соблазн хотя бы на короткое время сознательно «отключить» гуманистический критерий, отказаться от него якобы в силу исторической необходимости, по соображениям высших интересов. Тогда-то и делается возможной гипертрофия насилия, принуждения и т. д. Именем социализма освящаются вещи, ничего общего с социализмом не имеющие.

Гуманизация общественной жизни в каждый данный исторический период имеет свой рубеж, дальше которого

движение в принципе невозможно. Ограничителем реального обеспечения провозглашенных принципов выступает прежде всего уровень развития производительных сил. Чтобы гуманизм не превратился в пустую декларацию, провозглашенную на бумаге, но не осуществимую на деле, под общий гуманистический вектор движения должны быть подведены соответствующие материальные основания. Поэтому вторым критерием, который обязательно необходимо учитывать, обсуждая вопрос о деформациях, является уровень развития производительных сил, находящий свое интегральное выражение в опережающем росте производительности труда по сравнению с капиталистическим миром. Это та задача, которую поставил Ленин, говоря о перспективах нового строя¹.

Строительство социализма в одной, отдельно взятой, не прошедшей длительной стадии развития капитализма стране неизбежно должно было породить его весьма несовершенный первоначальный облик. Бухарин, например, в этой связи рассуждал о «национальных типах социализма»², которые могут возникнуть при таких условиях. Однако отсталость и деформации социализма не тождественны друг другу. Деформации возникают как результат искусственных попыток выйти из отсталости за счет произвольного завышения общественных форм. В России к моменту взятия большевиками власти, прорыва цепи капиталистических государств не было достаточных материальных предпосылок для социализма (более того, может быть, достаточных материальных предпосылок для полного социализма, для всесторонней реализации всех его идеалов и в настоящее время еще не накоплено во всем мире). Социалистические формы возникли как бы раньше содержания. Можно сказать, что через искусственное «завышение» социалистических форм, неадекватных содержанию, большевики прошли в период «военного коммунизма». Уже в первые годы Октября партия встала перед необходимостью «держаться» форму, которая не имела достаточного материального основания. Возникает закономерный вопрос: кто реально выполнял функцию «удержания» формы? Удивительным инструментом, как будто специально созданным для этого, была бюрократия с характерным для ее деятельности доминированием формы над содержанием. Бюрократия в том виде, как она сложилась в нашей стране, стала не просто пережитком капитализма, не просто проявлением недостаточной культурности, а своего рода компенсирующим

механизмом, который начинает разворачиваться и приобретать вид «тотальной государственности» в условиях, когда складывающиеся социалистические формы не имеют должной опоры в развитии производительных сил и начинают «провисать». Попытки искусственно «держат» эти «провисшие» формы требовали определенной социальной силы, которая будет выполнять данную функцию. Такой силой и становится бюрократия. «Удержание» завышенных форм определенным образом совпадает с ее материальным и социальным интересами.

Нэп представлял собой отказ от псевдокоммунистических общественных форм, которые не имели материальной базы и поэтому вырождались в уродливые бюрократические структуры. Значит, нэп означал снижение формационного уровня общественных форм, созданных для того, чтобы дотягивать материальные предпосылки социализма. Отсюда гораздо большая открытость нэпа различным капиталистическим методам: признание рынка, который был полузадушен в годы «военного коммунизма», включение в экономическую жизнь других укладов и других, не только государственных, форм хозяйствования. По сути дела, переход к нэпу означал то, что правящая Коммунистическая партия и Советское государство отказываются искусственно «держат» форму с помощью инструментов принуждения и насилия, хотя и не отказываются от этих инструментов в принципе, ставя их на подобающее им место.

«Свертывание» же нэпа означало попытку нового искусственного завышения формационного уровня общества, когда, например, колхозы, стремление «зарегулировать» рынок с помощью прямого государственного вмешательства сами по себе рассматриваются уже как атрибуты социализма. Для Ленина же в начале 20-х годов было характерно стремление уйти от произвольно созданных и, казалось бы, высоких форм обобществления, которые на самом деле были формами примитивного огосударствления экономики, отказаться от удушения рынка и тем самым лишить бюрократию реальной, действительной основы ее существования, когда на ее общественно полезную функцию нет социального заказа, потому что процесс регулирования экономики идет по другим, в частности по рыночным, каналам, когда, например, используются элементы стихийности в процессе сознательного построения социализма. Было ли осознано это ленинское стремление? По всей видимости, нет. Уже к концу

20-х годов четко обозначились результаты того, что сознательное было отождествлено с произвольным. Процесс сознательного построения социализма все заметнее трактовался как процесс произвольный, не знающий объективных преград, исходящий из того, что нет таких крепостей, которые большевики не могли бы взять. Этатизация общества, то, что мы называем административно-командной системой в такой ситуации процесс закономерный. Не что иное, как государство, сросшееся с партийным аппаратом, должно «держат» завышенные социалистические формы, часто любой ценой, без соотнесения с уровнем развития производительных сил, индустриальной базой. Естественно, что общественные отношения социалистического типа сами по себе не «держатся», все время деформируются, поскольку они не прорастают «снизу» (именно это предполагала ленинская идея кооперации), а насаждаются сверху. Попытки ликвидировать, к примеру, многоукладность являлись заведомо несостоятельными, потому что в тех или иных формах она прорастала снова. Для того чтобы эти постоянно прорастающие из-за низкого уровня развития производительных форм досоциалистические формы устранять, необходимо было уже не только огосударствление общества, но и апелляция время от времени к чрезвычайным органам, словом, вооружение дополнительными инструментами, которые будут «держат» то, что «повисло в воздухе». Таким образом, «свертывание» нэпа означало фактический отказ от органического выращивания социализма из самой жизни.

Мог ли быть избран другой путь? Мог. Тот, к которому приближались при переходе к нэпу и его конструировании: признание таких очевидных вещей, как недостаточность формационного уровня и приведение форм общественной жизни и общественных отношений в соответствие с ним. Одновременно этот путь означал отказ от искусственного форсирования процесса общественного развития с целью подгонки реальной действительности под абстрактные признаки социализма, что было не чем иным, как глобальным политическим и теоретическим формализмом. Уже «военный коммунизм» показал, что чем больше форма доминировала над содержанием, тем в большей степени для «удержания» такой социально-экономической конструкции требовалась бюрократия. Таким образом, главная причина деформаций социализма в том, что форму пытаются искусственно «держат» на уровне, который не обеспечен реальным развитием

производительных сил. Именно тогда и возникает потребность в насилии, бюрократии, лживой пропаганде, а пропущенные фазы развития прорастают теневой экономикой, социальной несправедливостью, коррупцией.

2. «ВОЕННЫЙ КОММУНИЗМ»: ДЕФОРМАЦИЯ СОЦИАЛИЗМА?

На IV конгрессе Коминтерна (1922) Троцкий подчеркивал, что в корне неверно утверждение, будто экономическое развитие Советской России после перехода к нэпу «идет от коммунизма к капитализму. Коммунизма у нас не было. Не было у нас социализма и не могло быть. Мы национализировали дезорганизованное хозяйство буржуазии и установили, в самый острый период борьбы не на жизнь, а на смерть — режим потребительского «коммунизма»³.

Те деформации, которые возникли в результате попытки форсированно создать новые производственные отношения чуть ли не коммунистического типа, были, безусловно, связаны не только с экстремальностью обстановки или слабостью формационных предпосылок социализма, но и с попытками непосредственного «насаждения» социалистического идеала в его тогдашнем понимании. Именно это обстоятельство, то есть попытки искусственно придать системе, возникшей в силу исторической необходимости, социалистический характер, собственно, и превратили вынужденную политику гражданской войны в деформации «военного коммунизма».

В экономической области такими деформациями были уравниловка, сверхцентрализм, надежды на возможный переход к прямому продуктообмену на базе продразверстки и принудительного распределения предметов потребления, создание трудовых армий и утопическое упование на энтузиазм в экономике. Эти деформации были теоретически узаконены после IX съезда РКП(б). Об этом свидетельствуют и появившиеся в середине 1920 г. труды двух ведущих партийных руководителей: Н. Бухарина («Экономика переходного периода») и Л. Троцкого («Терроризм и коммунизм»). Позднее, оценивая решения 1920 г., Ленин писал: «Мы рассчитывали — или, может быть, вернее будет сказать: мы предполагали без достаточного расчета — непосредственными велениями пролетарского государства наладить государственное производство и государственное распределение продуктов

по-коммунистически в мелкокрестьянской стране. Жизнь показала нашу ошибку»⁴.

Переход к нэпу на какое-то время лишил «военно-коммунистическую» модель экономики теоретического ореола. Сложнее обстояло дело с деформациями политической надстройки. А они, эти деформации, в конечном счете сыграли свою роковую роль в последующих событиях, что определялось особой ролью надстройки в «подтягивании» формационных предпосылок социализма в мелкокрестьянской стране.

Прежде всего «военно-коммунистические» деформации затронули Советы как органы диктатуры пролетариата. То, что они действовали для трудящихся, но не через трудящихся, стало ясно уже в 1918 г.⁵ К концу 1920 г. советская система была не просто поражена болезнями бюрократизма, а фактически не функционировала как система широкой организации масс. В документах VIII Всероссийского съезда Советов констатировалось, что советская система, по сути дела, деградирует в сугубо бюрократическую, аппаратную структуру, когда реальными органами власти на местах становятся не Советы, а их исполнительные комитеты, президиумы исполкомов. Главную же роль в этих президиумах играют партийные руководители, приписавшие на себя функции Советской власти⁶. На местах часто проявляется и такой необычный принцип организации власти, который уже современники склонны были характеризовать как «личный режим»⁷. С одной стороны, это давало определенный эффект в наведении порядка там, где Советская власть была слаба. Но с другой — возникала система, когда представитель центра, наделенный особыми полномочиями, перевозил с собой для исполнения различного рода функций сослуживцев и знакомых, лично преданных и подчиняющихся только ему. С окончанием гражданской войны недовольство такими формами организации стало усиливаться. Массы болезненно реагировали на свое отстранение от участия в принятии политических решений, непосредственно затрагивавших их судьбу.

Сложности возникали и во взаимоотношениях различных элементов политической системы нового общества, в частности Советов и ведомств, главков. Представители главков на местах фактически не подчинялись местным органам власти. Очень часто они подавляли их своим авторитетом и могуществом. Попытки устранить такое положение, предпринятые еще VII Всероссийским съездом

Советов (1919 г.), на деле ни к чему не привели. Было признано, что решение о включении представителей ведомств и главков в общую систему местных Советов выполнить не удалось, что ведомства и главки оказались более могущественными. В связи с этим ставился вопрос не только о предоставлении местным Советам права участия в контроле над местными представительствами центральных ведомств, но и о непосредственном их участии в самой работе местных отделений «центров» и главков⁸. Таким образом, речь шла о придании политической системе нормального вида в отличие от системы, построенной по принципу «ударного метода» и чрезвычайных действий. «Военно-коммунистическая» система, основанная на этих принципах, явно переживала кризис, и это достаточно ясно осознавалось на всех уровнях партийного руководства. Однако выходу из этого кризиса, действительной перестройке политической системы общества мешал тот факт, что проблемы деформаций в политической системе, часто объясняемые гражданской войной, низким культурным уровнем населения, засилием в аппарате людей со старыми навыками и т. д., замыкались только на том, что государство и партия взяли на себя слишком много в регулировании производства и распределения. Это действительно привело к созданию такого административного аппарата и структур, издержки на содержание которых были выше, чем издержки стихийного развития рынка. Причем значительная часть усилий направлялась на то, чтобы этот рынок, продолжавший реально существовать в весьма своеобразных формах, ввести в какие-то рамки ограничений. На это тоже были нужны дополнительные затраты и средства. Однако необходимость корректировки экономических функций пролетарского государства требовала серьезных изменений и в структуре и формах государственной власти. А необходимость таких изменений осознавалась в меньшей степени, чем потребность в экономической реформе. Многие искренние сторонники Советской власти сосредоточивали всю свою критику на бюрократизме. Лишь в нем они видели причину всех недостатков.

В начале 1921 г. в рабоче-крестьянской и солдатской среде получили распространение листовки с прямым призывом «сорганизоваться в партийную организацию низов в противовес организации верхов»⁹. Этот призыв обосновывался тем, что у бюрократических «верхов» «завелось страшное желание... быть высшими верхами, и,

вследствие этого, пошли личные счеты, подлизывание, сплетни, злоупотребление и заискивание и явно официальное неравенство, каждый верх считает низы серой кобылкой и не хочет не только с ними, низами, считаться, но даже не контролируется нами и находит нас ниже себя»¹⁰. Одновременно распространялись слухи о якобы «официальном расколе в Московском парткоме низов во главе с Лениным и Зиновьевым от верхов», о том, что «верхи» не хотят выполнять «того, о чем гласит наша программа и говорят наши вожди К. Маркс, Бухарин, Ленин и др.»¹¹.

Показательно, что для авторов подобных листовок и слухов «верхи» — это не вожди партии и революции (они фактически выводились из сферы критики), а аппаратная часть партии, отделенная от вождей. В листовках указывалось, что у этой аппаратно-бюрократической части уже появились свои особые социальные интересы. Здесь мы имеем перед собой случай прямой апелляции массы к вождям через голову аппарата, свидетельствующий о том, что у вождей в сложившейся политической системе есть какая-то особая функция — функция прямого, а не «аппаратного» выражения интересов массы. Есть у них и функция руководства этим бюрократическим аппаратом, превращения его в более или менее эффективный инструмент. Но поскольку сам аппарат постепенно выключается из системы классовых интересов и начинает в значительной степени работать на самого себя, на воспроизводство самого себя, хотя при этом и выполняет многие полезные функции, вопрос о возвращении его на «подобающее место» стоит достаточно остро. И если вожди не прислушиваются к призывам масс, не понимают назревшую необходимость снятия напряжения между «низами» и «верхами», то это влечет за собой тяжелые последствия. Как нам представляется, вожди выполняют роль своеобразного исторического компенсатора, который нивелирует, смягчает недостатки политической системы чрезвычайного типа в целом. Вожди как бы стоят над аппаратом. Более того — держат его в постоянном напряжении.

Опыт первых лет революции позволяет нам говорить о возникновении и столкновении двух типов политической связи в обществе. Начиная с 1917 г. формируются руководители, выдвинутые массой, чувствующие тесную связь с ней, но в то же время возникает мощный бюрократический слой, не связанный с массами. Занимаясь в усло-

виях острой нехватки необходимых ресурсов и средств к жизни распределительными функциями, этот слой начинает представлять достаточно могущественную силу. К концу гражданской войны массы уже воспринимали его как мощную силу со своим особым интересом. Испытывая определенную тревогу по этому поводу, массы вместе с тем отделяли своих вождей от этого бюрократического слоя. Тот факт, что в данный момент он еще выполняет какую-то полезную функцию, в восприятии масс ничего не меняет, потому что издержки на содержание аппарата становятся все более и более явными. Массы резко реагируют на внешние проявления этих издержек, на то, как «наши верхи, те, за кого мы стоим горой... катаются на превосходных фаэтонах, на бричках, тарантасах с тройками и четверками лошадей и чуть ли не с бубенчиками», на то, что «у них имеются штаты холоуев, приносящих им, как старому николаевскому генералу, все на тарелочке и цыпочках», что они «ходят шикарно разодетыми, сытно кушают и спокойно спят и не только не думают о низах — хотят большего — еще каких-то привилегий...»¹².

То, что так болезненно воспринимали массы, было лишь вершиной айсберга. «Военно-коммунистическая» модель организации общества включала в себя, с одной стороны, огромный бюрократический механизм, который гарантировал некоторую стабильность, но не обеспечивал «самонастройки» общества, быстрой реализации решений, с другой — особые компенсирующие, параллельно действующие механизмы — систему чрезвычайных органов (ВЧК, причем не только по борьбе с контрреволюцией, а, например, по ликвидации неграмотности или конезаводству), позволяющую при необходимости действовать быстро и в обход государственной машины. Кроме того, использовался так называемый «ударный метод», метод субботников — прямая апелляция к массе, ее энтузиазму для решения острейших хозяйственных проблем (топливный голод, заготовка продовольствия или сбор теплой одежды для армии, ремонтные работы и т. д.).

Такая модель не ориентирована на какое-то гибкое реагирование, хотя в рамках «военного коммунизма» был принят ряд тонких политических решений, ограничивавших применение насилия, способствовавших согласованию классовых интересов, изменявших очень многое в политике партии (отношение к среднему крестьянству то-

му пример). Но если взять повседневную политическую практику этого периода, то уместно вспомнить ленинские слова о том, что культуры не хватает даже тому слою коммунистов, который управляет. Не удалось создать преграды на пути разрастающихся бюрократических структур. С особыми интересами возродившейся бюрократии смыкался и взаимодействовал мелкобуржуазный «вождизм». Психология «вождизма» и бюрократическое «обогащение авторитета» в стране, где подавляющее большинство населения — крестьяне, уже содержали в себе возможность культа личности¹³. Признание Ленина о том, что диктатура класса может быть выражена в диктатуре одного лица¹⁴, было признанием серьезных деформаций, сложившихся по крайней мере в политической системе. Они в значительной мере еще блокировались лично Лениным в силу особенностей его характера¹⁵, однако эффективного противовеса угрозе режима личной власти тогда найдено не было. В начале 20-х годов и особенно в период написания последних писем и статей Ленин будет обдумывать возможности преодоления этих деформаций через укрепление принципов коллективного руководства, контроль, демократизацию.

Этого объективно требовала и новая социально-экономическая ситуация. Однако уже созданные механизмы оказались довольно прочными. Не случайно на всем протяжении 20-х годов настойчиво ставился вопрос о «военно-коммунистических» «пережитках» в политической системе и культуре руководства, в управлении экономикой и взаимоотношениях с крестьянством. Значит, политические механизмы, которые обеспечивали политику «военного коммунизма», полностью перестроены не были. Они были несколько смягчены, либерализованы, но по сути своей в значительной мере оставались прежними. Это не сразу было осознано, поскольку одно лишь очищение политических механизмов от наслоений чрезвычайных мер и чрезвычайных органов способно было произвести впечатление и ввести в заблуждение тех, кто искренне хотел реформ. В сохранении старых механизмов уже заключалась опасность того, что, как только общество попадет в какое-то сложное положение, они вновь заработают в полную силу и «запустят» системы чрезвычайных мер и чрезвычайных органов.

Одним из важнейших «пережитков» «военного коммунизма» было сохранение ситуации, при которой Советы оставались органами для трудящихся, но не через

трудящихся, хотя в первой половине 20-х годов и предпринимались серьезные попытки оживления этих органов. Не случайно на XIV съезде партии (1925 г.) вспыхнула полемика между Крупской и Бухариным по поводу оценки нашего политического строя. Крупская не согласилась с той характеристикой госаппарата, которую давал Бухарин: «Наш госаппарат, это — широкая организация класса». «Вы знаете, что это не так...— говорила Крупская.— Пока это только еще аппарат, проводящий нашу классовую точку зрения... Спайка госаппарата с массами, конечно, заложена в нашей конституции, но она еще не осуществлена нами»¹⁶. Переоценка достигнутого распространялась и на отношение к участию масс в строительстве социализма. Анализируя книгу Бухарина «Путь к социализму и рабоче-крестьянский союз», та же Крупская считала, что даже у Бухарина этот вопрос отодвинулся на второй план: нельзя говорить, что классовая борьба выражается теперь в классовом законодательстве, системе налогового обложения, мероприятиях помощи бедноте, обходя вопрос о том, «как же массы должны принимать участие в этой борьбе»¹⁷. Фактически Крупская заметила тенденцию к своего рода «огосударствлению» классовой борьбы.

Другие причины отрыва рабочей и крестьянской массы от Советов называл в 1924 г. В. В. Куйбышев. Он пришел к выводу о расхождении теоретических формулировок и реальной жизненной практики. «В некоторых волостях,— говорил Куйбышев,— население знает в волости по преимуществу ячейку, а не исполком. Часто население и в уездном городе обращается со всеми жизненными и затрагивающими его вопросами не к своим советским органам, которые должны обслуживать все его интересы, а идет в партийный орган. Этот факт выпячивания партийных органов, как органов непосредственного администрирования, таит в себе определенные политические ошибки и политические последствия... Этот уклон делает безжизненными и самые советские органы»¹⁸.

Сохранение «военно-коммунистических» структур в политической сфере объяснялось еще и неустойчивостью внешнеполитического положения страны, что продолжало стимулировать психологию «выжить любой ценой». Резолюция XII съезда РКП(б) «О промышленности», подготовленная Троцким и в этом пункте ни у кого возражений не вызывавшая, содержала мысль о том, что авангард должен быть готов на жертвы¹⁹. Эта идея готовно-

сти к жертвам пронизывала всю психологию того времени. Отсюда следовало и особое отношение к личности, к гуманистическим проблемам. И хотя в 1921 г. Ленин на письмо старого большевика С. Данилова ответил абсолютно недвусмысленно: «И внутри класса» и к *трудящимся иных* классов развивать чувство «взаимной помощи» и т. д. безусловно *необходимо*»²⁰, действительность была такова, что если кругом враги, то наше поведение равносильно поведению людей в осажденном лагере. Тенденция смягчения порядков в нэповском обществе в общем-то имела перед собой этот объективный предел. Он заставлял с собой считаться. Но здесь была заключена еще одна возможность для деформаций.

Часто трудноуловимая грань между тем, где кончается историческая необходимость, связанная с особенностями нашей страны, и где начинается перерастание революционного типа мышления в мелкобуржуазный революционаризм, могла быть перейдена. Тем более что этому сопутствовал правовой нигилизм не только у рядовых коммунистов, но даже и у руководителей Народного комиссариата юстиции. Ироничные слова наркома Курского по поводу «тоски о буржуазной законности» вызвали в свое время справедливую отповедь приверженцев новой экономической политики²¹. То, что Курский назвал «тоской», на самом деле являлось объективной потребностью общественной жизни. Если бы государство с самого начала ограничило в правовом отношении свою регулируемую деятельность и прежде всего административные методы воздействия на жизнь, то в этом случае одновременно произошло бы и сужение сферы действия бюрократии, возможностей ее непосредственного вмешательства в экономические дела. В середине 20-х годов, когда общество попыталось выйти на решение этой задачи, административный аппарат оказался настолько крепким, что сумел выдержать предпринятый на него натиск. Меры по укреплению революционной законности, ограничению сферы действия административного права, изменению избирательной системы и т. д. не дали должного результата. Кроме того, сама процедура принятия политических решений изменилась весьма незначительно. То обстоятельство, что основным субъектом пролетарской политики была, даже по мнению Ленина, старая партийная гвардия²², приводило к сосредоточению в руках этого узкого слоя огромных властных полномочий, с одной стороны,

а с другой — максимально увеличивало цену ошибок, допускавшихся из-за просчетов в теории, неточного осмысления ситуации.

В условиях монополии партии на власть особое значение приобретал вопрос о создании демократических и правовых механизмов предотвращения возможных ошибок и их последствий. С этой точки зрения важно было расширение демократии в обществе в целом, вплоть до признания права на самостоятельную политическую роль других организаций, других политических структур, например беспартийных крестьянских конференций, возникших еще в годы гражданской войны, или крестьянских фракций в системе советских органов (идея Зиновьева). Известно, что в 1923—1924 гг., когда нэп переживал свой первый серьезный кризис, в деревне активно шли разговоры о необходимости воссоздания Крестьянского Союза, который выражал бы особые интересы крестьянства. Поднимался и вопрос о формировании каких-то структур, кроме профсоюзов, которые позволят и рабочему классу выражать свои особые, «цеховые» интересы. В случае практической реализации этих идей условием действительной консолидации правящей партии стало бы вымывание из нее непролетарских элементов. Однако при этом партия не только восстановила бы чистоту своих рядов, но и могла бы приобрести влиятельных оппонентов.

Другой путь (при условии сохранения однопартийной системы) состоит в том, что сама партия вбирает в себя представителей разнородных социальных сил. Это путь предотвращения возможных ошибок за счет максимального расширения внутрипартийной демократии. Однако в 20-е годы в процессе острой борьбы за лидерство, напротив, происходило свертывание механизмов внутрипартийной демократии.

Нэп означал огромный шаг вперед в социально-экономической области. Но он не преодолел глубинных деформаций «военного коммунизма» в политической области, хотя на какое-то время теоретическое узаконение «военно-коммунистического» варианта социалистического строительства было подорвано. Но именно сохранившиеся политические механизмы старого образца и дали выброс «чрезвычайщины» в конце 20-х годов. Свертывание, вопреки ленинским установкам, демократических механизмов как в обществе в целом, так и в правящей Коммунистической партии оставляло массам только два способа

корректировки доктринальных утопий, волюнтаризма и произвола в политике. Во-первых, политический конформизм, когда массы замыкаются в своих узких интересах и как бы отключаются от интересов всего общества, во-вторых, спонтанные стихийные действия, приводящие к политическим кризисам. После 1921 г. стихийный протест масс выражался в основном в форме забастовок рабочих или особого экономического поведения крестьянства как мелкотоварного производителя (до вооруженной борьбы дело дошло лишь однажды — в период сплошной коллективизации). Демократические же пути влияния масс на партийную политику практически отсутствовали. Это увеличивало вероятность принятия ошибочных решений. Выработка важнейших решений все заметнее перемещалась к очень узкому слою лиц, а с конца 20-х годов — и к одному вождю. В этих условиях становилось все труднее и труднее выдвигать какие-нибудь положительные альтернативы, все меньше и меньше оставалось политических гарантий от возможных ошибок. Зная теперь исторический результат принятых решений, мы неизбежно должны задать вопрос: верно ли с точки зрения теории была понята главная политическая задача, которая стояла перед партийным руководством в 20-е годы, когда еще только намечались основные пути и направления развития? Верно ли были осмыслены мировые и внутренние экономические и политические реалии, связанные с определением перспектив развития СССР? Не попыталось ли партийное руководство конца 20 — начала 30-х годов восполнить свои теоретические слабости возвратом к методам насилия и «военного коммунизма»?

3. КАКОЙ СОЦИАЛИЗМ ВОЗМОЖЕН В ОДНОЙ СТРАНЕ?

Уже к началу 20-х гг. выяснилось, что строительство социализма в Советской России пойдет не по «правилам», если под ними понимать первоначальный теоретический прогноз. Исходным пунктом всех размышлений коммунистов о перспективах социализма была характерная для марксистской традиции проблема мировой революции. И Ленин рассуждал о двух «половинках» социализма: у нас есть передовая политическая надстройка, на Западе — развитые производительные силы. В результате общевропейской пролетарской революции эти две «половинки»

соединятся, и нашу отсталую страну потянут за собой развитые в экономическом отношении государства ²³.

С этой точки зрения проблема недостаточности формационных предпосылок нового строя в России как бы сама по себе снималась. Так стоял вопрос в 1917 г. и в первые послеоктябрьские годы. Но уже в это время допускалась ситуация, при которой нам еще долго придется существовать в одиночку. Об этом, например, говорил Сталин на VI съезде РСДРП(б) ²⁴. Во всяком случае, приступ к социалистическому строительству Ленин никогда не пытался обусловить обязательным наличием пролетарских революций на Западе. Это видно, в частности, по Бресту, стремлению сохранить «новорожденного младенца», а не ориентироваться на революционную войну, чтобы любой ценой вызвать мировую революцию.

Но тем не менее надежды на мировую революцию в партии сохранялись. В 1920 г., подводя итоги трех лет развития, Ленин говорил, что мы и начали наше дело исключительно в расчете на мировую революцию ²⁵. Позднее Троцкий обратится к Дж. Дьюи и группе его сотрудников с просьбой провести текстологический анализ знаменитого ленинского высказывания из работы «О лозунге Соединенных Штатов Европы». Эксперты пришли к выводу, что высказывание Ленина о том, что социализм первоначально победит в нескольких или даже одной отдельно взятой стране, относится только к проблеме завоевания пролетариатом власти, то есть к проблеме политической революции, а не социальной революции, которая есть переход к полному социализму ²⁶. Но дело не в текстологических нюансах и тонкостях, хотя действительно ленинское высказывание в работе «О лозунге Соединенных Штатов Европы» вкупе с многочисленными ленинскими цитатами, которые были приведены, например, в книге Зиновьева «Ленинизм» (1925), в работах того же Троцкого, свидетельствует, что на протяжении достаточно долгого периода времени Ленин связывал перспективы социализма в России с мировой революцией. В значительной мере такой взгляд на перспективы мирового развития объясняет и попытку «непосредственного перехода к социализму», предпринятую после IX съезда РКП(б) и впоследствии признанную Лениным ошибочной ²⁷.

В начале 20-х годов вопрос о том, что придется строить социализм в одиночку, стоял уже достаточно серьезно, хотя надежда на то, что мировая революция произой-

дет, присутствовала и особенно нарастала в 1923, 1926 гг. и даже позднее. Но линия на то, что строить социализм, возможно, придется в одной стране, по мере изменения ситуации усиливалась, и это сразу обостряло вопрос о достаточности формационных предпосылок. В последних ленинских работах он приобретает очень серьезное звучание. В частности, в статье «О нашей революции» Ленин говорит уже о необходимом и достаточном условии для построения социализма в связи с нэпом, его первым опытом и итогами ²⁸.

Если в первые послеоктябрьские годы ленинский оптимизм был основан на близости мировой революции, то теперь он базируется на другом. Ленин видит внутренние возможности и ресурсы сохранения социалистической перспективы. Но одновременно он понимает, что переходный период может породить и порождает массу ненормальностей (от засилья старого аппарата, бюрократизма до угрозы гипертрофии насилия, этатизма и т. д.). Он ищет способы заблокировать эти тенденции развития и дать возможность широко развернуться другим тенденциям, содержащимся в нэповском обществе.

Сама постановка этого вопроса означала определенное отрезвление в оценке перспектив мировой революции. Однако это отрезвление происходило в специфических формах. Наблюдается неосознанная попытка заключить компромисс между старым представлением о сроках прихода мировой революции и перехода всего человечества к социализму и тем, что происходило в реальности. В реальности же происходило приспособление капитализма к новым условиям. Он обнаружил достаточную гибкость, был еще далек от исчерпания всех своих внутренних возможностей для развития производительных сил.

Идея строительства социализма в одной стране означала прежде всего признание того факта, что мы остались одни. Отсюда вытекала совершенно очевидная задача — продержаться до мировой революции. Поэтому, с одной стороны, это реанимировало некоторые утопические представления о времени ее наступления, а с другой — активизировало идею продержаться любой ценой, путем любого перенапряжения сил выполнить свой интернациональный долг, потому что именно в нашей революции виделась социалистическая перспектива человечества в целом. (Носителей прогрессивных тенденций развития человечества где-то еще, помимо нашей страны,

помимо коммунистического движения, мы в то время не видели, не признавали. Сейчас по этому поводу развернулись дискуссии. Ставится вопрос о том, только ли социалистический лагерь и международное коммунистическое движение в действительности выполняют такую миссию²⁹.)

Постановка вопроса о возможности построения социализма в одной стране в его узкой сталинской интерпретации привела к тому, что Сталин в конце концов оказался в своего рода теоретической ловушке. С возможностью полной и окончательной победы социализма в одной стране явно не стыкуется тот взгляд Сталина на государство, который он провозгласил в 30-е годы. Если государство постепенно не отмирает, а его роль неуклонно усиливается в силу того, что единственная социалистическая страна в мире находится в капиталистическом окружении, то как быть с классическими марксистскими представлениями об отмирании государства в процессе социалистического строительства? (Заметим в скобках, что особая роль государства действительно определялась объективными причинами: нашим одиночеством и слабостью формационных предпосылок нового строя.)

Теоретическая ловушка, в которой оказался Сталин, состояла в том, что ему либо следовало признать несостоятельность идей об отмирании государства при социализме, либо согласиться с невозможностью полного социализма в одной стране. Снять это теоретическое противоречие Сталину не удалось. Он фактически подменил вопрос о построении социализма в одной стране другим — вопросом о гарантиях от реставрации капитализма. Переходный период, по Сталину, означал прежде всего создание таких гарантий как во внутреннем, так и в международном аспекте. Стоит заметить вместе с тем, что сталинская интерпретация вопроса о полной и окончательной победе социализма в СССР достаточно далеко ушла от первоначальных представлений одного из авторов этой идеи — Бухарина, который еще в 1922 г. на IV конгрессе Коминтерна говорил: «Мы можем совершенно открыто сказать, что русский социализм, по сравнению с другими, будет выглядеть по-азиатски... черты отсталости нашего экономического развития найдут себе выражение в отсталых формах нашего социализма»³⁰. Сталин не просто встал на путь создания замкнутого общества, формирования таких общественных структур, кото-

рые обеспечивали выживание, но и оценил их как собственно социалистические.

Другая чисто гипотетическая возможность, по крайней мере для Сталина, заключалась бы в попытке вписаться в мировое сообщество так, чтобы снять саму угрозу вооруженной реставрации капитализма. По всей вероятности, в те годы это было невозможно. По единодушному мнению марксистских теоретиков, капитализм шел тогда к новой мировой войне, хотя возможности глубокого маневра были заложены ленинскими идеями мирного сосуществования и теми перспективами, которые открывал демократический потенциал нэпа для нормальных взаимоотношений с Западом. Однако эти, прямо скажем, весьма проблематичные возможности были наглухо заблокированы господствующими представлениями о мировой революции.

Вопрос о мировом контексте имел в 20—30-е годы принципиальное значение хотя бы потому, что без передового технического опыта западных стран мы развиваться не могли. Без закупки промышленного оборудования за границей обеспечение экономической независимости страны практически было невозможно. Мы действительно закупили на Западе технику, что позволило на протяжении определенного периода обеспечить нашу экономическую независимость.

В то же время, свернув с пути нэпа, мы пришли к созданию хозяйственного механизма административно-командного типа, в принципе невосприимчивого к достижениям научно-технического прогресса. И когда мир вступил в эпоху НТР, эта первоначально заложенная возможность технико-экономического отставания превратилась в реальность. Однако в условиях не нэповских структур, а структур административно-командной системы экономическая «раскрытость» действительно несла в себе угрозу утраты политической независимости в силу нашей отсталости. Нужны были серьезные ограничители во взаимоотношениях с капиталистическими странами, но нельзя было и отгородиться «железным занавесом» от всего остального мира. Проблема точного балансирования являлась очень серьезной. В определенный момент ее уловил Троцкий. По мнению Р. Дзя, Троцкий «не столько возражал идее построения социализма *в одной* стране, сколько сталинской концепции построения социализма в отдельной стране. Он доказывал, что замкнутое хозяйство приведет к стагнации. Автаркия явится прелюдией

к «катастрофе»³¹. Сама по себе такая постановка вопроса в определенной мере отражала реально существующие противоречия нашего развития.

Ориентация на возможность построения полного социализма в одной стране во многом предопределила ответы на другие вопросы: каково существо преобразовательных процессов, происходящих в данный период, в период существования в одиночку? Ортодоксальная традиция, которой придерживались Зиновьев и Каменев, исходила из того, что социализм в одной стране вообще невозможен. Эта позиция имела свою внутреннюю логику. Полная и окончательная победа социализма для них фактически совпадала с наступлением коммунизма. Однако Зиновьев и Каменев считали, что строить социализм, безусловно, можно и нужно. Они даже вступили в несколько надуманную дискуссию по этому вопросу с Троцким, который считал, что действительный расцвет социализма начнется после мировой революции, а период до мировой революции можно считать только подготовительной фазой. Но и Троцкий видел бесспорный социалистический вектор движения в этот подготовительный промежуток времени.

Для всех была понятна и пропагандистская нагрузка тезиса о социализме в одной стране. По сути дела, вся полемика на XIV съезде партии (1925) по вопросам наших перспектив в значительной мере приобрела этот агитационно-пропагандистский акцент. Бухарин прямо заявил, что нельзя говорить рабочим, что мы строим госкапитализм, хотя и особого рода, а не социализм³². Теоретически подобные доводы были несостоятельны. Однако пропагандистский аспект проблемы (как назвать то, что у нас происходит, куда мы движемся?) приобрел очень существенное значение.

В 1926 г. в ответе на анкету журнала «Молодая гвардия» «Какой бы вы хотели видеть нашу молодежь?» известный партийный деятель С. Гусев писал: «Теперьшнему поколению нашей молодежи приходится развиваться в условиях более плохих, чем поколению, развивающемуся во время «военного коммунизма», и даже, с известной стороны, чем поколению, выступавшему во время Февральской и Октябрьской революций. До введения нэпа задача была ясной. Враг, против которого направлялась борьба, был непосредственно ощутим, так сказать, руками. Методы борьбы против него были просты и бесспорны. Не то при нэпе: задача... сложна и длитель-

на, простого решения такой задачи не может быть, «враг» — внутренний (кулак) — трудноуловим, а внешний — далек, оба действуют против нашего Союза сложными и запутанными методами экономического соревнования в сочетании с экономической блокадой»³³. Вот это ощущение потери перспективы, темпа движения, неприятие «выжидательной работы» особенно остро проявилось в тех слоях населения, на которые прежде всего опирались коммунисты. И это немаловажный фактор, который влиял на партийную политику.

Возникал вопрос и о критериях социалистичности. По сути дела, спор середины 20-х годов о том, социалистические у нас предприятия или нет, имел пропагандистское, агитационное значение. Получили развитие деформации теоретического восприятия этих проблем и тех результатов, которых общество достигло к тому времени. Наметилась тенденция подтягивания реально достигнутого к уровню идеального. Данные конкретные формы, коль скоро они базируются на государственной собственности, уже оцениваются как собственно социалистические. Аналогичные вопросы возникали и в отношении политического строя.

Такого рода взгляды закрывали возможности для более углубленного анализа самой сущности нарождающегося социализма, потому что существующие противоречия, связанные с вовлечением масс в непосредственное историческое творчество, часто объяснялись упрощенно, прежде всего наличием несознательных людей. Вне анализа вообще остались те варианты развития, которые предполагали распространение кооперативного принципа, идеи группового интереса на госпромышленность. И это не случайно. Раз существующее в государственном секторе экономики объявляется вполне социалистическим, то ставить вопрос о каких-то структурных реформах уже не приходится. Любые изменения, предложения будут оцениваться с точки зрения отката назад, поскольку имеются чуть ли не достигнутые вершины. А на рубеже 20—30-х годов вообще происходит сужение проблемы социалистического строительства до уровня нескольких приоритетных задач, вытекающих из особенностей развития страны и обострения международной обстановки. Был отсечен целый комплекс вопросов, оставленных как бы на будущее.

Действительно, на том этапе, на том витке социалистического строительства на первый план выдвигалась

задача выживания. В ходе решения этой задачи, предполагавшей любой ценой развить тяжелую промышленность, укрепить обороноспособность, ликвидировать дестабилизирующие факторы, возникал соблазн подменить одно другим. И переходное общество, которое боролось за свое выживание путем форсированной индустриализации и насильственной коллективизации, в конце концов отождествилось в понимании практически всех современников с социализмом. Гарантии выживаемости подменили само понятие «социализм». Отсюда неверно были оценены границы переходного периода в нашей стране, объявлены социалистическими многие формы, которые в действительности еще не являлись таковыми. Были снижены, а затем грубо искажены и сами критерии социалистичности.

Таким образом, вопрос о строительстве социализма в одной стране не получил удовлетворительного теоретического осмысления. В конце 20-х годов примитивная трактовка этого тезиса вступила в явное противоречие с существующими тенденциями развития советского общества, в частности с усилением, вопреки классическому марксистскому прогнозу, роли государства, гипертрофией его репрессивно-карательной функции, с тотальным огосударствлением всех сторон общественной жизни.

4. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА НЭПА

«Военно-коммунистические» деформации строительства социализма возникли как бы на пересечении объективной ситуации (слабость производительных сил, низкий уровень политической культуры, отсутствие демократических традиций) и теоретических представлений о том, что «социализм есть не что иное, как государственно-капиталистическая монополия, *обращенная на пользу всего народа* и постольку *переставшая* быть капиталистической монополией»³⁴. В начале 20-х годов идею социализма как государственной монополии, обращенной на пользу народа, Ленин дополняет идеей социализма как строя цивилизованных кооператоров³⁵. Именно дополняет, потому что понимание особой роли государства и партии в социалистическом преобразовании аграрно-индустриального общества никуда не исчезает из последних ленинских размышлений. Весь вопрос упирается в формы организации государственной власти пролетариата, методы воздействия государства на общество.

Но Ленин совсем не случайно подчеркнул необходимость изменения «всей точки зрения нашей на социализм»³⁶ именно в контексте создания на путях нэпа строя цивилизованных кооператоров.

Ленин в конечном счете пришел к пониманию нэпа не как отступления, хотя он не раз предупреждал о заложенных в нэпе реставрационных опасностях, а как долговременной политики. На этой почве у него и рождается изменение точки зрения на социализм. Однако для значительной части коммунистов нэп был даже не просто отступлением. Именно нэп, а не «военный коммунизм» был для них деформацией социализма. В партии были очень сильны элементы разочарования. Пришлось проводить партийную чистку и освобождаться от тех людей, которые не поняли и не приняли нэп. (В некоторых губерниях около половины коммунистов даже в 1923 г. вообще не понимали, в чем особенности нэпа³⁷.) На XI, XII съездах РКП(б) делались выводы о том, что в основном значение нэпа всей партией усвоено. Однако, как показали последующие события, значение нэпа большинством коммунистов было усвоено с чисто прагматической точки зрения. Эта абберрация восприятия действительности начала 20-х годов, конечно, самым серьезным образом повлияла на судьбу нэпа. На этом фоне даже поворот 1929 г. мог восприниматься чуть ли не как восстановление идеала социализма, а совсем не отступление от него. В этом парадокс нашего исторического развития, в том числе и идейно-теоретического. Новая точка зрения на социализм не пробилась, не дошла до сознания значительной части партии и партийного руководства.

Старая теоретическая модель социализма продолжала жить в сознании преемников Ленина. Даже у Бухарина представление о том, что раз есть товарное производство, то это уже не социализм, сохранялось в середине 20-х годов. Что из этого следует? В партийной политике возник ненормальный симбиоз, когда цель — социализм — выступает во многих отношениях как отрицание средств, форм, самого пути его достижения (на базе нэпа, на базе рынка, товарно-денежных отношений и т. д.). Мы должны были создать такое общество, в котором ничего этого фактически не будет. Создать общество, которое будет полностью отрицать нэп. Таким образом, видится дорога, какой-то путь к социализму, но для того, чтобы от нэпа перейти к социализму, необходимо перепрыгнуть фактически через пропасть, которая разделяет

товарно-денежные отношения и прямой продуктообмен, «бестоварный» социализм.

Этот теоретический парадокс разрешения не нашел, хотя Ленин вел поиск именно в этом направлении. Он пытался органически соединить конечную цель движения — социализм — и новые представления о том, какими методами к социализму следует двигаться. Рассматривая социализм как «строй цивилизованных кооператоров» в широком смысле этого слова, то есть включая и использование группового интереса в промышленности в различных формах, Ленин мог получить определенный органический процесс. Большинство его преемников этого органического процесса не видели, и в результате они пропустили очень важную фазу в развитии нэпа — этап кооперативного нэпа как обязательной ступени на пути к социализму³⁸.

А было ли вообще конструирование нэпа в 1921—1925 гг. результатом целенаправленного процесса, в перспективе которого виделся «строй цивилизованных кооператоров»? Об импровизационном характере проводимой политики на XIII партийной конференции (1924) прямо говорил Преображенский³⁹. С этого времени проблема теоретического предвидения все заметнее продвигается на второй план. Уже первый период нэпа, который сама партия впоследствии назвала стихийным, во многом определялся прагматической реакцией на возникающие трудности. Так было, когда, к примеру, в 1923 г. государственную монополию хотели обратить если не на благо народа, то на благо будущего социализма, попытавшись начать форсирование индустриализации с помощью «перекачки» средств из сельского хозяйства в промышленность (монопольное положение государственной промышленности на рынке было использовано для резкого повышения цен на промышленные изделия, возникли «ножницы» цен и кризис сбыта). Кризис заставил принять ряд серьезных мер, связанных с дальнейшим оформлением нэпа, расширением его границ. Следующий этап — новые кризисные явления 1924—1925 гг. и снова уступки, в том числе и политического характера. Говоря об этом, мы вовсе не хотим сказать, что вынужденность компромисса с мелкой буржуазией означает его ненужность или вредность. Но все-таки складывается впечатление, что само развитие нэпа идет стихийно, что оно не обеспечено новыми теоретическими идеями. Тем более что в конечном пункте видится не «строй цивилизован-

ных кооператоров», а старый образ «бестоварного» социализма.

Этот взгляд в значительной мере влияет на конкретные решения. О кооперации говорят много, но она не закладывается в конечный социалистический идеал, а в действительности перерождается и деградирует. Почему происходит это? Потому, что нэп и ожидаемые его результаты были подманы в теории старой точкой зрения на социализм, старым его образцом. Отчасти по этой причине внутри нэпа зреет и его административно-командное отрицание — реакция теоретически невооруженной политики на нарастание кризисных явлений.

А как иначе? Надо вернуться к проработке последних ленинских идей. Это прежде всего активизация группового интереса, причем не только в сельском хозяйстве, но и в промышленности.

Правота ленинской идеи группового интереса, которая, собственно, и заложена в проблеме кооперирования, в глобальном плане подтверждена опытом десятилетий. Но в то время когда эта идея только прозвучала, причем в последних произведениях Ленина, где он уже не мог придать ей сколько-нибудь развернутого обоснования, да и сама теоретическая работа по изменению точки зрения на социализм у него только начиналась, — все это, вероятно, не могло быть воспринято ленинскими преемниками. Слишком это отличалось от усвоенных ими представлений о том, каким социализм должен быть.

Последующее развертывание ленинской концепции предполагало перенесение кооперативного принципа в госпромышленность, поскольку в государственных предприятиях, к чему мы наконец пришли сегодня, тоже должна работать идея «строя цивилизованных кооператоров». Робкие ростки новых форм организации группового интереса на производстве, в госпромышленности в реальной жизни были. Это идея коллективного рабочего снабжения⁴⁰ (зародыш коллективного подряда). Это идея передачи предприятий в «концессии» рабочим⁴¹ и др. Причем поначалу к ним, как возможной перспективе, относились всерьез и Ленин, и Бухарин. (Впоследствии эти идеи сошли на нет.) В начале 20-х годов объективные условия были таковы, что они все время затрудняли перевод госпромышленности на иные основания. Сначала потому, что проекты группового коллективного подряда (эксперимент, предложенный Ю. Лариным в 1921 г.) увеличили бы безработицу, а рабочий класс немногочислен,

он деклассируется, его надо сохранить любой ценой, поставить рабочий класс в зависимость от хозрасчета в условиях стихии свободного рынка значило нанести ему серьезнейший удар, нанести удар и самому новому строю.

После же, в 1925 г., когда не была уловлена возможность перехода на другой тип движения, когда поспешили с ускорением индустриализации на базе старых возможностей нэпа, уже возникла другая ситуация — в условиях «перекачки» средств из сельского хозяйства в тяжелую промышленность перенос кооперативного принципа на государственные предприятия был сильно затруднен не только теоретическими предрассудками, но и тем, что «перекачка» изначально ограничивала, если не подрывала, хозрасчет.

Развивавшиеся формы хозяйствования по своему содержанию в лучшем случае можно было рассматривать как раннесоциалистические, а многие из них, вероятно, можно было считать и госкапиталистическими. Приоритет государственного начала, государственного интереса над интересами личности превалировал, гармония между ними найдена не была. В конечном счете в конце 20-х годов наша страна свернула с пути построения социализма как строя цивилизованных кооператоров на путь построения «государственного социализма» (определение Бухарина).

Этот путь достаточно отчетливо наметился в решениях XV съезда ВКП(б) в 1927 г. Казалось бы, съезд принял программу плавного «переконструирования» нэпа, которая предусматривала вполне реальные для того времени масштабы включения крестьян в производственную кооперацию. Однако в этой программе с трудом просматривалось изменение «всей точки зрения нашей на социализм».

Достаточно обратиться к одному из основных документов XV съезда — «О директивах по составлению пятилетнего плана народного хозяйства». В нем постоянно встречается указание на необходимость преодоления анархии рынка, на необходимость введения его в какие-то рамки. Да и в целом рынку дается, в общем-то, отрицательная оценка: он фигурирует в документе только как частный рынок⁴². Никаких других форм рынка, которые могли бы быть включены в реализацию планомерного характера социалистического производства, не предусматривалось. Более того, преодоление анархии рынка в отдаленной перспективе, по мере успехов со-

циалистического строительства, мыслилось как преобразование системы государственного регулирования рыночных отношений в аппарат социалистического распределения продуктов. Примерно в таком же ключе рассматривался вопрос о перспективах развития кооперации, в частности потребительской. Перед ней действительно ставились задачи охвата все больших кругов населения, однако в перспективе она должна была превратиться в «дешевый и рациональный аппарат движения товаров от производителя к потребителю»⁴³.

Таким образом, в сознании коммунистического авангарда при принятии решений на XV съезде ВКП(б) присутствовал старый образ «бестоварного» социализма, который определял политику партии на ближайшую перспективу развития.

Можно сказать, что в декабре 1927 г. партия начинает поворот к строительству «нормального» «государственного социализма» и в известном смысле возвращается к идеям донэповского периода. Новая программа, разумеется, не содержит никаких указаний на особую роль насилия, но в значительной степени ориентирует на уже разработанные методы активизации трудовых усилий работника образца 1920 г., с упором на энтузиазм и ударничество, сознательность и пропаганду. (Следует отметить, что идея опоры на энтузиазм, если учесть ограниченность средств на реконструкцию, сама по себе не была утопична. Но люди, как уже стало ясно после гражданской войны, не могут находиться в состоянии «экстатического подъема» годами. И поэтому «государственный социализм» должен был непосредственно опереться либо на активизацию материальных интересов работников, либо на усиление принудительных мер.)

Если бы выбор был сделан в пользу строя цивилизованных кооператоров, то мы получили бы иную модель. Тогда разработка концепции социалистической реконструкции предполагала бы не идею постепенного перехода к социалистическому распределению продуктов, своевременного предъявления кооперативными организациями промышленности заявок через систему заказов и т. д., а создание социалистического рынка.

Модель, разработанная XV съездом, исходила из предположения, что уже созданы более рациональные формы регулирования экономики и общественных отношений, чем «традиционный» нэп. Какие же это формы? Это прежде всего государственное воздействие на эконо-

мические процессы. Партийные решения исходили из того, что плановое руководство хозяйством делается возможным «благодаря громадной централизации средств производства и аппаратов, обслуживающих процесс обращения, в руках пролетарской власти...»⁴⁴. Эти решения исходили также из той посылки, что преимущества планового руководства позволяют будто бы обходиться значительно меньшей нормой товарных запасов, чем это необходимо хозяйству капиталистических стран. План должен был предусматривать образование таких запасов, которые были бы достаточны как для бесперебойного снабжения рынка, так и для сглаживания сезонных колебаний рыночной конъюнктуры⁴⁵.

Ориентация на государственное регулирование рынка в то же время должна была учитывать и нормальные формы экономического поведения мелких товаропроизводителей. Оно вообще не может быть правильно оценено в категориях того времени, когда факт продажи хлеба государству рассматривался как свидетельство сознательности, а придерживание этого хлеба для того, чтобы потом выбросить его на рынок по выгодной цене, — как свидетельство несознательности, саботажа и вражеских происков. Естественно, что все крестьянство подчинялось определенной логике экономического поведения. Чем больше товарная масса хлеба, которым располагает крестьянское хозяйство, тем больше у него возможностей дожидаться выгодных условий продажи, придерживать хлеб, ориентируясь на рыночную конъюнктуру. Ускорять хлебозаготовки можно было при насыщении деревенского рынка промтоварами, увеличивая тем самым потребность крестьянства в «живых деньгах». Однако этому мешал хронический товарный голод, и держатели товарного хлеба не спешили продавать его. Такого рода нормальное экономическое поведение само по себе не может рассматриваться как стачка, саботаж и т. д. И главное, наивно было бы надеяться, что оно (это поведение) может быть «исправлено» призывами к сознательности. Только экономические рычаги могут поддерживать стабильную обстановку. Однако для того чтобы их использовать, государство должно было иметь в своем распоряжении резервы. Товарных же запасов к моменту, когда идеи XV съезда надо было проводить в жизнь, фактически не было. Запутавшись в теоретических и практических противоречиях и оказавшись перед лицом хлебозаготовительного кризиса 1927—1928 гг., партийное руковод-

ство во главе со Сталиным встало на путь «простых» решений, восполнения собственных теоретических слабостей насилием, которое чем дольше, тем больше превращалось из «повивальной бабки» в палача. В результате мы получили сильно деформированный в сторону казарменности «государственный социализм», отягощенный личной диктатурой и массовыми репрессиями.

Становление этого грубо деформированного «государственного социализма» и его теоретическое узаконение было достаточно длительным процессом. По мере его развития имели место отступления и попытки преодоления тех искажений, которые повлекла за собой сталинская «революция сверху». Одним из таких моментов были решения 1932—1934 гг., отразившие стремление части партийного руководства придать «государственному социализму» нормальный, правильный, если так можно выразиться, вид.

5. КАКИМ БЫТЬ «ГОСУДАРСТВЕННОМУ СОЦИАЛИЗМУ»: ДИЛЕММА 30-х ГОДОВ

К концу первой пятилетки страна находилась в очень сложных условиях. Быстрый рост промышленного потенциала ни в коей мере не компенсировал того, что этот потенциал не удалось освоить в полной мере. Сельское хозяйство испытывало спад, завершившийся голодом 1932—1933 гг. На все это партийное руководство не могло закрыть глаза. Эти проблемы становятся первоочередным предметом обсуждения. В партии зазвучали даже голоса о «неонэпе». На пленумах ЦК ВКП(б) от него всячески открещивались, но, несмотря на это, эти голоса звучали достаточно настойчиво. По сути дела, за этим стояла неоформленная теоретическая мысль: общество, радикально изменившееся в результате «революции сверху», тем не менее нуждается в реформировании. За словом «неонэп» стояла несформулированная программа, предполагающая, в частности, и ответ перед народом за насильственное «свертывание» нэпа. Оно не дало тех результатов, на которые рассчитывало большинство ЦК, раскручивая маховик «чрезвычайщины». Не случайно Сталина так пугали даже глухие намеки на то, что реализация политической линии «правых» могла бы дать те же результаты, но без колоссальных экономических и моральных потерь⁴⁶. За словом «неонэп» стояли еще нераз-

вернутые тенденции нэпа, пробивающие себе дорогу даже после того, как над хозяйственной жизнью пронесся ураган «чрезвычайщины». Эти тенденции отражали потребности в нормальном развитии экономики, в возврате к некоторым принципам нэповского общества, к установлению «правильного» «государственного социализма».

Имелись ли политические механизмы, с помощью которых можно было придать «государственному социализму» иной вид? Ведь к этому времени сложился режим личной власти Сталина, существовала отработанная система чрезвычайных органов, особые функции выполняло ОГПУ. По существу, единственным на этот момент субъектом власти, который мог принять решения соответствующего плана, был Сталин. Во всяком случае, его голос, его вес в политической системе уже был таким, что надо было либо убрать Сталина (но с помощью каких механизмов?), либо сам Сталин должен был принять решение о перемене в политике. Но признать необходимость нормализации «государственного социализма» Сталин не мог прежде всего по той причине, что возвращение к ленинскому гуманистическому пониманию социализма означало бы признание несостоятельности его политики и неизбежный отказ от власти, по крайней мере от режима личной власти. Естественно, у Сталина остался путь политической демагогии: объявить созданное общество построенным в основном социализмом, более того, возвести в ранг социализма и его сущностных характеристик явные нарушения ленинских принципов, отход от гуманистического критерия.

Перестав признавать те или иные явления как отклонения от нормы, общество закрывало и возможные пути борьбы с ними. Но как только происходит освящение той или иной аномалии, начинается «вмонтирование» ее в определенную модель социализма, тогда открываются пути для самых глубоких деформаций, их закрепления и идеологического узаконения. Они начинают пронизывать все этажи общественного здания, сверху донизу.

Возникшую систему уже нельзя было назвать «нормальным» «государственным социализмом» (государственной монополией особого рода⁴⁷). Сам по себе «государственный социализм» — вариант, вероятно, худший, чем строй цивилизованных кооператоров, но в целом приемлемый. Он позволял решать задачи индустриализации и достижения технико-экономической независимости нашей страны, но его возможности по сравнению с

возможностями, заложенными в строе цивилизованных кооператоров, были гораздо меньшими. Однако и этот «государственный социализм» не сформировался. Лишь внешние формы и словесные его описания отвечали представлениям 1920 г. По существу же мы имели грубо деформированный «государственный социализм». Поэтому при рассуждениях о деформациях необходимо, на наш взгляд, иметь в виду не только то, что есть стратегическая разница между «строем цивилизованных кооператоров» и «государственным социализмом», но и то, что «государственный социализм» у нас сформировался в его худшей, извращенной, репрессивно-карательной форме. И если использовать образное сравнение, то это был «аппаратный социализм», отягощенный чрезвычайными мерами, возведенными в систему.

Если с этой точки зрения взглянуть на ситуацию 1932—1934 гг., ту непроросшую «почку» поворота — «неонэп», то есть на возможность определенных реформ и изменений, то можно утверждать, что это, конечно, был бы не возврат к идее «строения цивилизованных кооператоров», хотя многое и можно рассматривать в русле этих идей (колхозная торговля, признание рынка и т. д.). В лучшем случае, при доброй воле руководства все эти изменения могли привести всего лишь к очищению «государственного социализма» от деформаций «чрезвычайщины», то есть к тому его виду, который существовал в нашей истории в конце 50 — начале 60-х годов, когда Хрущеву удалось провести «расчистку» и на какое-то время получить временный тактический выигрыш в темпе развития.

«Государственный социализм», «нормальная» административно-командная система — это была возможная, а может быть, и более чем возможная, учитывая нашу отсталость и одиночество, форма раннего социализма. В чем состоит норма такого «государственного социализма», если вернуться к прочтению ленинских работ донэповского периода? Во время дискуссии о профсоюзах (1920—1921 гг.) достаточно отчетливо прозвучала мысль, что принуждение (а не насилие. — Авт.) эффективно только тогда, когда оно опирается на «базу убеждения»⁴⁸. Но Ленин признавал, что энтузиазм, равно как и опора на чистую «сознательность», не может длиться долго⁴⁹. Диалектика принуждения и убеждения представляет собой несущую конструкцию «государственного социализма». Однако именно поэтому «государственный социализм» несет в себе свое отрицание. Компонент

энтузиазма либо удастся подпереть материальным стимулированием, личной и групповой заинтересованностью работников, либо, по мере спада (или в случае «нехватки») этого энтузиазма, придется административные, карательные методы усиливать. Пропорция между принуждением и убеждением будет смещаться в сторону принуждения, которое при определенных условиях может выродиться в прямое насилие. Кстати, эволюция принципов оплаты труда в первой половине 30-х годов свидетельствует о том, что попытки «подпереть» двух китов «государственного социализма» — убеждение и принуждение — материальными стимулами предпринимались⁵⁰. Однако эти попытки были недостаточно радикальны для того, чтобы решить проблему «всерьез и надолго». А главное, сама возможность отступить от деформированного «чрезвычайщиной» «государственного социализма» к нормальному была почти наглухо заблокирована сложившимся политическим механизмом, превращением Сталина в единоличного диктатора, грубейшими деформациями партии и государства как системообразующих элементов «государственного социализма».

Объективные законы общественного развития, безусловно, подталкивали руководство страны хотя бы к частичному преодолению «чрезвычайщины». В то же время Сталин и его ближайшее окружение делали это, сжимая зубы, в силу необходимости, под давлением стихии, с которой они не в состоянии были справиться с помощью гипертрофии насилия. Периодическое нарастание чрезвычайных мер, террора и насилия сменялось откатами, заявлениями о том, что больше этого не повторится, что виновники «перегибов» осуждены и устранены. (Об этом свидетельствуют, например, решения XVIII Всесоюзной партийной конференции и февральского (1941 г.) Пленума ЦК ВКП(б)⁵¹.) Но политический каркас советского общества в конце 30-х годов был уже настолько изуродован, что даже гипотетическое очищение от «чрезвычайщины» все равно не было бы возвратом к ленинским идеям социализма, а лишь попыткой немного облагородить грубо деформированный «государственный социализм».

То, что сложившаяся система управления экономикой неэффективна, в определенной мере начало осознаваться⁵². На февральском (1941 г.) Пленуме Молотов, например, достаточно откровенно признавал, что в народном хозяйстве стало обычным явлением неправильное реше-

ние вопроса о материальном стимулировании труда, что в оплате труда, несмотря на установки XVII и XVIII съездов партии, у нас много уравнительности⁵³. Молотов выделяет убеждение как основной в тех условиях метод вовлечения масс в социалистическое строительство (что уже противоречит практике «чрезвычайщины»), указывая на «дополнительность» метода принуждения. Да и в целом ряде более ранних решений абстрактно ставился вопрос об изменении пропорций между убеждением и принуждением. Однако стремление ослабить нажим на трудящиеся массы для активизации их трудовой деятельности в рамках принятой системы координат (убеждение и принуждение) само по себе не могло дать желаемого результата. Попытки апеллировать к сознанию, действовать методами убеждения каждый раз обнаруживали какой-то вакуум, неполноту самого подхода, и каждый раз партийное руководство дополняло его принуждением и насилием. Правда, одновременно с этим присутствовало понимание того, что убеждение и принуждение надо по крайней мере попытаться подпереть материальным стимулированием, реабилитировать его после торжества уравнительных моделей, сбивающих трудовую активность людей.

Какой же избирается путь? Можно ли сказать, даже абстрагируясь от результатов «революции сверху» и политических преступлений против собственного народа, что партийное руководство двигалось на этих двух китах к ленинскому видению социализма? Можно ли сказать, что направление мысли было четко очерчено рамками «государственного социализма», в котором устанавливалась прямая связь между ленинскими идеями о необходимости строить всякую крупную отрасль промышленности на личной заинтересованности работника, с теми мерами материального стимулирования, которые принимал ЦК под руководством Сталина с 1931 г.? Нет, такую генетическую связь проследить довольно трудно. Между стремлением строить каждую отрасль народного хозяйства на личном интересе и подчинением личности интересам государства, удовлетворения этого личного интереса в той мере, какую на данный момент определяет само государство, лежала пропасть. В ленинских представлениях эта пропасть заполнилась концепцией группового интереса, как опосредующего звена между интересами государства и личности, ориентацией на хозрасчет.

Согласно ленинской идее, материальные интересы работника удовлетворяются в зависимости от количества и качества его труда. И чем выше уровень жизни трудящихся, тем богаче государство.

Сталинское окружение придерживалось другой модели: государство само решает, в какой мере должен богатеть работник. Причем доля, которая выплачивается государством работнику, определяется не по конечному результату работы коллектива, а по старой капиталистической системе норм, тарифов и расценок, дополненной принципом материального премирования. Иной, обратной связи, — если хорошо работнику, то быстрее богатеет государство — партийное руководство 30-х годов не допускало. Между тем реализация такой обратной связи и была бы возвращением к идеям социализма как «строения цивилизованных кооператоров», к неразвернутым идеям «неонэпа» о новом рынке как форме связи между интересами работника, группы работников и государства.

О том, что на февральском (1941 г.) Пленуме ЦК ВКП(б), естественно, не было и намека на возврат к ленинским идеям строительства социализма, а всего лишь умозрительно ставился вопрос о «нормальном» «государственном социализме», свидетельствуют и откровенно провозглашенные идеологические ограничители принципа материального стимулирования⁵⁴. В прикладном отношении он рассматривался чуть ли не на равных с убеждением и принуждением. Но в теоретическом плане Молотов (и это ни у кого из участников Пленума не вызвало возражения) видел в нем пережиток капитализма. Более того, он считал, что неумеренное употребление материального поощрения будет разжигать интересы частного личного хозяйства, грозит возвратом к капитализму⁵⁵. За этим стоит отношение к личному материальному интересу как к явлению неполноценному, как к пережитку прошлого. По мере перевоспитания людей «в нашем духе» он должен был быть преодолен и подчинен всецело интересам государства.

Говоря о трех главных моментах социалистической организации труда (материальный интерес трудящихся, техника производства, организационные мероприятия — от дисциплины труда до тейлоризма), Молотов указывал на противоположность их использования при капитализме и при социализме: они — в интересах частного лица, капитала, мы — государства и народа⁵⁶. Но здесь

как бы невольно происходила подмена — на место капиталистов приходит государство, интересы которого вроде бы полностью совпадают с интересами народа и отдельной личности. Известно, что такой гармонии никогда на практике не бывает. Всегда существуют определенные противоречия между интересами государства и интересами различных слоев общества. И способом, каналом гармонизации этих интересов как раз и является глубокий хозрасчет и групповое распоряжение собственностью. Материальные интересы работников вообще нельзя рассматривать как «пережиток», а тем более считать единственным признаком социалистичности отношений на производстве идейно-политическую меру (соревнование, агитация за подъем производства, награды и т. д.). При таком подходе способ преодоления противоречия между интересами государства и интересами личности видится один, идеальный для «государственного социализма» — это «чистая сознательность» работника, которую государство в той мере, в какой оно богатеет, материально вознаграждает. Когда все станут сознательными, то отпадет необходимость и в материальном стимулировании (оно, по мнению Молотова, возбуждает буржуазного характера интересы) и установится прямой продуктообмен. Пока же принцип материальной заинтересованности может действовать лишь в той мере, в какой его допускает административное усмотрение государства⁵⁷.

Партийное руководство 30-х годов, даже осознавая в какой-то мере экономическую и социальную несостоятельность «чрезвычайного» социализма (а Сталин и его единомышленники были тесно связаны с ним своими собственными ошибками), могло стремиться в лучшем случае лишь к «вершине» «государственного социализма». Однако ставка на убеждение и принуждение как основные методы активизации трудовой деятельности масс, дополненные неполноценным и выхолощенным принципом материального стимулирования, могла дать только временный тактический эффект, но не устойчивый темп развития. Результатом такого отношения к проблеме стало то, о чем в свое время предупреждали коммунистов их оппоненты из «Социалистического вестника»: «Самодеятельность масс нельзя заменить активностью власти»⁵⁸. Вся система могла работать лишь в лихорадочном режиме для решения очень узкого круга приоритетных задач, когда административные рычаги дают возможность концентрировать средства на узких участках широкого

фронта строительства. Как только возникал вопрос о долговременном стратегическом и динамическом продвижении вперед, руководство неизбежно должно было упереться в неизлечимые слабости своего «проекта» социализма.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 38. С. 97.
- ² Бюллетень IV Конгресса Коммунистического Интернационала. 1922. № 14—15. С. 9.
- ³ Троцкий Л. Д. Основные вопросы революции. М.; Пг., 1923. С. 351.
- ⁴ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 44. С. 151.
- ⁵ См. там же. Т. 38. С. 170.
- ⁶ ЦПА ИМЛ. Ф. 17. Оп. 84. Д. 110. Л. 6.
- ⁷ Там же. Л. 12.
- ⁸ Там же. Л. 9.
- ⁹ Там же. Д. 230. Л. 16.
- ¹⁰ Там же. Л. 18.
- ¹¹ Там же.
- ¹² Там же.
- ¹³ См.: Козлов В. А. Социалистическая революция и человек // Коммунист. 1988. № 4. С. 111—112.
- ¹⁴ См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 36. С. 199.
- ¹⁵ См.: Луначарский о Ленине // Знамя. 1987. № 11. С. 8—11.
- ¹⁶ XIV съезд Всесоюзной Коммунистической партии (большеви-ков): Стенографический отчет. С. 163.
- ¹⁷ Там же. С. 164.
- ¹⁸ ЦПА ИМЛ. Ф. 79. Оп. 1. Д. 287. Л. 49—50.
- ¹⁹ КПСС в резолюциях... Т. 3. С. 57.
- ²⁰ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 53. С. 187.
- ²¹ ЦПА ИМЛ. Ф. 17. Оп. 84. Д. 230. Л. 56.
- ²² См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 20.
- ²³ См. там же. Т. 42. С. 3; Т. 43. С. 210—211.
- ²⁴ См.: Шестой съезд РСДРП(б): Протоколы. М., 1958. С. 250.
- ²⁵ См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 42. С. 1.
- ²⁶ См.: Троцкий Л. Д. Дневники и письма. Эрмитаж, 1986. С. 159.
- ²⁷ См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 43. С. 65, 151—152; Т. 44. С. 151, 164, 165.
- ²⁸ См. там же. Т. 45. С. 380—382.
- ²⁹ См.: Красин Ю. Рабочее движение в поисках демократической альтернативы // Коммунист. 1988. № 14. С. 65—76.
- ³⁰ Бюллетень IV Конгресса Коммунистического Интернационала. 1922. № 14—15. С. 9.
- ³¹ Day Richard B. Leon Trotsky and the Politics of Economic Isolation. L.; N. Y., 1973. P. 6.
- ³² XIV съезд Всесоюзной Коммунистической партии (большеви-ков): Стенографический отчет. С. 152.
- ³³ Молодая гвардия. 1926. № 4. С. 82.
- ³⁴ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 34. С. 192.
- ³⁵ См. там же. Т. 45. С. 373.
- ³⁶ Там же. С. 376.

- ³⁷ См.: *Ярославский Ем.* Агитационно-пропагандистская работа ВКП(б): Между XI и XII съездами. М., 1923. С. 11—12.
- ³⁸ Подробнее см.: Правда. 1988. 30 сент.
- ³⁹ См.: Тринадцатая конференция Российской Коммунистической партии (большевиков): Бюллетень. М., 1924. С. 146—147.
- ⁴⁰ См.: *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 43. С. 292—293, 358—359. См. также: История социалистической экономики СССР: В 7 т. М., 1976. Т. 2. С. 107.
- ⁴¹ См.: *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 43. С. 190.
- ⁴² КПСС в резолюциях... Т. 4. С. 274—275.
- ⁴³ Там же. С. 286.
- ⁴⁴ Там же. С. 294.
- ⁴⁵ Там же. С. 286.
- ⁴⁶ См.: Коммунист. 1988. № 13. С. 106—107.
- ⁴⁷ См.: *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 34. С. 192.
- ⁴⁸ См. там же. Т. 42. С. 216—217.
- ⁴⁹ См. там же. С. 6.
- ⁵⁰ См.: Исторический опыт и перестройка: Человеческий фактор в социально-экономическом развитии СССР. М., 1989. С. 88—114.
- ⁵¹ См.: КПСС в резолюциях... Т. 7. С. 192—206, 207.
- ⁵² См.: *Хлевнюк О. В.* 26 июня 1940 года: иллюзии и реальности администрирования // Коммунист. 1989. № 9. С. 86—96.
- ⁵³ ЦПА ИМЛ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 679. Л. 7—8.
- ⁵⁴ Там же. Л. 7.
- ⁵⁵ Там же. Л. 31.
- ⁵⁶ Там же. Л. 28.
- ⁵⁷ Там же. Л. 32—33.
- ⁵⁸ Социалистический вестник. 1927. 26 февр. С. 7.

Взгляд из сегодня:

СУЩНОСТЬ И ВИДИМОСТЬ СТАЛИНСКОГО ПЕРЕВОРОТА

Для того чтобы почувствовать моральное удовлетворение, историку, в общем-то, достаточно ввести в научный оборот новые исторические факты. С этой точки зрения мы могли бы быть довольны нашими публикациями по проблемам сталинизма. Отчасти то же самое можно сказать и о концептуальной стороне исследования. Несмотря на господствовавшую в свое время тенденцию списать все драмы нашей истории на «злую волю» Сталина или на незнание им марксизма, отступления от него, мы все-таки пытались ставить вопрос об объективных основаниях сталинской политики, о том, что, собственно, позволило его идеям и взглядам воплотиться в жизнь в отличие от идей и взглядов оппонентов. Причем делали мы это в то время, когда, наблюдая за нашей публицистикой и историографией, западные ученые постоянно предостерегали от примитивных суждений, делавших

Сталина единственным виновником всего, что произошло с 1924 г. по начало 50-х годов.

Тем не менее в попытках воспроизвести историю этого периода как некий закономерный процесс мы, как и многие историки, оказались в плену идеологических самооценок сталинской группы. Эта группа говорила о событиях «революции сверху» и ее последствиях на языке социалистических понятий и категорий, освящала эти события социалистическим идеалом. Путаница в понимании того, что такое социализм, попытки объявить «гвоздем и основой» его не столько уровень развития производительных сил, сколько контроль за мерой труда и потребления, наблюдались уже в период 1918—1920 гг. Тогда не только прогрессивные, но и реакционные элементы военно-хозяйственной системы рассматривались как атрибут социализма. Некоторые из них (продуктообмен, поголовное объединение населения в потребительские коммуны, нормирование потребления, трудовая повинность и т. д.), по сути, превращались в программные требования, долговременную политику большевистской партии, что способствовало их консервации и воспроизводству.

Когда мы пытались понять, что же происходило с идеологическими формами, в которых большевики воспринимали процесс, то все время сталкивались с проблемой отставания теории от практики. Мы полагали, что суть дела (по крайней мере, отчасти) в том, что теория не в состоянии была предвидеть всех возможных последствий и своевременно предостеречь от ошибочных действий. Но упования на прогностические функции теории (и сейчас мы это отчетливо видим) уводили от необходимости ответа на другой вопрос: может быть, дело не в отставании теории, а в том, что в системе новой российской государственности у теории вообще была особая функция?

В любой политике теория существует не только как совокупность научных представлений о правилах поведения и способах действия. Теория в советской государственной политике, как правило, становилась идеологией, направленной на цементирование общества, представляющей интерес определенных групп как всеобщий. Для того чтобы развивать экономику и обеспечивать общественный прогресс, правительства передовых стран вообще обходятся без универсальной теории «научного капитализма», а в нашем государстве почему-то обязательно было следовать теории научного коммунизма или, как

стали теперь говорить, научного социализма. В этом вопросе, несмотря на его облегченную и ироническую форму, содержится серьезная проблема. Теория в принципе не в состоянии выполнять те функции, которые ей приписывала сталинская система. А теперь теория мстит за такое к себе отношение. Научные элементы марксистского учения, абсолютно ничего общего не имеющие с утопией, тоже воспринимаются как утопия. Более того, в нем (учении) видят корни сталинизма. Между тем никакая концепция, например «бестоварного» социализма, сама по себе не могла стать исходным толчком для свертывания нэпа (напомним, что Ленин, оставаясь на позициях того же «бестоварного» социализма, сумел решительно повернуть к нэпу). Все доктринальные софизмы сводят проблемы и драмы нашей послеоктябрьской истории к «ошибкам сознания». Отсюда вывод: все дело в том, что большевики неправильно думали, что они руководствовались «преступной» доктриной. Такого рода объяснения не дают ровным счетом никакого понимания реального процесса. Для того чтобы понять этот процесс, необходимо очистить его от тех идеологических оболочек, в которых его воспринимали современники.

Именно поэтому мы не отказываемся ни от чего, что было сказано по поводу отсутствия демократически открытой политической жизни. Как раз это обстоятельство и не позволяло исправлять так называемые «ошибки сознания» сталинского руководства. Отсутствие этого механизма — более важный фактор, сделавший возможным «революцию сверху» в ее варварских формах, чем те или иные теоретические ошибки и просчеты. Более того, практически все эти так называемые теоретические ошибки и просчеты следует связать с попытками Сталина апологетизировать произведенный им политический переворот.

Мы, подобно многим нашим обществоведам, в свое время отдали дань политической культуре уходящей эпохи. В 1988—1989 гг. многие историки и публицисты отыскивали теоретические пороки, следы и намеки на будущую политику, которые содержались в сталинских текстах 1925, 1921 гг., а то и дореволюционного времени. В этих текстах многие склонны были видеть ростки политики конца 20 — начала 30-х годов. Как быть, однако, с массой высказываний и аргументов Сталина, которые, напротив, опровергали эту самую политику? Связать од-

но с другим никогда не удастся, если не ответить на вопрос: почему из своего концептуального арсенала Сталин использует именно эти, а не другие теоретические аргументы? Однако в то время дискуссия затронула лишь периферию этой сложной проблемы и в итоге сосредоточилась на том, что именно Сталин взял у Маркса и Ленина. Сравнения, сопоставления на уровне текстов завели наши споры в тупик, потому что у Ленина тоже можно найти массу высказываний, как оправдывающих те или иные насильственные действия, так и объявляющих их недопустимыми. Все они привязаны к каким-то конкретным периодам, конкретным ситуациям политики. Все это требует совершенно другой культуры анализа, чем та, которую могли предложить публицисты в 1988—1989 гг.

Если встать на путь вытаскивания из текстов тех или иных фрагментов, совпадающих с идеологемами сталинской эпохи, если объявлять такое совпадение идейной связью, идейным родством, то как быть с тем, что у Ленина (даже у раннего Сталина) можно найти массу высказываний, враждебных той политической практике, которая получила название сталинизма.

Может быть, дело все-таки не в словах?

Известный американский советолог Ш. Фитцпатрик, один из лидеров «социальных историков» (популярная в США историографическая школа), вообще считает: социальная история должна существенно изменить традиционные представления о сталинском режиме как инициаторе социалистических изменений 1930-х годов. По ее мнению, этот режим мог только контролировать (да и то частично) результаты своей радикальной политики. Его способность к «революции сверху» была чем-то совершенно отличным от способности к плановой социальной инженерии. Сталинский режим был способен приукрасить результаты «революции сверху», но весьма сомнительно его умение строить что-либо по заранее приготовленным чертежам¹.

Понять ограниченность наших собственных попыток рассматривать сталинскую «революцию сверху» как попытку «подтягивания» формационного уровня советского общества к социалистическому «чертежу» нам помогла содержательная статья известного философа Н. А. Симония. Он справедливо пишет:

«Г. Бордюгов и В. Козлов... утверждают... что осуществленная Сталиным принудительная коллективизация — без предварительного,

добровольного и поэтапного экономического обобществления крестьянского труда — означала «введение» прогрессивных производственных отношений, что «с помощью происшедших в результате коллективизации базисных изменений началось «подтягивание» материальной базы до уровня измененных производственных отношений не только в городе, но и в деревне».

На самом деле аграрный строй, который возник в результате сталинской коллективизации, был даже более низким по своему формационному уровню, чем индивидуальное товарное крестьянское производство. Правда, сам Сталин оценивал этот уровень иначе. Прекрасно сознавая, что для массового превращения колхозов в действительно крупные (в политэкономическом смысле слова) современные хозяйства нет ни техники, ни квалифицированных людских ресурсов и что поэтому его тезис о быстром преодолении хозяйственной разнотипности города и деревни может повиснуть в воздухе, он сделал очередной «вклад» в марксистскую теорию, приравняв к «крупным хозяйственным единицам» уровень производства («мануфактурный» в его представлении) в колхозах, создаваемых им в районах сплошной коллективизации. Но даже если б эти колхозы можно было рассматривать на уровне мануфактурного производства, то и тогда, очевидно, их нельзя было бы отождествлять с политэкономической точки зрения с крупным производством, однотипным фабричному производству в городах. Дело, однако, еще и в том, что эти сталинские колхозы не могли рассматриваться даже на уровне капиталистической мануфактуры. В лучшем случае это были своеобразные «казенные мануфактуры», базировавшиеся на регенерированных элементах «азиатского способа производства» — того самого, реставрации которого на почве национализации земли так опасался Г. В. Плеханов в своем споре с В. И. Лениным в начале века².

Мысль о возможности «завышения» формационного уровня, которой мы в значительной мере руководствовались при объяснении феномена бюрократизации общества, рассматривая бюрократию как идеальный инструмент удержания «завышенных» общественных форм с помощью принуждения и насилия, очень быстро исчерпала свои познавательные возможности. Органичный характер общественного развития, даже в «догоняющих» странах, какой была Россия, даже при условии скачков, «революций сверху» и т. д., тем не менее исключает возможность насильственно повысить формационный уровень. Общество, не готовое для социализма, невозможно путем «красногвардейских атак» сделать обществом социалистическим. Социализм на такой почве можно только медленно «выращивать», что и собирался делать Ленин на основах нэпа.

Все, что в 30-е годы говорил И. Сталин о построенном «в основном» социализме, на проверку оказалось чем-то иным. Что из себя представляло это «иное», если очистить его от сомнительных идейных упаковок? Этот вопрос правомерен и в отношении «военного коммунизма»,

и Октября 1917 г. Он выводит нас на фундаментальные проблемы российской революции. Если избавиться от пропагандистских ярлыков, то нельзя не согласиться с Н. А. Симонией: «...а почему, собственно, сталинская индустриализация рассматривается в качестве социалистической категории?.. Но ведь индустриализация — это функция зрелого частнохозяйственного капитализма, то есть второй фазы капиталистической формации. Значит, мы всего-навсего доделывали за русский капитализм то, что он не успел выполнить до 1917 г.»³.

Н. А. Симония ставит вопрос о том, что в ленинских концепциях присутствовала идея о необходимости сочетания двух процессов: классическая индустриализация и формирование таких «государственно-монополистических структур», которые составили бы базис будущей социалистической экономики. Сталинская «революция сверху» разорвала две стороны единого процесса. В результате регресс с точки зрения продвижения к социализму парадоксальным образом соседствовал с прогрессом в развитии технической базы промышленности, с временным достижением технико-экономической самостоятельности страны.

Заметим кстати, что известные сомнения в «социальности» общества 30-х годов у нас были. В какой-то мере нас «реабилитирует» сама попытка «раздвинуть» (вслед за другими историками, в частности В. П. Даниловым⁴) хронологические рамки переходного периода. Нежелание рассматривать результаты «революции сверху» в категориях социалистического прогресса и в то же время очевидные достижения в развитии технической базы (в своих статьях мы не обошли вопроса о цене и средствах этих достижений) ставили нас в противоречивое положение. Выход из него мы видели в том, чтобы рассматривать 30-е годы в рамках «долгих мук родов» нового общества. Как ни странно, расширение хронологических рамок переходного периода, утверждения о его незавершенности были поставлены нам в упрек. Это наглядно демонстрирует ситуацию теоретического разброда и дезориентации, которая царила и до сих пор царит в рядах обществоведов.

В частности, философ Б. Ф. Славин на методологическом семинаре «Истоки сталинизма: есть ли доктринальные причины деформаций социализма?», прошедшем в Институте марксизма-ленинизма в мае 1989 г., пришел к выводу, что, расширяя временные рамки переходного

периода, мы тем самым пытаемся оправдать сталинизм⁵. У нас был еще более резкий разговор с человеком, который не имеет профессиональной исторической подготовки. Он сказал: у нас, оказывается, были не репрессии, не преступник у власти, а какой-то «переходный период». На таком наивном, бытовом уровне эта проблема воспринималась многими в то время.

Сегодня мы с еще большим трудом в состоянии определить характер общества, в котором жили накануне перестройки. Пожалуй, лишь понятие и образ «долгие мучки родов», употребленный Лениным вслед за Марксом, и подходит ко всей нашей многострадальной истории. Как бы там ни было, вопрос о переходном периоде, явно незавершенном в годы «революции сверху», о переходном периоде, который стал всего лишь идеологической формулой, описывающей процесс индустриальной модернизации варварского типа, все еще не имеет удовлетворительного ответа. Он нуждается в дополнительном осмыслении.

Все замечания Н. А. Симонии касались социально-экономической стороны сталинской «революции сверху». Однако была еще и социально-политическая ее сторона. Здесь у нас тоже было много критиков, позицию которых наиболее рельефно высказал доктор философских наук А. Гулыга:

«3 октября с. г. в «Правде» была опубликована статья «Время трудных вопросов» Г. Бордюгова и В. Козлова, один из разделов которой озаглавлен «Чьи классовые интересы выражал Сталин?». О последнем говорится: «Не только он «лепил» массовые представления о вожде, но и сама масса новых рабочих «лепила» «вождя»...

В свете того, что мы знаем сегодня о Сталине и сталинщине, подобные утверждения звучат неубедительно, более того — кощунственно. Сразу встает вопрос: а чьи классовые интересы выражал Брежнев? «Молодой рабочий класс» к тому времени состарился, выросло новое поколение, а методы оставались прежними.

Сталин и Брежнев выражали интересы созданной ими миллионной бюрократии и больше никого. Образ вождя «лепили» не малоцивилизованные рабочие, а коррумпированные интеллектуалы. Ну а как нам быть тогда с классовым подходом (ведь бюрократия не класс)? Оставить его в покое. Перефразируя известный афоризм, можно сказать: сущее не делится на классы без остатка. В остаток попадают общечеловеческие, национальные, групповые (в том числе мафиозные), личные отношения. Социология власти должна их учитывать. Сталин — узурпатор, он захватил власть в результате переворота (совершенного, разумеется, не в одночасье), он учредил в стране казарменно-бюрократический социализм (возможность которого Маркс предвидел), не выражавший народные интересы. Революционная задача перестройки — вернуть социализм народу, заменить бюрократию демократией»⁶.

Признаемся: словосочетание «выражать интересы» класса было применено нами неудачно. Но в чем же все-таки суть вопроса, смазанная этим неудачным выражением? Напомним, что в свое время «военный коммунизм» завершился массовым народным возмущением, заставившим пересматривать основополагающие принципы большевистской политики. Сталинская коллективизация также вызвала возмущение в стране. Тем не менее протест масс против этой политики все-таки был не настолько решительным и всеобщим, чтобы заставить Сталина отступить, хотя лавирование и откаты имели место. Даже если признать, что все дело в злонамеренности Сталина (заметим в скобках, что и Н. А. Симония постоянно говорит: «Сталин взял и повернул», «Сталин решил «сократить» наш путь к социализму», Сталин сделал то, Сталин сделал это...— это была общая линия обществоведения в 1988 г. и отчасти в 1989 г., все использовали эти выражения в качестве своего рода концептуального суррогата), то на какие же все-таки силы рассчитывал Сталин, проводя эту, а не какую-то иную политику? На кого опирался он, уходя от нэпа, который совсем недавно вроде бы поддерживал? Неужели только на бюрократию и «корруптированных интеллектуалов»?

Ф.-Х. Кокэн справедливо отметил: некоторые советские авторы, правда преимущественно писатели, пришли к выводу, что в рождении сталинизма в той или иной мере участвовали представители всех уровней государства и общества. Причины этого не могут быть сведены только к личному страху или эгоизму. Они (эти причины) связаны и с определенными амбициями (личными, патристическими или другими), влиянием идеологической обработки и даже просто с привычкой почитать «начальство». Ясно, заключает свои размышления Ф.-Х. Кокэн, что сталинский режим опирался по крайней мере на пассивное сотрудничество представителей различных общественных слоев. Поэтому в феномене Сталина необходимо отличать то, что являлось специфичным для этой личности, и то, что определялось системой и от Сталина не зависело⁷.

Важно понять и то, по каким причинам и с кем именно блокировалась бюрократия в конце 20 — начале 30-х годов, проводя «революцию сверху», почему в ней (бюрократии) явно выделился и заметный антисталинский слой? Почему, наконец, она сама попала под удар сталинских репрессий (некоторые аспекты этой проблемы

будут рассмотрены в главе «Возвращение Троцкого»), а Сталину удалось внушить массам идею «врагов народа» и получить поддержку в борьбе со старой большевистской гвардией?

Заканчивая этот сеанс самокритики на страницах нашей книги, хотелось бы подчеркнуть, что в общем-то ни один вопрос, поставленный в ходе сталинской волны, поднявшейся одновременно с бухаринским «бумом», удовлетворительного ответа не нашел. На трудные вопросы 1988 г. были найдены преимущественно простые ответы. С этого момента общественное мнение бросило проблему, в значительной мере потеряло интерес к сталинскому периоду нашей истории. Удовлетворившись скороспелыми объяснениями, оно двинулось дальше в прошлое, сметая по пути Ленина и его политику, добралось до Маркса и уже подбирается к Гегелю. Мы полагаем, что время разбрасывать камни прошло. Исторической науке предстоит теперь адский труд, чтобы собрать из этих разбросанных камней новые концепции.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Fitzpatrick Sheila*. New Perspectives on Stalinism // *The Russian Review*. Vol. 45. 1986. № 4. P. 372—373.

² *Симония Н. А.* Сталинизм против социализма // *Вопросы философии*. 1989. № 7. С. 32—33.

³ Там же. С. 37.

⁴ См.: «Круглый стол»: Советский Союз в 20-е годы // *Вопросы истории*. 1988. № 9. С. 12.

⁵ См.: Общественно-научный семинар «Методологические проблемы теории и истории социализма». Материалы семинарских занятий ИМЛ при ЦК КПСС. М., 1989. С. 52.

⁶ *Гулыга А.* Письмо в журнал «Огонек» // *Огонек*. 1988. № 48. С. 3.

⁷ *Coquin François-X.* Comments on the Current 'Ferment' and Revision of History in the Soviet Union: Stakes, Limits, Outlook // *Facing Up to the Past. Soviet Historiography under Perestroika*. P. 28—29.

СУД НАД ЛЕНИНЫМ (1989—1990 гг.)

Приметы времени:

«ДОКТРИНАЛЬНЫЙ СИНДРОМ»

«Будут ли историки ревизовать В. И. Ленина в его ошибках?» — такой вопрос все еще задавали на публичных лекциях после доклада М. С. Горбачева, посвященного 70-летию Октября. В дни следующей годовщины революции, в ноябре 1988 г., корреспондент ленинградской газеты «Смена» уже как о само собой разумеющемся спрашивал: «Многие современные споры так или иначе вынужденно упираются опять-таки в Октябрьскую революцию как исходную точку. Какой путь развития был в то время для России естественным?»¹

Все чаще и чаще под сомнение ставился социалистический выбор Октября 1917 г. Узнавая все больше и больше неприглядных фактов советской истории, люди не могли не испытывать затруднений в оценке и самой социалистической идеи. Еще в декабре 1988 г. на наших публичных лекциях в Политехническом музее мы получали записки примерно такого содержания:

«Строя социализм, мы загубили десятки миллионов людей. Сейчас вырисовывается, что опыт не удался, надо начинать все снова. Хватит ли терпения у народа на второй опыт?»

Когда слушатели обсуждали вопрос об известной агрессивности теории, которая пытается навязывать практике свои законы и каноны, последовала такая записка:

«Может быть, определить соотношение теории и практики так: теория должна лишь помогать прогрессу, но не навязывать его. Может быть, признать, что узурпация партией роли провидца изначально порочна? Ведь капитализм развивается «в свое удовольствие», обходясь без провозглашения какой-то «конечной цели», как в теории марксизма».

Так или иначе, значительная часть вопросов концентрировалась вокруг такого ядра марксизма, как учение о классовой борьбе:

«Марксист лишь тот, кто доводит классовую борьбу до признания диктатуры пролетариата» (Ленин)... И еще много-много такого... Прошу несколько слов в данном контексте о феномене диктатуры пролетариата. Насколько мы обязаны ему (или ей) всем тем, чем обязаны?»

Иногда распространенные суждения о корнях и истоках наших драм и трагедий приобретали необычную и парадоксальную форму:

«Важно, наверное, не знак к фразе «какой социализм мы построили», а придание ей иного смысла: «социализм ли мы построили?» Марксизм исходит из того, что социализм можно строить лишь в условиях диктатуры пролетариата. Была ли она у нас в эпоху сталинизма? Не было ее и при Хрущеве! Как же мог появиться социализм?»

Таким образом, одни уже склонны были видеть корни всех драм и трагедий в диктатуре пролетариата, другие — в ее отсутствии. Но и те и другие полагали, что действительного социализма в нашей истории никогда не было:

«А что такое социализм? Прошу дать строгое определение звуко- или буквосочетания «социализм», но только до и вне контекста тех реальных событий, которые у нас творятся уже три четверти века...

Иначе нет «чистоты эксперимента».

Иначе — подгонка под ответ.

Согласен на пространное, строгое определение!

Тогда я буду понимать все фразы, в которых фигурирует это звуко- или буквосочетание. Например: «Вопрос о возможности победы этого звуко- или буквосочетания в одной отдельно взятой невезучей стране».

Дело, конечно, не ограничивалось вопросами. Лейтмотивом дискуссий было утверждение о том, что перестройка начата безо всякого плана и концепции. Эта логика переносилась в прошлое. Наши неудачи люди склонны были видеть в неправильном, неверном применении теории. В известной мере такое настроение в общественном сознании было подготовлено публицистикой предшествующего периода, которая всю критику прошлого вела исключительно в социалистических понятиях и категориях. Результаты этого обнаружили, когда сами читатели занялись созданием самодельных теорий и схем. Мы стали обладателями одной из таких «теорий» под весьма показательным названием «Как Маркс с Энгельсом думали победить капитализм, сделав ему мат в три хода».

Полученный нами документ настолько любопытен, что заслуживает достаточно пространного цитирования. Сначала из предисловия к «теории».

«...Надо доказать правительству, что мы строим социализм по принципу метафизического идеализма (культ должности, культ личности), механицизма в системе управления народным хозяйством и производственных отношениях. Все это мы фактически получили от Ленина, в результате многочисленных ошибок, просчетов... Я глубоко

убеждена, что все наши негативные явления в обществе есть проявление классовой борьбы (все усиливающейся) против господствующего класса — бюрократии, которая несет две основные функции — как эксплуататор и угнетатель (особенно по отношению к учащимся). Как только общество победит централизм диктатора, уравновесив настоящим эффективным самоуправлением, так кривая правонарушений резко упадет и перестройка пойдет победным шагом. Но пока мешает догматизм нашего руководства, состоящего из пожилых людей, заикленных на культе Ленина и старой трактовке ленинианы. Надо менять мышление... Хотя Ленин был весьма благородной и образованной личностью, преданной идеалам коммунизма, он сделал «мат социализму в три хода». И выявив его ошибку, кстати, общую для всех последующих социалистических революций, надо исправить ее, а не брать на вооружение «ленинский стиль».

А теперь выдержки из самого документа:

«Маркс и Энгельс думали победить капитализм, сделав ему «мат в три хода», ориентируясь на основное определение социализма — это Свобода, общественное Равенство и Братство. И так, сделан «первый ход». «Второй ход» — по инерции сохраняется диктатура пролетариата; рабочий класс берет власть в свои руки, получив Свободу для себя и всего народа; «третий ход» — уничтожение классов; переход к бесклассовому обществу путем вовлечения интеллигенции в производительный труд (постепенно), что и обуславливает в итоге Равенство и Братство...

А как получилось у нас? Как реализовалась теория марксизма на практике?..

Итак, в 1917 г. совершилась социалистическая революция, — сделан «первый ход». «Второй ход» — по инерции сохраняется диктатура партии... У руководителей партии образовались в результате многолетней практики волевые, командные привычки (прочные нервно-рефлекторные связи), которые сам человек в себе победить не может, нужна сила извне. Такой социальной мерой — силой является народное социалистическое самоуправление... Ленин искренне считал, что руководство партии — это и есть диктатура пролетариата. Однако в результате этого «второго хода» рабочий класс получил не-Свободу. «Третий ход» был — сохранение классов, утвердившее не-Равенство на новом витке истории и не-Братство... Рабочий класс отчужден от результатов своего труда, не является хозяином производства. Госплан — гигантское учреждение отчуждено от производства, транжирит «ничейные» государственные средства, не заинтересовано в приращении доходов, достижений в науке. Здесь явно прослеживается нарушение действия основного закона диалектики — двуединства. Нужно мощное противодействие централизму — самоуправление. И не учитывается действие следующего закона — диалектического отрицания (самоотрицание)...

К. А. Мартыанова.

Бесхитростная простота этой «теории», казалось бы, ничем не напоминает солидные теоретические работы, например, А. Ципко или Ю. Буртина. Тем не менее в них есть что-то общее. Это феноменальная вера во все-силе теории, в то, что причиной многих наших бед было неумение руководителей партии правильно думать². Са-

мое удивительное, что в последнее время и среди ортодоксальных коммунистов обозначилась примерно такая же позиция. Так, в статье народного депутата СССР, члена ЦК КПСС А. Денисова, опубликованной в «Неделе» в ноябре 1990 г., задается вопрос: «Так почему же диалектика была очевидным образом проигнорирована как в Октябре, так и в последующее время? Почему диктатура пролетариата, как форма господства идеологии пролетарской партии, была прямолинейно подменена вооруженной диктатурой партийной верхушки? Думается, что основной причиной была традиционная для нашей истории политическая и экономическая отсталость и невежество, диктатура которого накладывала свой отпечаток на все, что когда-либо происходило в стране»³.

Такая логика достаточно распространена. Ее мы, собственно, и подводим под понятие «доктринальный синдром». (Мы просим у читателя извинения за то, что уже в который раз возвращаемся к этой теме. Сама ее многослойность лишь постепенно раскрывалась перед нами, требуя многих попыток для уяснения.) Это болезнь роста и публицистики, и научного обществоведения, и массового сознания. Она имеет вполне закономерный характер. В ходе сокрушительной критики Сталина нарастала неудовлетворенность такими объяснениями нашей истории, трагедии 30-х годов, которые замыкали проблему на личной вине Сталина. И хотя в 1989 г. одни все еще продолжали искать «кто виноват?», другие уже не склонны были преувеличивать значение персональной вины в глобальных социально-экономических процессах.

У этих «других» появилось желание копнуть поглубже. Сознание сдвинулось с мертвой точки концепции «врагов и преступников», но укорененные структуры этого сознания остались прежними, фактически неизменными. Сохранялась очевидная для такого сознания логика: история есть реализация планов начальников и властителей. Оставаясь в рамках этих представлений, но отказываясь принимать единоличную вину «сильных мира сего», озадаченные парадоксами своей собственной истории, люди приходили к выводу о вине и ответственности системы за ошибки и преступления прошлого. Но прежняя логика «вины и ответственности», перенесенная с отдельных лиц на породившую их Систему, осталась. Здесь чувствовалось и влияние политического процесса. Именно политическая борьба требовала переноса «вины» с конкретных лиц на Систему. В противном случае эта

Система была бы выведена из-под ударов критики, как случилось в период хрущевской «оттепели».

Поскольку сама Система, по глубокому убеждению многих политиков «новой волны», успевших прочесть к этому времени книги А. Некрича и М. Геллера, А. Авторханова и С. Мельгунова, создавалась под Идею, то следующий удар и должен был обрушиться на нее. В этом же направлении (и выше мы это попытались показать) развивалось и массовое сознание. Совпадение одного и другого не могло не оказать глубокого влияния на публицистику и на историков. В конечном счете Вина соединилась с Идеей. Тем более что уже обозначился новый рисунок политической ситуации, в большей или меньшей степени определилась расстановка сил. Идее предстояло выдержать мощный натиск.

Этот процесс содержал в себе две стороны. Одна была, безусловно, прогрессивная, другая носила деструктивный, разрушительный характер. Поначалу атака велась не на идею как таковую, а на ее апологетическую функцию. И в этом плане критика исходных доктринальных представлений сталинской эпохи имела положительный смысл. Но в дальнейшем, по мере обострения борьбы за власть, произошло отождествление догматизированной идеи с ее первоосновами. Со второй половины 1989 г. развернулась фронтальная атака на Ленина, на революцию, на марксизм. При этом второстепенными и малозначительными, во всяком случае для публицистики, стали вопросы о причинах рождения Системы. Здесь все было ясно: система создавалась под марксизм, пороки марксизма определили пороки системы. Отодвигается на второй план проблема социальных сил и социальной опоры сталинизма. Все эти сложные проблемы заменил ряд элементарных суждений и утверждений о Партократии и Бюрократии.

Вообще в стороне остались многие вопросы, сулившие серьезное углубление в наше прошлое. Они были отсечены или оттеснены на периферию общественного сознания, в резервации академической науки. История по-прежнему воспринималась как полигон для экспериментов начальников над народом. Правда, теперь уже не только злой умысел этих начальников, как было со Сталиным, но и вдохновляющая их светлая, но утопическая Идея рассматривались как побудительный стимул для таких экспериментов. С точки зрения такого восприятия прошлого, разница с недавним, доперестроечным отно-

шением к истории была весьма невелика. Разве что «удачный» эксперимент «развитого социализма» был объявлен неудачным. Но и в том и в другом случае действовала одна логика: такие эксперименты в принципе возможны в истории.

Резко сузился и деградировал общеполитический фон научных поисков. Над всеми попытками разобраться в земной основе происходивших в советской истории процессов все сильнее и сильнее витали подозрения в «оправдательном уклоне». К описанию злонамеренной политической воли и конкретных «начальников» присоединяется описание вредоносных идей. «Рыночникам» и демократам, тем же Г. Попову и С. Станкевичу, еще не пришлось вопреки собственной «доктрине» вводить в Москве элементы карточной системы («военный коммунизм?»). А будущие авторы программы «500 дней» еще не убедились на собственном опыте, что воодушевление политиков той или иной концепцией отнюдь не гарантирует ее проведение в жизнь. В атмосфере эйфории, упования на новую концепцию, которая вытащит страну из тупика, в сфере «чистого разума» творилась в то время научно-популярная историография советского общества, а всю проблему кое-кто видел в том, чтобы исправить «ложное сознание» руководителей страны, направив их помыслы к «разумному, доброму, вечному», либо заменить их людьми с «правильным направлением ума».

В результате старые представления о том, что развитие советского общества есть движение к некоей «эсхатологической» цели, заданной коммунистической доктриной, были просто-напросто вывернуты наизнанку. Раньше говорили, что коммунистическая доктрина — единственно верная, единственно научная и все успехи освящены ею. Теперь же говорили фактически то же самое: доктриной освящено все то, что мы в результате получили: кризис, дефицит, развал государства. Общество проходило ускоренными темпами (на Руси всегда так — 33 года сиднем сидят, но если уж побегут, то сломя голову) уже давно пройденный западными политиками и исследователями путь. Так уж у нас повелось. От моды и секса до политики и науки. Пока на Западе переосмысливают «вывернутый наизнанку» догматизм в понятиях новой социальной истории, возвращают исторический процесс на грешную землю социальных потребностей и интересов, отношений классов и групп, экономических и политических противоречий, мы с унылым усердием и с вечной

претензией на новизну сосредоточенно выворачиваем наизнанку коммунистическую доктрину, рассуждаем о «первородном грехе» Октябрьской революции и возможностях «непорочного зачатия» в бурлящем котле революционных страстей.

Поначалу все это еще прикрывалось новыми «политическими эвфемизмами»: хорошему Ленину, оказывается, все время мешали «люди в сапогах» (кстати сказать, мы с самого начала не приняли этой лукавой игры в «доброе дядю» в гражданских штиблетах, которого предложил читателям один из наших оппонентов — публицист В. Костиков⁴. Напротив, мы честно сообщили и попытались объяснить читателям ряд малоприятных для любого либерала фактов из политической биографии Ленина). Потом маскировка стала ненужной, и многочисленные эпигоны идеи «первородного греха» от слов стали переходить к делу. Не сомневаемся, что варварские эти дела — вроде сносов памятников и вандализма — ничего, кроме ствращения, у В. Костикова не вызвали. Но... «нам не дано предугадать...». Ленин, на которого, вопреки всем историческим фактам, вылили чуть ли не больше проклятий, чем на Сталина, становился разменной монетой в политической борьбе.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ «На всех парах... вперед» (Беседа В. Чертинова с Г. Л. Соболевым) // Смена. 1988. 7 ноября.

² См., напр.: Ципко А. Если бы победил Троцкий // Даугава. 1990. № 7.

³ Денисов А. Штурмовавшие небо // Неделя. 1990. № 45. С. 2—3.

⁴ Костиков В. Сапоги из шагреновой кожи // Огонек. 1989. № 32.

Позиция авторов:

ПОСЛУШАНАЯ ИСТОРИЯ, ИЛИ НОВЫЙ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ РАЙ. ГРУСТНЫЕ ЗАМЕТКИ *

В современной исторической публицистике праздник. Праздник непослушания, головокружительных идей и гипотез. Половина страны стала историками-неформала-

* Впервые опубликовано: Коммунист. 1989. № 14 (в соавторстве с В. Т. Логиновым). «Грустные заметки» были посвящены разбору статьи В. Костикова «Сапоги из шагреновой кожи» (Огонек.

ми. Другая половина — их внимательными и благодарными слушателями. Только загнанные в подполье зануды-профессионалы ведут долгий список перепутанных дат и перевранных фамилий, непроверенных фактов и неточных цитат. Но кто их теперь слушает, этих зануд? Одна газета приводит сегодня сомнительное свидетельство, завтра другая уже ссылается на него как на достоверный источник. Безостановочно работают генераторы исторических идей, черпая вдохновение в малодоступных пока зарубежных изданиях, в случайно попавших в руки старых газетах и наскоро прочитанных мемуарах. Как быстро меняются плюсы на минусы и минусы на плюсы в оценке прошлого! Хорошо! Как упоительна эта долгожданная интеллектуальная свобода! Раньше хотели говорить, что думаем, теперь хотим думать, что хотим. Прошлое снова послушно нашей воле. Ему можно внушать разумные истины и укоризненно грозить пальцем.

В нашей сегодняшней публицистике широко распространился жанр раскрепощенных поучений и назиданий. В таких работах, вымощенных штампованными портретами дурных и неумных людей, принимавших неправильные решения, малопривлекательный, согнутый сомнением знак вопроса заменен безукоризненно уверенным восклицательным знаком. В них немало рассуждений насчет истоков и корней дальнейших событий, порой интересных, но чаще упрощенно «провиденциальных». На смену мифологии «непорочности» революции, когда каждый шаг большевиков объявлялся и рассматривался как единственно верный, кажется, приходит иная мифология — мифология «первородного греха» революции. И тогда корни всего последующего зла — от сталинских беззаконий до брежневского застоя — прямо выводятся из действий большевиков в первые послереволюционные годы.

Этот тип провиденциального мышления как раз и раскрывает перед читателем статья В. Костикова «Сапоги из шагреновой кожи». Она не стала чем-то исключительным, из ряда вон выходящим в новой публицистической волне. Но в этой хлесткой и даже проникнутой

1989. № 32). Авторы по просьбе журнала «Коммунист» сняли всякие упоминания о персональном объекте критики. Однако во многих откликах читателей мы слышали упреки в безадресной критике и поэтому в данном издании решили прямо назвать своего оппонента, восстановив первоначальный вариант статьи, представленной нами в свое время в редакцию «Коммуниста».

гражданским пафосом статье предельно обнажена технология превращения реальной драмы истории в страшную назидательную сказку. Этот сказочный мир населен людьми, говорящими и действующими не так, как было на самом деле, а так, как это нравится автору. Такая история — рай для дилетантов. Люди в нем могут менять фамилии, как это произошло с К. Мехоношиным, названным К. Мехотиным, или с юристом А. Гойхбаргом, названным А. Гойхбергом, и даже характеры.

К. А. Мехоношин, интеллигентнейший человек, окончивший Московский университет, надевший френч и сапоги, потому что его призвали в армию в первую мировую войну, человек, трагически погибший в 1938 г., становится одним из «непримиримых», символом «людей в сапогах». Вот и Н. И. Бухарин, писавший в общем-то очевидные вещи в «Азбуке коммунизма»: «...только благодаря существованию общества каждый отдельный индивидум в состоянии жить и развиваться. Ребенок поэтому принадлежит тому обществу, в котором и благодаря которому он родился, а не только лишь «обществу» своих родителей»¹, заговорил у публициста как технократ-инквизитор: «Ребенок принадлежит обществу, в котором он родился, а не своим родителям»².

В сказочном мире, где все можно было сделать лучше и красивее, люди, оказывается, даже умирать могут гораздо раньше, чем это было на самом деле, и совершенно при других обстоятельствах. Книгоиздатель И. Д. Сытин, который умер в 1934 г., получая персональную пенсию, оказывается, скончался вскоре после своего ареста большевиками в 1918 г. С. С. Каменев, умерший своей смертью, похороненный у Кремлевской стены и лишь потом объявленный «врагом народа», оказывается, завершил жизнь по «какому-то року возмездия в отношении людей, пытавшихся разговаривать с народом с помощью сапога»³. М. Н. Тухачевский, руководивший действиями по подавлению крестьянского восстания на Тамбовщине и боевыми операциями в Кронштадте, оказывается, мог не исполнять своих служебных обязанностей, не подчиняться приказам. И право слово, даже за Александра III, представленного «интимно», с фляжкой коньяка за голенищем, хочется заступиться и защитить его от очищающей «критики» В. Костикова, «очищающей» от реальности. Пусть в «сапогах», пусть деспот, но в то же время его почему-то называли еще и «Миротворцем». Даже с ним несправедливо поступать так, как по-

ступает автор со всеми остальными историческими персонажами.

В вымышленном мире власть большевиков всемогуща и беспредельна, а историческая реальность податлива. Сталинское убеждение в том, что нет таких крепостей, которые большевики не могли бы взять, не умерло. Но сегодня оно толкает к другим выводам: если такую крепость, как создание правового государства, всемогущие большевики взять не сумели, то все дело в том, что они (или какая-то их часть — «люди в сапогах», — которая потом взяла верх в партии) этого не очень хотели. А если бы захотели, то события пошли бы по-другому. Но история складывается не из произвольных действий той или иной партии, даже самой могущественной и сильной, даже обутой в сапоги и даже вооруженной ракетами. История рождается в результате взаимодействия и противоборства различных сил, а поэтому и большевики не были абсолютно свободны в своих действиях. Они пережили то же самое, что пережили в свое время деятели Великой французской революции, и подобно Сен-Жюсту могли бы сказать: «...сила вещей ведет нас, по-видимому, к результатам, которые не приходили нам в голову»⁴. Ленин в своих работах после Октября неоднократно подчеркивал этот парадокс: нам бы хотелось одного, но мы вынуждены были делать совершенно другое. И если сегодня мы это понимаем, то история уже не влезает в схемы. Мы начинаем чувствовать живую борьбу, стоящую за каждым историческим событием. Нам уже не кажутся убедительными категоричность оценок и предъявление истории рецептов, следуя которым она-де пошла бы по-другому, а «люди в сапогах» переобулись бы в домашние тапочки.

«ИНАЧЕ УПРАВЛЯТЬ СЕЙЧАС НЕЛЬЗЯ»

Сознание и действия людей революционной эпохи можно принимать или не принимать, но их бесполезно оценивать мерками послереволюционной жизни, так же как утопающему бессмысленно доказывать его недостаточное бывшее рвение в обучении плаванию. Вовсе не хуже нынешних обличителей понимали всю сложность происходившего и своей роли в нем сами действующие лица революции. Но в отличие от нынешних отвлеченно рассуждающих критиков для них проблемы морального выбора и образа действия были в буквальном смысле

вопросом жизни и смерти. Можно, конечно, обвинить их в том, что не положили добровольно голову на плаху, чтобы заслужить одобрение будущих историков. Но давайте все же попытаемся вдуматься в их аргументы, логику той сложной борьбы, которая заставляла сугубо гражданских людей становиться военными.

«...В нашем идеале,— писал Ленин,— нет места насилию над людьми»⁵. Аксиомой для каждого марксиста было и то, что всякая война между народами есть по сути своей бесчеловечное «варварское и зверское дело»⁶. Но когда непотворение злу может привести лишь к торжеству зла, когда против зла нет иного лекарства, кроме самого зла, тогда приходится прибегать к таким средствам, которые не заданы специфическими, внутренними целями данного движения, а навязаны конкретным соотношением сил, конкретными историческими условиями. И если против революции идут в ход террористические методы борьбы, она вынуждена защищаться, прибегая к насилию. Не надо только пытаться подводить под такого рода методы «высокоморальную» базу, на чем долгое время специализировалась официальная наша историография, а также выискивать происки «жидомасонства», чем занимается нынешнее «патриотическое» направление публицистики, или козни милитаризованных «аппаратчиков в сапогах», которые мерещатся «леворадикальным» приверженцам демократии.

На страницах нашей периодики уже не в первый раз появился человек «в штатском», в «стоптанных цивильных ботинках и потешной кепчонке», в «потертом пиджакишке», который не признает насилия и мечтает только о гражданском мире. Почему-то этого человека называют Лениным.

Но если внимательно заглянуть в опубликованные произведения Ленина, даже не в архивы, то выяснится, что это совсем не такой добрячок, а человек суровый и жесткий, который мог послать в июне 1918 года телеграмму такого содержания:

«Тов. Зиновьев! Только сегодня мы услышали в ЦК, что в Питере *рабочие* хотели ответить на убийство Володарского массовым террором и что вы (не Вы лично, а питерские цекисты или пекисты) удержали.

Протестую решительно!

Мы компрометируем себя: грозим даже в резолюциях Совдепа массовым террором, а когда до дела, *тормозим* революционную инициативу масс, *вполне* правильную.

Это не-воз-мож-но!

Террористы будут считать нас тряпками. Время архивное. Надо поощрять энергию и массовидность террора против контрреволюционеров, и особенно в Питере, пример коего *решает*»⁷.

Ленин мог говорить о пролетарской демократии, добавляя при этом, что «диктатура есть власть, опирающаяся непосредственно на насилие»⁸, и многое, многое другое в том же духе. Так что если не лукавить и не обманывать самого себя, то и Ленина эпохи гражданской войны следует отнести к «людям в сапогах». Но тогда рушится схема, и проза жизни поглотит универсальную заданность деления политических деятелей на любителей сапог и штиблетов.

Чтобы в разделенной на «чистых» и «нечистых» истории мог существовать канонизированный Ленин, созданный в духе новой иконописной школы, воплощение «абсолютного добра», В. Костикову необходимо и «абсолютное зло» — Троцкий. Тот самый Троцкий, который в 1919 г. получил от Ленина следующую характеристику: «Товарищи! Зная строгий характер распоряжений тов. Троцкого, я настолько убежден, в абсолютной степени убежден, в правильности, целесообразности и необходимости для пользы дела даваемого тов. Троцким распоряжения, что поддерживаю это распоряжение всецело. В. Ульянов (Ленин)»⁹. А на VIII съезде РКП(б) в марте 1919 г., подчеркивая всю абсурдность обвинения Троцкого в том, что он якобы не проводит в жизнь военную политику ЦК, Ленин говорил: «Если вы такие обвинения ставите, если вы... можете Троцкому ставить обвинения в том, что он не проводит политику ЦК,— это сумасшедшее обвинение. Вы ни тени доводов не приведете. Если вы это докажете, ни Троцкий не годится, ни ЦК»¹⁰. Мы сейчас не претендуем на оценку или переоценку этого исторического деятеля. Но если кто-то не хочет принять политику Троцкого в военном ведомстве, то пусть в таком случае будет последовательным и откровенным. Не надо под псевдонимом «Троцкий» возводить хулу на Ленина. И если В. Костиков публицистическую «Сталиниану» называет своего рода «эвфемизмом»¹¹, то ведь и его собственные рассуждения вольно или невольно подпадают под то же понятие, когда под видом одного критикуется другое, а имеется в виду третье.

К людям гражданского склада относит В. Костиков Каменева, Рыкова, Бухарина. Но давайте послушаем,

что они сами о себе говорят в это время, как они сами оценивают свое отношение к происходящему и что происходит с ними самими. И тогда сквозь исконно присущую им интеллигентность будут проглядывать совершенно определенные военные черты, потому что тогда иначе себе они дело не мыслили.

«Да, мы управляли при помощи диктатуры,— говорил Л. Б. Каменев в 1920 г.,— и если бы ввиду тех колоссальных событий, которые мы переживаем, мы созывали пленумы и парламентским путем решали бы вопросы, то мы, несомненно, погубили бы революцию, потому что выигрыш во времени для нас чрезвычайно важен... И иначе управлять сейчас нельзя»¹².

«Мы так построили свою собственную партию,— заявлял Н. И. Бухарин,— что мы являемся самой милитаризованной организацией, которая когда-либо существовала; ведь наша партия есть военная организация почти в буквальном смысле слова, потому что шпоры не представляют из себя необходимой принадлежности военного типа»¹³.

Или возьмем такого штатского человека, как А. И. Рыков. Известно, что он был среди тех, кто отстаивал демократию, коллегиальность управления, выступал против единоначалия, против диктаторских методов работы. И вот его назначают чрезвычайным уполномоченным Совета Обороны по снабжению армии (Чусоснабарм). И что же происходит? На IX съезде партии в 1920 г. деятельность Рыкова оценивалась так: «Когда... т. Рыков назначался диктатором военного снабжения, в минуту, когда нам грозила полная гибель, когда у нас каждый патрон был на счету и мы претерпевали поражения за отсутствием патронов,— т. Рыков прекрасно справился со своей задачей! — то он поставил первым условием проведение... единоличия... Ему, товарищи, был подчинен весь аппарат совнархоза, целиком, коллегиальности не было заведено, но Чусоснабарм являлся диктатором. Он посылал своих особых уполномоченных в отдельные районы, подчиняя им воензаги и губсовнархозы, и на местах все трещало от этого, но это было необходимо. Эти рыковские особополномоченные на Урале посылали на заводы и фабрики своих особополномоченных, и эти особополномоченные особополномоченных чрезвычайноуполномоченного т. Рыкова на заводах и фабриках, где были расхлябанные коллегии, проводили единоначалие, а т. Рыков, благодаря этому, имел досуг и писал статьи в пользу коллегиальности»¹⁴.

Метод разделения большевиков на «людей граждан-ского склада» и на «людей в сапогах», конечно, может произвести впечатление и даже отчасти может кое-что объяснить. Но он не способствует, на наш взгляд, пониманию главного. Пониманию той сложности борьбы, которая заставляла сугубо гражданских людей становиться военными.

Наверное, вообще важно видеть за событиями гражданской войны, за тем, что происходило в душах и умах большевиков, не злую волю людей, которые с детства, изначально предназначены для того, чтобы творить зло. За всем этим прежде всего необходимо видеть драму этих людей, которые верили в светлые идеалы и обязаны были прибегать к насилию, чтобы создать условия для воплощения этих идеалов в жизнь, защитить то, что уже дал Октябрь 1917 г. Но а то, что это была действительно драма, видно хотя бы по тем сложным процессам, которые происходили внутри, пожалуй, самой неизвестной для современного читателя организации — ВЧК.

Старое, несколько идеализированное отношение к ВЧК сейчас подвергается критике, в том числе и справедливой. Эта организация — меч революции — действительно имела тенденцию превратиться, как говорил Н. В. Крыленко, в целый наркомат, «страшный беспощадностью своей репрессии и полной непроницаемостью для чьего бы то ни было глаза всего того, что творилось в ее недрах»¹⁵. Но что испытывали коммунисты, работавшие в ВЧК и ее разветвленной сети, в те трагические минуты, когда чувство долга вступало в конфликт с другими чувствами и эмоциями, когда душу приходилось «держат за крылья»?

Мы приведем читателю выдержки из пока еще не известного заявления группы сотрудников-коммунистов Туркестанской ЧК и ЦК РКП(б), написанного в марте 1921 г. «...Как это ни печально, но мы должны сознаться, что коммунист, попадая в карательный орган, перестает быть человеком, а превращается в автомат, который приводится в действие механически. Даже механически мыслит, так как у него отнимают право не только свободно говорить, но свободно индивидуально мыслить. Он не может свободно сказать свои взгляды, излить свои нужды, так как за все грозят расстрелом...» В заявлении сообщалось, что сотрудники ЧК «стоят вне политической жизни республики, в них развиваются дурные наклонности, как высокомерие, честолюбие, жестокость,

черствый эгоизм и т. д. И они постепенно, для себя незаметно, откалываются от нашей партийной семьи, образовывая свою особенную касту, которая страшно напоминает касту прежних жандармов. Партийные организации смотрят на них как на прежнюю охранку с боязнью и презрением... Являясь бронированным кулаком партии, этот же кулак бьет по голове партии»¹⁶.

Конечно, проще всего осудить этих людей. Но разве не ясно, что чекисты, написавшие такое горькое письмо, не стали ни «жандармами», ни «автоматами»? Нельзя не видеть их драму, нельзя не видеть вновь, как сила вещей ведет людей к результатам, которые не приходили никому в голову.

Были и другие, может возразить нам В. Костиков. Да, были! И партия боролась с «примазавшимися», с теми, кого Ленин называл «жуликами в революциях»¹⁷. Партия подчиняла ВЧК своей политической воле и добивалась безусловного соблюдения законности в рамках этой организации. Когда Ф. Дзержинский, человек сложной судьбы и сложной работы, в 1919 г. после взрыва в Леонтьевском переулке предложил в ЦК провести фактически кампанию «красного террора», не объявляя ее официально, ЦК отклонил это предложение. Сделано это было именно из-за стремления избежать массовых эксцессов и злоупотреблений властью на местах, попыток использовать накаленную атмосферу «красного террора» для сведения личных счетов¹⁸.

Когда в 1918 г. впервые возникла опасность выхода ВЧК из-под контроля, «Правда» открыла свои страницы письмам, проникнутым тревогой по поводу того, что лозунг «Вся власть Советам!» сменяется лозунгом «Вся власть чрезвычайкам!»¹⁹. Именно тогда по поручению ЦК РКП(б) было разработано положение «О Всероссийской и местных чрезвычайных комиссиях» (утверждено ВЦИК 28 октября 1918 г.)²⁰, предусматривавшее подчиненность и подконтрольность чрезвычайных комиссий на местах местным Советам. Конечно, не всегда удавалось проводить эти решения в жизнь. Не было четкого регламента полномочий и прав чрезвычайных комиссий.

Искал гарантии здорового функционирования ВЧК и сам Дзержинский. Об этом свидетельствует хотя бы его письмо в ЦК в связи с заявлением туркестанских чекистов: «...надо врачевать ЧК... действительно более частой сменой, обновлением состава, сближением с партией и

заинтересованием самой партии. Если товарищи смотрят на них как на жандармов — это смерть ЧК. С этим надо бороться внутри самой партии и посылать в ЧК не «жандармов», а товарищей, которых партия на каждом шагу поддержит и окажет партийное доверие»²¹.

Известно отношение Дзержинского к тем сотрудникам ВЧК, которые «полюбили сапоги». Он старался просто удалить их из ВЧК. Что ему не удалось их всех удалить, для нас совершенно бесспорно. Что ряд будущих деятелей и организаторов сталинского террора работали в ВЧК при Дзержинском, для нас тоже не открытие.

Но как бы соблазнительны и пикантны ни были обвинения в адрес большевиков, они не дают ответа на главный вопрос: откуда и почему пришли «люди в сапогах», зачем они понадобились России? И разве не вся Россия в то время была в сапогах? И куда исчезли в таком случае генеральские сапоги Деникина и Колчака, Юденича и Врангеля? И разве в цивильных башмаках пришли в Россию интервенты?

Для того чтобы противостоять всему этому, большевики должны были обуться в сапоги, даже если им это не нравилось. В заслугу Ленину и многим его соратникам следует поставить то, что они сумели наступить на горло собственной песне и стать сражающейся партией, которая оказалась в состоянии удержат завоевания Октябрьской революции и противостоять контрреволюции и интервенции.

О «ПЕРВОРОДНОМ ГРЕХЕ» И «НЕПОРОЧНОМ ЗАЧАТИИ»

Критика «людей в сапогах» — лишь первый шаг на пути осуждения революции в целом. Насилие и «зачатие в крови» В. Костиков ставит ей в вину как «первородный грех»²². От революции требует он стерильности и «непорочного зачатия». Нам не хотелось бы огорчать читателей и огорчаться самим, но, строго говоря, для своего успеха революция как раз и требует «первородного греха». Прежде всего потому, что насилие было важнейшим признаком революции, ее неизбежным атрибутом в тех конкретных исторических условиях.

Можно не принимать революции. (Это в конце концов дело личных убеждений.) Можно говорить о страданиях и бедах, которыми богата история любой революции.

Можно сожалеть о том, что люди, классы и партии, стремясь к избавлению от своих тягот и трудностей, включаются в революцию, встают на путь борьбы, на путь насилия, что этот путь неизбежно чреват очень серьезными эксцессами и трагедиями, и чем менее культурна страна, тем их больше. Можно даже сказать, что в конце XX в. мир подошел к иному пониманию роли насилия. Но как бы то ни было, как бы мы ни относились к насилию, нужно признать, что без насилия тогда невозможна была революция. И нельзя принять революцию с ее светлыми идеалами и отринуть насилие. Это невозможно. Более того, только эпоха великих революций, только ее обретения и потери подняли нас до сегодняшнего понимания общечеловеческих ценностей, демократии, построенной на взаимной терпимости, и т. д. Научиться бы теперь всему этому в нашей повседневной политической практике.

Как бы то ни было, вряд ли уместно упрекать людей, которые делали революцию, в недостатке благочиния и умеренности, воображая, что в 1917 г. классовую борьбу в России можно было остановить, что для этого им просто следовало понимать некоторые вещи. А для того чтобы история пошла по-другому, вождям революции не хватило только мудрых советчиков. В противном случае возникает ложная картина. Она только обманывает нас, она внушает нам, что либо революции можно было избежать, либо революция могла быть иной, почти что рождественским подарком раздираемой противоречиями России. Если же в реальной действительности мы не обнаруживаем такой революции, то нам кажется, что она переступила некую заповедь, и тогда мы говорим о ее «первородном грехе», о возмездии и воздаянии по заслугам деятелям революции.

Но можно ли забывать, что ведь поначалу наша революция совсем не ощетинивалась штыками?

В комиссии сената США под председательством Овермана, созданной для «суда» над русской социалистической революцией, один из свидетелей прямо заявил: «...когда большевики взяли власть, мы ожидали, что немедленно произойдет общая бойня, резня и т. д. Но ничего подобного не случилось. В городе был значительно лучший порядок в течение ближайших трех недель, чем в предшествующие два месяца»²³. Бывший глава американской миссии Красного Креста в России полковник Томпсон в беседе с корреспондентом газеты «Нью-Йорк уорлд» в свое время подчеркнул: «Россия не находится

в состоянии анархии. Россия не переживает периода беззакония»²⁴. Кстати вспомним и о полузабытых почему-то сегодня воспоминаниях американского корреспондента А. Вильямса. Один из разделов своей книги он так и назвал «Рабочие дорожат человеческой жизнью»: «История отметит, что русская революция, несравненно более глубокая, чем французская революция 1789 года, не превратилась в разгул мести. Это, в сущности, была бескровная революция»²⁵.

А разве те, с кем боролись большевики, приняли их победу, признали их правоту? Естественно, нет!

Можно понять трагедию и того и другого лагеря, трагедию людей, которые оказались между двумя лагерями. Но по крайней мере нельзя заявлять о «первородном грехе» революции, не считаясь с очевидными фактами, с признаниями людей, которые были очевидцами событий, происходивших в октябре 1917 г. Сила сопротивления революции вызвала ее ответные действия.

Конечно, никому в голову не придет сегодня утверждать, что, как выразился в свое время Ф. Энгельс, с каждым расстрелянным заложником поступили в точности, вплоть до точки над «і», так, как следовало²⁶. Увы, это не так. Для современного человека расстрел заложника, юридическая вина которого не доказана, — ужасная вещь. Но у людей того времени была другая психологическая настроенность и другой исторический опыт.

«Мне часто приходилось говорить с Лениным о жестокости революционной тактики и быта, — писал в своих воспоминаниях М. Горький. — Чего вы хотите? — удивленно и гневно спрашивал он. — Возможна ли гуманность в такой небывало свирепой драке? Где тут место мягкосердечию и великодушию? Нас блокирует Европа, мы лишены ожидавшейся помощи европейского пролетариата, на нас, со всех сторон, медведем лезет контрреволюция, а мы — что же? Не должны, не вправе бороться, сопротивляться? Ну, извините, мы не дурачки. Мы знаем: то, чего мы хотим, никто не может сделать, кроме нас. Неужели вы допускаете, что, если б я был убежден в противном, я сидел бы здесь? — Какою мерой измеряете вы количество необходимых и лишних ударов в драке? — спросил он меня однажды после горячей беседы. На этот простой вопрос я мог ответить только лирически. Думаю, что иного ответа — нет»²⁷.

Наверное, это действительно так. Независимо от того, принимаем ли мы это или нет. Иначе быть не могло.

Эксцессов могло быть больше или меньше. Но они не были результатом дурного характера большевиков или их «первородной» жажды насилия. Впрочем, в мире послушной истории революция из страшной сказки легко превращается в волшебную феерию.

Как? Очень просто.

Выходит, что, захватив власть, большевики должны были сохранить буржуазные партии, которые ожесточенно им сопротивлялись и готовили вооруженную реставрацию прошлого. Большевики должны были позволить оппозиционным газетам оказывать мощное влияние на общественное мнение и становиться орудием организации контрреволюционных сил, направленных на свержение власти, конституированной II Всероссийским съездом Советов. Большевики должны были отвергнуть опыт всех предшествующих революций и действовать, взяв власть, как обычные реформаторы.

Тогда, может быть, большевикам вообще не следовало брать власть?

Сколько людей — столько мнений. Но эти мнения надо договаривать до конца. То, что власть была взята незаконно с точки зрения Временного правительства, — это бесспорно. Но то, что революция не признает законов старого мира, она их отрицает и отвергает, — это ведь тоже бесспорно. Поэтому бессмысленно говорить о том, что революция могла быть «непорочной». Надо тогда говорить о том, что революции просто не должно было быть, поскольку нам не нравится то, чем она сопровождается.

СИМВОЛЫ «ПЕРВОРОДНОГО ГРЕХА» И РЕАЛЬНЫЕ ФАКТЫ ИСТОРИИ

В статье В. Костикова присутствуют, как правило, не реальные факты и конкретные обстоятельства, к примеру, закрытия оппозиционных газет или убийства депутатов Учредительного собрания кадетов А. И. Шингарева и Ф. Ф. Кокошкина, роспуска самого Учредительного собрания, а некие их символы, иероглифы, которые могут занять подобающее место в рассуждениях автора, только утратив историческую основу, потеряв связь с действительностью. Не реальные факты во всех их связях и опосредованиях, а символы, выстроенные в определенной последовательности и приобретшие форму «интеллектуальной мозаики», из которой можно монти-

ровать любые умозаключения. И легкость этого монтажа как раз и объясняется тем, что мы имеем дело не с убийством Шингарева и Кокошкина, а с иероглифом «убийство Шингарева и Кокошкина», не с фактом закрытия оппозиционных газет, а с иероглифом «закрытие оппозиционных газет».

Иероглиф «закрытие оппозиционных газет на второй день Советской власти», например, должен служить доказательством ограничения демократии и свобод в первые же дни революции. Но этот факт сам по себе не имеет ровно никакого смысла вне реального исторического контекста.

Старший научный сотрудник ИМЛ при ЦК КПСС О. В. Наумов, к которому мы обратились за консультацией, рассказал:

«Действительно, Декрет о печати был принят СНК 27 октября 1917 года, а 28 октября СНК принимает постановление о запрещении газет, закрытых Военно-революционным комитетом (ВРК). Однако обратите внимание на концовку декрета. «Считаюсь, однако, с тем, что стеснение печати, даже в критические моменты, допустимо только в пределах абсолютно необходимых, Совет Народных Комиссаров постановляет: ...закрытию подлежат лишь органы прессы: 1) призывающие к открытому сопротивлению или неповиновению Рабочему и Крестьянскому правительству; 2) сеющие смуту путем явно клеветнического извращения фактов; 3) призывающие к деяниям явно преступного, т. е. уголовно наказуемого, характера». И здесь же: «Настоящее положение имеет временный характер и будет отменено особым указом по наступлении нормальных условий общественной жизни»²⁸.

Теперь проследим за действиями Петроградского ВРК. 26 октября 1917 г. он дал предписание комиссарам о закрытии газет «Речь», «Новое время», «Вечернее время», «Русская воля», «Биржевые ведомости», «Народная правда», «День» и «Наше общее дело», то есть газет подстрекательского или явно черносотенного, погромного характера. Однако далеко не все оппозиционные газеты были закрыты. Продолжали выходить меньшевистские, эсеровские и даже буржуазные сатирические издания²⁹.

Слова декрета о том, что закрытие газет есть «временные и экстренные меры», конечно, мало что доказывают. Тем более что и большевики отошли впоследствии от своего первоначального понимания свободы печати. «Нормальные условия общественной жизни», по сути дела, складываются только сегодня. Но, обратившись к справочной литературе, можно все же убедиться, что многие из перечисленных газет продолжали выходить до тех пор, пока страна не оказалась в огне гражданской войны и интервенции (кадетская «Речь» до августа 1918 г., газета «День» до мая 1918 г. и т. д.). Можно также узнать, что решение ВРК от 26 октября 1917 г. было в определенном смысле узаконением уже существовавшего тогда положения. Хочу напомнить, что закрытие газет и захват типографий начались по решению Временного правительства. 24 октября были закрыты не только большевистские газеты «Рабочий путь» и «Солдат», но и явно контрреволюционные «Живое слово» и «Новая

Эксцессов могло быть больше или меньше. Но они не были результатом дурного характера большевиков или их «первородной» жажды насилия. Впрочем, в мире послушной истории революция из страшной сказки легко превращается в волшебную феерию.

Как? Очень просто.

Выходит, что, захватив власть, большевики должны были сохранить буржуазные партии, которые ожесточенно им сопротивлялись и готовили вооруженную реставрацию прошлого. Большевики должны были позволить оппозиционным газетам оказывать мощное влияние на общественное мнение и становиться орудием организации контрреволюционных сил, направленных на свержение власти, конституированной II Всероссийским съездом Советов. Большевики должны были отвергнуть опыт всех предшествующих революций и действовать, взяв власть, как обычные реформаторы.

Тогда, может быть, большевикам вообще не следовало брать власть?

Сколько людей — столько мнений. Но эти мнения надо договаривать до конца. То, что власть была взята незаконно с точки зрения Временного правительства, — это бесспорно. Но то, что революция не признает законов старого мира, она их отрицает и отвергает, — это ведь тоже бесспорно. Поэтому бессмысленно говорить о том, что революция могла быть «непорочной». Надо тогда говорить о том, что революции просто не должно было быть, поскольку нам не нравится то, чем она сопровождается.

СИМВОЛЫ «ПЕРВОРОДНОГО ГРЕХА» И РЕАЛЬНЫЕ ФАКТЫ ИСТОРИИ

В статье В. Костикова присутствуют, как правило, не реальные факты и конкретные обстоятельства, к примеру, закрытия оппозиционных газет или убийства депутатов Учредительного собрания кадетов А. И. Шингарева и Ф. Ф. Кокошкина, роспуска самого Учредительного собрания, а некие их символы, иероглифы, которые могут занять подобающее место в рассуждениях автора, только утратив историческую основу, потеряв связь с действительностью. Не реальные факты во всех их связях и опосредованиях, а символы, выстроенные в определенной последовательности и приобретшие форму «интеллектуальной мозаики», из которой можно монти-

ровать любые умозаключения. И легкость этого монтажа как раз и объясняется тем, что мы имеем дело не с убийством Шингарева и Кокошкина, а с иероглифом «убийство Шингарева и Кокошкина», не с фактом закрытия оппозиционных газет, а с иероглифом «закрытие оппозиционных газет».

Иероглиф «закрытие оппозиционных газет на второй день Советской власти», например, должен служить доказательством ограничения демократии и свобод в первые же дни революции. Но этот факт сам по себе не имеет ровно никакого смысла вне реального исторического контекста.

Старший научный сотрудник ИМЛ при ЦК КПСС О. В. Наумов, к которому мы обратились за консультацией, рассказал:

«Действительно, Декрет о печати был принят СНК 27 октября 1917 года, а 28 октября СНК принимает постановление о запрещении газет, закрытых Военно-революционным комитетом (ВРК). Однако обратите внимание на концовку декрета. «Считаюсь, однако, с тем, что стеснение печати, даже в критические моменты, допустимо только в пределах абсолютно необходимых, Совет Народных Комиссаров постановляет: ...закрытию подлежат лишь органы прессы: 1) призывающие к открытому сопротивлению или неповиновению Рабочему и Крестьянскому правительству; 2) сеющие смуту путем явно клеветнического извращения фактов; 3) призывающие к деяниям явно преступного, т. е. уголовно наказуемого, характера». И здесь же: «Настоящее положение имеет временный характер и будет отменено особым указом по наступлении нормальных условий общественной жизни»²⁸.

Теперь проследим за действиями Петроградского ВРК. 26 октября 1917 г. он дал предписание комиссарам о закрытии газет «Речь», «Новое время», «Вечернее время», «Русская воля», «Биржевые ведомости», «Народная правда», «День» и «Наше общее дело», то есть газет подстрекательского или явно черносотенного, погромного характера. Однако далеко не все оппозиционные газеты были закрыты. Продолжали выходить меньшевистские, эсеровские и даже буржуазные сатирические издания²⁹.

Слова декрета о том, что закрытие газет есть «временные и экстренные меры», конечно, мало что доказывают. Тем более что и большевики отошли впоследствии от своего первоначального понимания свободы печати. «Нормальные условия общественной жизни», по сути дела, складываются только сегодня. Но, обратившись к справочной литературе, можно все же убедиться, что многие из перечисленных газет продолжали выходить до тех пор, пока страна не оказалась в огне гражданской войны и интервенции (кадетская «Речь» до августа 1918 г., газета «День» до мая 1918 г. и т. д.). Можно также узнать, что решение ВРК от 26 октября 1917 г. было в определенном смысле узаконением уже существовавшего тогда положения. Хочу напомнить, что закрытие газет и захват типографий начались по решению Временного правительства. 24 октября были закрыты не только большевистские газеты «Рабочий путь» и «Солдат», но и явно контрреволюционные «Живое слово» и «Новая

Русь». Однако не только Временное правительство понимало значение периодической печати в решающие дни революции, 25 октября, еще до принятия решения ВРК, солдаты Семеновского полка заняли типографию газеты «Русская воля». Всероссийский военно-крестьянский союз поставил ВРК перед фактом, сообщив 26 октября о том, что им занята типография газеты «Народный трибун» (газета Пурешкевича)»³⁰.

Получается, что действительный факт, взятый вне контекста исторической реальности того времени, может обслуживать самые невероятные идеи. Если же мы рассматриваем этот факт в контексте тех событий, то он становится ясным и понятным: у большевиков была своя логика, логика революции. Заметим к тому же, что еще 12 июля 1917 г. Временное правительство предоставило военному министру и министерству внутренних дел право закрывать повременные издания, а 28 июля — право закрывать собрания и съезды³¹. Так что того почти идеального «гражданского общества» с «неурезанными свободами», от которого большевики ушли к диктатуре, в реальной российской действительности 1917 г. попросту не было.

Если закрытие оппозиционных газет по крайней мере действительно было предпринято большевиками, то к убийству кадетов А. И. Шингарева и Ф. Ф. Кокошкина, арестованных в соответствии с Декретом об аресте вождей гражданской войны против революции от 28 ноября 1917 г., они вообще не имели никакого отношения. Достаточно открыть 50-й том Полного собрания сочинений В. И. Ленина, по указанию которого немедленно была создана следственная комиссия, или обратиться к воспоминаниям В. Бонч-Бруевича, опубликованным в 1934 г. в журнале «Каторга и ссылка» (эти документы подобрала для нас сотрудник ИМЛ Н. В. Пастухова), чтобы увидеть, что большевики были в такой же мере возмущены актом самосуда, как и другие политические деятели России³². Они предприняли все возможное для выявления и наказания виновных. Не случайно 9 января 1918 г. в «Известиях ЦИК» появился следующий документ: «Объявление по флоту. 7 января 1918 года. В ночь с 6-го на 7-е сего января в Мариинской больнице города Петрограда были убиты Шингарев и Кокошкин. По показаниям служащих больницы, убийство совершено несколькими лицами в матросской форме. Это дело должно быть расследовано самым строгим образом. На чести революционного флота не может остаться обвинение в том, что революционные матросы способны убивать без-

защитных врагов, обезвреженных тюремным заключением. Я призываю всех, кто участвовал в убийстве,— если это заблуждавшиеся люди, а не насильники контрреволюции — добровольно предстать перед революционным трибуналом.

Вместе с тем я призываю всех товарищей, у которых имеются сведения об этом деле, немедленно сообщить эти сведения Верховной морской следственной комиссии. Народный комиссар по морским делам Дыбенко»³³.

Известно, что, узнав об убийстве Шингарева и Кокошкина, Ленин пришел в ярость. Он потребовал категорически заявить матросам: то, что вынужден был терпеть Керенский, мы терпеть не будем. Народ требует законности и справедливости³⁴.

Все эти неудобные факты В. Костиков предпочитает не знать или не упоминать. Ведь так просто от «малой крови» Шингарева и Кокошкина вести родословную сталинских преступлений. Вот и понадобился намек на причастность к убийству большевиков «в сапогах». А то, что на самом деле эта «малая кровь» вызвала протест большевиков, что она продемонстрировала необходимость пролетарской диктатуры, способной остановить анархию и эксцессы,— все это послушная история В. Костикова предпочитает не принимать в расчет.

Чрезвычайно популярными стали в последнее время утверждения, что большевики уже в 1918 г. вступили в борьбу с народом, чуть ли не зачислили его в стан «врагов народа» (непонятно, правда, как большевикам тогда удалось удержаться у власти в борьбе против белых генералов, заговорщиков, интервентов). Оказывается, и рабочие неприязненно относились к новой власти, потому что она «урезывала свободу». Какие только доказательства этого не приводятся! Утверждают, например, что дезорганизация промышленности была сознательным пролетарским протестом против политического произвола большевиков! А что же было на самом деле?

Н. К. Крупская вспоминала: «В первое время заводские организации очень легко отпускали рабочих с фабрики на разные собрания. Помню такой случай. Пришла ко мне раз в Наркомпрос работница... Я ее спрашиваю, в какой она смене работает... «У нас никто сегодня не работает. Вчера общее собрание было, у всех дел домашних много накопилось. Ну и проголосовали не работать сегодня. Что же, мы теперь хозяева»... Хозяев-эксплуататоров... прогнали, а то, что фабрика стала общественной

собственностью, что надо эту общественную собственность беречь, укреплять, поднимать производительность труда, этого сознания еще не было»³⁵.

Если быть точным, то выяснится, что ухудшение положения в промышленности началось задолго до прихода большевиков к власти и усилилось на волне того «стихийного социализма» угнетенных, который содержит в себе не только созидательные, но и деструктивные начала. Поэтому-то и руководитель профсоюзов М. Томский в мае 1918 г., сетуя на критическое падение производительных сил, печально признавал, что рабочий «превращается в пенсионера государства, паразита, живущего на чужой счет»³⁶.

Надо было найти способы выхода из положения, ввести стихию в какие-то рамки. В противном случае и свободой пользоваться невозможно. Превращаясь в анархию, она вела к падению производительности труда, хаосу, люди лишались последних гарантий нормального существования.

Конечно, история знает немало и вполне реальных фактов выступлений рабочих под антисоветскими лозунгами. Но именно фактов, вписанных в реальную канву исторического процесса, а не иероглифов, занимающих свое место в том или ином концептуальном монтаже. Если рабочие выходят на демонстрацию, если они принимают участие в мятеже, то здесь очень четко надо различать причины, мотивы, по которым это произошло. И разве мы не знаем, что люди далеко не всегда в состоянии осознать и сформулировать свои истинные интересы, способны поддаваться эмоциям, могут использоваться в чужой политической игре?

В. Костиков считает, что рабочие во всех случаях правы. Для него это аксиома. Но тогда, может быть, считать во всем правым Колчака только потому, что за ним до конца шла целая дивизия, образованная из ижевско-воткинских рабочих?³⁷ И почему же не считать их правыми в тех случаях, когда они поддерживают Советскую власть?

10 марта 1919 г. в Астрахани произошли выступления рабочих, привлечение повышенное внимание В. Костикова. В числе основных мотивов, которые привели рабочих к участию в антисоветском мятеже, им называются милитаризация труда и постановка рабочих на воинский учет³⁸. В действительности и то и другое обычно улучшало продовольственное положение рабочих, и они сами

добивались милитаризации своих предприятий. Именно в связи с милитаризацией рабочие оборонных заводов Астрахани первоначально имели ряд продовольственных преимуществ. В конце февраля 1919 г. Астраханский временный военно-революционный комитет установил единый хлебный паек для всех рабочих, занятых как на военных, так и на других работах. Одновременно в результате продовольственных трудностей паек был снижен. Весь ход последующих событий излагается по источникам, исходящим из враждебного большевикам политического лагеря.

Мы не ставим перед собой задачу выяснить последовательно все то, что произошло в Астрахани. Это уже было подробно сделано в историографии. Есть даже сборник документов, который, очевидно, не привлекает наших журналистов в силу «скучности» его названия — «Борьба за власть Советов в Астраханском крае (1917—1920 гг.). Документы и материалы. Часть вторая» (Астрахань, 1960). В нем вся история астраханских событий дана достаточно подробно, от первых продовольственных затруднений, связанных с прибытием в город остатков дезорганизованной XI армии, до объемистой, буквально почасовой «Журнальной записи о ходе операции по подавлению мартовского контрреволюционного мятежа в Астрахани (10—11 марта 1919 г.)».

Но важен сам принцип анализа. Если кто-то берется за рассмотрение событий тягостных и горестных, которые, как он считает, позорным пятном ложатся на совесть революции, то он должен был выслушать другую сторону. Этого труда В. Костиков себе не дал. Он дает следующее описание событий: «Десятитысячный митинг рабочих Астрахани был оцеплен войсками. После отказа разойтись был дан предупредительный залп из винтовок. Потом затрещали пулеметы...»³⁹ Но была и другая точка зрения, другой взгляд на события, другое изложение. Их по крайней мере надо было опровергнуть.

Газета «Коммунист» (орган Астраханского губкома партии) от 16 марта 1919 г., предназначенная для участников и очевидцев этих событий, когда трудно было исказить факты до неузнаваемости, писала:

«Что было в Астрахани 10—11 марта... За последние две недели среди известной несознательной части астраханских рабочих «Кавказ и Меркурий», «Кама», Нобеля на Заячьем острове, бывш. завода Норена и других происходил ряд закрытых собраний, на которых не давали рот открыть коммунистам. На этих собраниях выносили

какие-то резолюции, а потом предъявляли Советской власти требования ультимативного характера о свободной торговле, об увеличении пайка чуть ли не до 3 фунтов и т. д.

...К 10 часам утра в понедельник, 10 марта, тревожный гудок мастерских «Кавказ и Меркурий» дал сигнал для выступления хулиганским бандам. Моряки тотчас же оцепили порт, закрыли ворота. Мятежники сопротивлялись и старались соединиться с подошедшей сомнительной толпой со стороны таможни. Началась беспорядочная перестрелка со стороны толпы, и тут же, в порту, первым пал жертвой товарищ матрос, карауливший ворота.

Моряки, узнав о смерти товарища, двинули части, дав в воздух залп, но так как толпа бесчинствовала и не расходилась — открыли огонь.

Толпа в это время состояла из дезертиров 45-го полка, недавно мобилизованных из уличных подонков и разных темных личностей. Эта же толпа напала на караулы 45-го полка на эллинге, захватила оружие и с криком «бей комиссаров» и «долой коммунистов» двинулась на Татарский базар. Здесь около 12 часов дня произошло столкновение с 3-м батальоном заградительного отряда, другая часть наступающей толпы направилась в сторону 2-й Бакалдинской улицы и напала на Бакалдинский районный комитет партии. Комитет оказал сопротивление, но ввиду малочисленности принужден был очистить помещение комитета и ждать помощи из других районов. Другая часть толпы сконцентрировалась на площади перед церковью Ивана Златоуста и, заняв колокольню и пожарную каланчу, начала оттуда обстреливать окрестность.

Через час были стянуты боевые силы, мобилизована партия, началась локализация мятежа, причем войска принуждены были пустить в ход пулеметный и пушечный огонь, чтобы прогнать бандитов из колокольни Ивана Златоуста. К 10 часам вечера все было кончено...»

События в Астрахани оказались в ряду других контрреволюционных выступлений, связанных с новой вспышкой гражданской войны. И опять встает вопрос: имели ли большевики право на их подавление? Если смотреть на ситуацию непредубежденно, то ответ может быть однозначен: да, имели. Но, может, существенным в данном случае является другое. То, что и тогда большевики стремились разобраться в происшедшем, выяснить причины недовольства рабочих. Причем рабочие и крестьяне, принявшие участие в мятежах, 25 апреля 1919 г. решением ВЦИК и СНК были амнистированы⁴⁰.

БЫЛА ЛИ У БОЛЬШЕВИКОВ НЕОГРАНИЧЕННАЯ ВЛАСТЬ

«Демократическая» и «свободная» эпоха Временного правительства завершалась драматической картиной национального кризиса: «Миллионы покинутых страной людей находятся на границе предельного отчаяния, когда

гаснет мысль, гаснут чувства и все существо захвачено одним стремлением к бегству из этого ада,— свидетельствовали современники в октябре 1917 г.— Другие миллионы в тылу, запутавшиеся в хаосе трагических событий, сбитые с толку провокацией и демагогией, крушат в погромном неистовстве последние возможности спастись от ужасов войны и анархии»⁴¹. В этой развалившейся на глазах стране, а отнюдь не в «гражданском обществе», с избытком наполненной демократией, большевики должны были создавать новую государственность. И в этот период у них отнюдь не было той неограниченной власти, которая, по мнению ряда публицистов, кружила им голову. Если в начале 1918 г. у большевиков и могла кружиться голова, то скорее от ощущения слабости своей власти. Они не могли еще последовательно проводить в жизнь свои решения, не могли сразу остановить анархию. Весной 1918 г. Ленин характеризовал новую власть как непомерно мягкую, больше похожую на кисель, чем на железо⁴².

Отсутствие прочной центральной власти порождало парадоксальные явления. Возникла масса различных независимых образований: местные «совнаркомы», «трудовые коммуны», федерации «трудовых коммун» и т. д. Попробуйте навести порядок в стране, попробуйте обеспечить элементарные жизненные потребности, если каждый губисполком подобно «совету народных комиссаров» Печенежского уезда Архангельской губернии мог заявить: «Мы власть на местах, мы приемлем декреты центральной власти постольку, поскольку они для нас приемлемы»⁴³. Стабильная власть (а процесс ее упорядочения был отнюдь не быстротечным в революционной России) нужна была для того, чтобы даже не просто навести порядок, а остановить хотя бы грубый произвол и анархию на местах, эксцессы.

Именно первоначальная слабость и непрочность власти в сочетании с активным, организованным противодействием антисоветских сил толкнули большевиков на путь чрезвычайных действий и «урезывания свободы». Вообще, когда прибегают к «чрезвычайщине»,— это первое свидетельство нестабильности власти.

Ленин прекрасно понимал, что на голом насилии как раз многого сделать не удастся. На «красном терроре» тоже. И не продовольственные отряды решили вопрос о хлебе. Выиграть в гражданской войне удалось прежде всего потому, что правильно был решен вопрос о крестья-

янстве, которое совершило свой исторический выбор. Выбор между большевиками, с их продразверсткой и «военно-коммунистическими» загибами, и белыми генералами, толкавшими страну назад.

Конечно, большевики стремились к созданию прочной и стабильной центральной власти. Такой власти, способной обеспечить выполнение своих собственных решений, хотели и массы. Могла ли эта прочная стабильная власть сразу принять последовательно демократические формы? Думаем, что из бурного стихийного потока, тянувшегося из Февраля и перехлестнувшего через Октябрь, демократия не могла вырасти непосредственно. Из него могла вырасти только диктатура. Весь вопрос в том, чья именно диктатура? Большевиков или белых генералов? Только победа в гражданской войне, размах которой определился вмешательством внешних сил и отнюдь не на стороне большевиков, позволяла ставить вопрос о следующих шагах власти, о том, в каком направлении она будет развиваться. В 20-е годы происходил непростой переход от гражданской войны к гражданскому миру. Однако эволюция власти в сторону демократических форм правления была сорвана в конце 20-х годов. Но это уже совсем другая история.

«ЛОГИКА» И «ЭМПИРИКА»

В послушной истории В. Костикова «логика» обычно преобладает над «эмпирикой». Реальный «алогизм» истории, которая не очень-то подчиняется воле и желанию людей, которая слагается в результате взаимодействия и противоборства разнонаправленных политических волей, плохо укладывается в концептуальные схемы автора. Он справедливо пишет: «Думаю, что в большой политике не следует упрощать процесс принятия решений и отделять факторы логические от эмпирических». Но из этой верной посылки следует очередной неточный вывод: «Трагическая «эмпирика» первых лет Советской власти, безусловно, стимулировала переоценку ценностей, однако Ленин никогда не становился пленником обстоятельств. К лету 1921 г., то есть к началу нэпа, все обстоятельства, принуждавшие к отступлению, были подавлены. Страна была во власти большевиков. Дальнейшее сопротивление было немыслимо. Выбор Ленина был выбором логическим, вытекающим из осмысления всей гаммы факторов. Люди гражданского мира Ленин и Бухарин

осознают то, что партия в ходе жестокой борьбы за власть оказалась в изоляции, что большевики правят, как меньшинство, опирающееся на вооруженную силу, что они не имеют даже полной поддержки класса, за представителей которого они себя выдают»⁴⁴.

Итак, переход к нэпу — «выбор логический», результат в первую очередь «здравых размышлений» и моральных импульсов. За этими лишь отчасти верными рассуждениями — все то же утопическое понимание прошлого. Поняли большевики свою изоляцию, захотели и сделали, хотя их уже к этому не принуждали никакие обстоятельства. Между прочим, это типичная «военно-коммунистическая» мысль: «что захотим, то моментально и сделаем»⁴⁵. Раньше, стало быть, просто не хотели. Для того чтобы доказать эту самоочевидную для В. Костикова истину, ему пришлось даже передвинуть начало нэпа с весны 1921 г. на лето. Только в этом случае он и получил возможность говорить о том, что все «обстоятельства», принуждавшие к отступлению, уже были «подавлены». Но ведь такие «обстоятельства», как «Кронштадт» и антоновщина, удалось ликвидировать только благодаря нэпу, только после отмены продразверстки. В противном случае крестьянская Вандея смела бы большевиков.

А политика «военного коммунизма» полностью исчерпала себя уже к концу 1920 г. Однако тогда верный выход найти не удалось в значительной мере потому, что в представлениях руководства партии господствовала инерция, сохранялась уверенность в том, что на старых началах возможно движение вперед, возможен непосредственный переход к социализму.

Только активное сопротивление крестьянства и отчасти рабочих, глубочайший кризис власти заставили большевиков принять новую политическую линию. Возможности и перспективы нэпа они смогли оценить не столько до, сколько после совершенного поворота в политике. Причем это открытие социалистической перспективы нэпа, как показали последующие события, так и не было доведено до конца. Возможно, мы ошибаемся в оценке факторов, толкнувших большевиков к нэпу. Но по крайней мере для доказательства нашей точки зрения нет необходимости ломать реальную хронологию событий. Тот нэп, о котором мы говорим, начался все-таки, как всем известно, весной, а не летом 1921 г.

Не надо строить иллюзии и в отношении того, что нэп в сфере общественных отношений возвращал страну

к плюрализму мнений. Не надо делать из большевиков дюжинных либералов. Этот самообман никому не нужен. С введением нэпа большевики принимают достаточно жесткие решения и в отношении меньшевиков и эсеров, и в отношении своей внутрипартийной жизни тоже. И оценить эти вещи однозначно нельзя. Оказавшись лицом к лицу с проблемой «термидора» (а Ленин не исключал такой возможности и говорил: «Термидор»? Трезво, *может быть*, да? Будет? Увидим»⁴⁶), большевики принимают определенные действия, направленные на упрочение власти. Не случайно в 1922 г. в верхах партийного руководства, пожалуй, чаще всего обсуждались вопросы цензуры и о мелкобуржуазных партиях. В то время большевики не очень-то задумывались о плюрализме.

Можно по-разному оценивать тогдашние действия большевиков. Например, политический процесс начала 20-х годов над эсерами. Нам еще предстоит в этом глубоко разобраться, понять, почему большевики так и не свернули к плюрализму.

Известно теперь, что в среде большевиков были и другие мнения. Например, И. Вардин (Мгеладзе) в апреле 1921 г. обращался в ЦК РКП(б) с предложением легализовать мелкобуржуазные партии и предоставить им свободу «в пределах наших законов». «В Советах,— писал он,— нам *необходима оппозиция*. Когда беспартийный рабочий протестует против партийной диктатуры, он имеет в виду отсутствие в Советах тех партий, которые часто отражают не классовые, а его профессиональные и бытовые интересы и нужды... Когда абсолютистское правительство, посылавшее членов нашей партии на каторгу, терпело в Думе нашу фракцию, оно заботилось об интересах русской «парламентской системы», о своей конституции. Полагаю, что в настоящее время мы не можем пренебречь интересами нашей советской системы, авторитетом нашей конституции»⁴⁷.

Предложение И. Вардина (Мгеладзе) принято тогда не было. И видимо, дело обстояло гораздо сложнее, чем может сейчас показаться. В наших выводах мы готовы пойти дальше, чем В. Костиков, но только на основе фактов, а не иллюзий, реального анализа, а не идеи «первородного греха».

* * *

Нам очень многое не нравится в прошлом. Многое хочется перечеркнуть, от многого отказаться. Иногда ка-

жется, что, если перелистнуть календарь на 70 с лишним лет назад и начать с того момента, когда еще не пролилась кровь, все получится лучше и умнее. Однако в реальной жизни приходится иметь дело с тем прошлым, в котором уже ничего изменить нельзя.

Как говорил в свое время Ф. Энгельс, всякая социальная революция сначала «должна будет брать вещи такими, какими она их найдет, и бороться с наиболее вопиющим злом при помощи имеющихся налицо средств»⁴⁸. Не удастся нам вернуться назад и начать заново. Для того чтобы продвигаться вперед, изменять и улучшать нашу жизнь, мы должны не откинуть наше прошлое, не перечеркнуть его, не доказать, что оно могло быть иным, светлым, радостным и прекрасным, а понять его.

Самое удивительное, что «сказочный» тип мышления, с которым мы все чаще и чаще сталкиваемся в «толстых» и «тонких» журналах, присущ, оказывается, как авторам консервативно-«патриотического» направления, оплакивающим столыпинскую Россию и отрицающим любые революционные ценности, так и тем, кто старается утвердить действительно прогрессивные идеи. Доставшееся от прошлого упрощенное и примитивное восприятие действительности, деление жизни на «черное» и «белое» агрессивно по своей сути и изначально неконструктивно. Неужели даже для доказательства передовых, прогрессивных идей, например о самоценности демократии, плюрализма, нужно прибегать к историческим подделкам и самообману? Конечно нет. Только трезвый взгляд на прошлое, осознание пределов и преград, которые стоят перед людьми в их целесообразных (и нецелесообразных тоже) действиях, открывают дорогу к пониманию будущего, освобождают от иллюзий, от наивного розового оптимизма, позволяют почувствовать действительную борьбу интересов, устремлений, политической воли в истории. Без этого понимания возникает угроза вновь скатиться к поиску злых людей, «врагов народа».

Слишком часто в последнее время наша историческая публицистика становится похожа на уроки арифметики, где ученики с сосредоточенным усердием подгоняют решения к заранее известным ответам. Такая послушная история в своей основе мало чем отличается от послушной истории Сталина. И уж в любом случае послушная история внушает обществу мысль о послушности будущего, и тогда история уже не дает ответов на сегодняшние вопросы.

Может быть, всем, кто в упоении свободой пытается влить вино новых истин в мехи старого «провиденциального» мышления, следует помнить о благих намерениях, которыми вымощена дорога... В рай?!

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Бухарин Н., Преображенский Е. Азбука коммунизма. М., 1920. С. 197.
- ² Огонек. 1989. № 32. С. 14.
- ³ Там же. С. 14, 15.
- ⁴ Цит. по: Коммунист. 1981. № 15. С. 104.
- ⁵ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 30. С. 122.
- ⁶ Там же. Т. 26. С. 311.
- ⁷ Там же. Т. 50. С. 106.
- ⁸ Там же. Т. 37. С. 245.
- ⁹ Цит. по: Троцкий Л. Д. Сталинская школа фальсификаций. М., 1990. С. 60.
- ¹⁰ Ленинский сборник XXXVII. С. 136.
- ¹¹ Огонек. 1989. № 32. С. 12.
- ¹² Девятый съезд РКП(б): Протоколы. М., 1960. С. 71.
- ¹³ Там же. С. 225.
- ¹⁴ Там же. С. 109—110.
- ¹⁵ Крыленко Н. В. Судустройство РСФСР. Лекции по теории и истории судустройства. М., 1923. С. 97.
- ¹⁶ ЦПА ИМЛ. Ф. 17. Оп. 84. Д. 228. Л. 13.
- ¹⁷ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 35. С. 188.
- ¹⁸ См.: ЦПА ИМЛ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 26. Л. 39.
- ¹⁹ Правда. 1918. 18 окт.
- ²⁰ Декреты Советской власти. М., 1964. Т. 3. С. 457.
- ²¹ ЦПА ИМЛ. Ф. 17. Оп. 84. Д. 228. Л. 10.
- ²² Огонек. 1989. № 32. С. 13.
- ²³ Октябрьская революция перед судом американских сенаторов. М.; Л., 1927. С. 51.
- ²⁴ Солдатская правда. 1918. 18 янв.
- ²⁵ Об Октябрьской революции. Воспоминания зарубежных участников и очевидцев. М., 1967. С. 56.
- ²⁶ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 18. С. 516.
- ²⁷ Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине: В 5 т. М., 1989. Т. 3. С. 240.
- ²⁸ Декреты Советской власти. М., 1964. Т. 1. С. 25.
- ²⁹ Борьба за установление и упрочение Советской власти. М., 1962. С. 12; Петроградский Военно-революционный комитет: В 3 т. М., 1966. Т. 1. С. 134.
- ³⁰ Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. М., 1957. С. 289, 298, 347, 856.
- ³¹ Шестой съезд РСДРП(б): Протоколы. М., 1934. С. 313.
- ³² См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 411; Каторга и ссылка. 1934. № 2. С. 71—80.
- ³³ Известия ЦИК. 1918. 9 янв.
- ³⁴ См.: Известия. 1962. 21 апр.
- ³⁵ Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. М., 1989. Т. 2. С. 302—303.

- ³⁶ См.: Профессиональный вестник. 1918. № 7—8. С. 7.
³⁷ См.: *Спирин Л. М.* Классы и партии в гражданской войне в России. М., 1968. С. 263—264.
³⁸ Огонек. 1989. № 32. С. 14.
³⁹ Там же.
⁴⁰ Декреты Советской власти. М., 1971. Т. 5. С. 108—114.
⁴¹ Революционное движение в русской армии. 27 февраля — 24 октября 1917 года. Сборник документов. М., 1968. С. 500.
⁴² *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 36. С. 196.
⁴³ См.: *Крыленко Н. В.* Указ. соч. С. 69.
⁴⁴ Огонек. 1989. № 32. С. 15.
⁴⁵ См.: Красная новь. 1921. № 1. С. 251.
⁴⁶ *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 43. С. 403.
⁴⁷ ЦПА ИМЛ. Ф. 17. Оп. 84. Д. 269. Л. 1—2.
⁴⁸ *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 18. С. 239.

КУДА ИДЕТ СУД? *

— Встать, суд идет!

Кажется, только этой фразы не хватает в сочинении Владимира Солоухина «Читая Ленина», опубликованном в Советском Союзе в 1989 г. в журнале «Родина». Все остальное, необходимое для скандального политического процесса, есть...

Обвиняемый: В. И. Ульянов-Ленин.

Состав преступления: геноцид против собственного народа и нанесение ему непоправимого генетического урона.

Время преступления: март — июль 1918 г.

Мотивы преступления: стремление к тотальной диктаторской власти и мировому господству.

Орудия преступления: национализация промышленности, всеобщая трудовая повинность, государственная хлебная монополия, карточная система, продразверстка и продотряды.

Улики: показания самого Ленина — 36-й том его сочинений...

Но не будем уподобляться тем, кто более полувека назад устраивал многолюдные и шумные митинги для одобрения приговоров достопамятных политических процессов, а попробуем выступить в качестве свидетелей защиты. И пусть читатели займут места присяжных.

* Впервые опубликовано: Родина. 1989. № 10, в соавторстве с В. Т. Логиновым.

Место преступления — Россия. Та благостная Россия, где, по Солоухину, народ «только еще расцветал», где столяры, иконописцы, кружевницы, пильщики, угонщики, стеклодувы, кровельщики, печники, короче говоря, «все самодеятельное население страны», поднакопили деньжонок, где сытые крестьяне мирно приторговывали хлебом, кормили страну, а заодно и пол-Европы... И вот эту Россию большевики «сожрали» и «пустили в распыл»¹.

Помилуйте, граждане присяжные заседатели, вам говорят заведомую неправду. Не было такой России в 1917—1918 гг. Такая Россия существует лишь в писательской фантазии.

Была Россия, истерзанная кровавой мировой войной.

Вот показания о положении в стране накануне Февральской революции, данные летом 1917 г. министром внутренних дел царского правительства А. Д. Протоповым.

«Финансы расстроены, товарообмен нарушен, производительность труда на громадную убыль... Пути сообщения в полном расстройстве, что чрезвычайно осложнило экономическое и военное положение... Наборы обезлюднили деревню, остановили землеобрабатывающую промышленность... Деревня без мужей, братьев, сыновей и даже подростков была несчастна. Города голодали, деревня была задавлена, постоянно под страхом реквизиций... Товара было мало, цены росли, таксы развили продажу «из-под полы», получилось мародерство... Искусство, литература, ученый труд были под гнетом; рабочих превратили в солдат, солдат — в рабочих. Армия устала, недостатки понижали ее дух... Упорядочить дело было некому. Всюду будто бы было начальство, которое распоряжалось, и этого начальства было много, но направляющей воли, плана, системы не было... Верховная власть перестала быть источником жизни и света»².

И это не картинки большевистского «геноцида» 1918 г., нарисованные Солоухиным, а канун февраля 1917-го.

Военные цензоры, тщательно просматривавшие тысячи солдатских писем, в конце 1916 г. констатировали: «Два с половиной года войны, по-видимому, произвели свое действие, озлобив всех»³. Солоухин полагает, что «классовую борьбу» — эту «хитрую отмычку»⁴ — при-

думали большевики специально для того, чтобы стра-
вить между собой русских людей. Но вот перед нами
солдатские письма 1916 г.

Далекий прежде от всякой «политики» солдат 42-й
Сибирской дивизии пишет: «Я, крестьянин, обращаюсь
к вам, братья, докуда будем губить себя, т. е. крестья-
нина, настанет время, надо губить тех зверей, которые
губят миллионы... Помните, братцы, чтобы убить зве-
рей, которые миллионы губят людей за свой интерес,
надо действовать, пока оружие в руках. Первое: долой
царя, убить его, поубивать пузанов, которые сидят в ты-
лу да в тепле, гребут деньги лопатой и губят нас, кре-
стьянина...»⁵

А вот другое солдатское письмо: «Женка пишет, ку-
пец наш до того обижает, просто жить невозможно. Я так
решил: мы за себя не заступники были, с нами, бывало,
что хошь, то и делай. А теперь повыучились. Я каждый
день под смертью хожу, да чтобы моей бабе крупы не
давали, да на грех... Нет, я так решил, вернусь и нож
Онуфрию в брюхо...»⁶ После Февральской революции
положение не изменилось. Страна продолжала сползать
к общенациональной катастрофе. Поражение русских
войск в марте 1917 г. под Стоходом, прорыв Юго-Запад-
ного фронта в июне, сдача Риги в августе, оставление
Якобштадского плацдарма в сентябре — все это стоило
России убитыми, ранеными и пленными 1 миллиона
195 тысяч 737 человек. А общий итог войны превысил
уже 7 миллионов⁷.

Ярость народа нарастала из месяца в месяц. «Мы та-
ких министров, как господин Милюков,— говорилось в
одном из писем, пришедших в марте с фронта,— не хотим
знать. Одних врагов свергнули, а других нажили... Если
в скором времени не будет мира, то бросаем позиции и
уходим уничтожать тех, которые не хотят мира»⁸.

Нет, не было покоя и благостности в России. Но Со-
лоухина не останавливают общеизвестные факты. На
хлипком фундаменте дооктябрьской «благодати» он
строит свои дальнейшие рассуждения.

МОТИВЫ «ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

Ульянов-Ленин обвиняется в том, что он, используя
любые средства, стремился стать диктатором, воле ко-
торого беспрекословно подчинялись бы все народы Рос-
сии, а затем и весь мир.

Конечно, ради этого большевики и пустили страну «в распыл». И конечно, из стремления к мировому господству. В ход идут ссылки на Александра Македонского, Юлия Цезаря и Наполеона Бонапарта. И все это сопровождается патетическим восклицанием, как мог он — Ленин, они — большевики «фактически убить и сожрать на перепутье к своим высоким всемирным целям такую страну, какой была Россия...»⁹.

Солоухин считает, что Россию надо было спасать. Верно. Только от кого? От большевиков или от интервентов? И разве сердце русского патриота не разделит пафос ленинских слов о том, что «хищник давит и душил и рвет на части Россию...»¹⁰. Или, может быть, писатель не верит в это? Почему вообще ни слова об интервенции? Ни слова о немецком наступлении в начале 1918 г., об английском десанте в Мурманске в марте? Ни слова о захвате японской и английской морской пехотой Владивостока в апреле? Ни слова о мятеже Чехословацкого корпуса в Поволжье и Сибири, о вступлении войск Турции в Закавказье? Почему?

Может быть, потому, что даже в привычную для писателя логику рассуждений (большевики и голод придумали, чтобы утвердить свою диктатуру) никак не ложится еще более смелая мысль: и интервенцию-то большевики вызвали для того, чтобы поработить собственный народ. А что? Кто знает, какие еще «умыслы» отыщут у Ленина его сегодняшние обвинители. Ведь поднялась же у Солоухина рука с патетикой написать о мифическом «оккупационном режиме», который утверждал Ленин в собственной стране, и ни слова не сказать о действительных оккупационных режимах, которые были на севере, юге, востоке. Или, может быть, все дело в том, что интервенты могли принести в Россию мир и благодать? Может быть, они не пустили бы ее «в распыл»? Может быть, на эту силу следовало делать ставку «истинным русским патриотам»?

Ну что ж, многие из истинных русских патриотов того времени попытались это сделать, заключали с интервентами соглашения, предусматривавшие чуть ли не раздел России. Во всяком случае, раздел экономических сфер влияния. Насколько хорошо было народу при таких спасителях в заграничных мундирах, свидетельствуют факты. Вот сообщения с оккупированной немцами Украины: «...расстрелы, истязания, аресты тысяч и тысяч рабочих и крестьян, уничтожение артиллерией целых

сел и деревень, отобрание земли в пользу помещиков, грабеж хлеба и всего самого необходимого...» Из Белоруссии: «В оккупированной местности ежедневно сжигается масса селений. Десятки тысяч людей погибают невинно. Сотни тысяч семей обречены на верный голод и смерть»¹¹.

Да, большевики надеялись на мировую революцию. Вряд ли кто станет серьезно спорить, что и некоторые основания для таких надежд в то время еще были. Но уже Брестский мир не только поставил перед Лениным вопрос о возможности компромисса с капиталистическим миром, но и перевел традиционные представления о мировой революции в плоскость сохранения «здорового новорожденного младенца», а не развязывания «мирового пролетарского пожара». Большевики не стали на путь авантюры и не поставили Россию на карту мировой революции. Ленин был реальный политик и не играл в эти игры: «Тот русский, который задумал бы, исходя из русских сил, ставить задачу свержения международного империализма, был бы человеком, сошедшим с ума»¹².

Ориентация на мировую революцию никак не обосновывает и стремление Ленина к господству над миром, как бы этого ни хотелось Солоухину. Это смешно было бы слышать Ленину, который говорил, что если победит революция в Германии, скажем, в ноябре 1918 года, то Россия уже не сможет претендовать на лидерство. Мы стали бы, откровенно говорил он, второстепенной, отсталой социалистической страной¹³.

Чего же хотел Ленин? В чем состоял его «умысел»? Для ответа на этот вопрос не надо выискивать с лупой, где же он наконец проговорится. В «роковом» для Солоухина 36-м томе можно найти ленинские слова: «Не надо самообманов. Надо иметь мужество глядеть прямо в лицо неприкрашенной горькой правде. Надо измерить целиком, до дна, всю ту пропасть поражения, расчленения, порабощения, унижения, в которую нас теперь толкнули. Чем яснее мы поймем это, тем более твердой, закаленной, стальной делается наша воля к освобождению, наше стремление подняться снова от порабощения к самостоятельности, наша непреклонная решимость добиться во что бы то ни стало того, чтобы Русь перестала быть убогой и бессильной, чтобы она стала в полном смысле слова могучей и обильной».

Она может стать таковой, ибо у нас все же достаточно осталось простора и природных богатств, чтобы снабдить всех и каждого если не обильным, то достаточным количеством средств к жизни. У нас есть материал и в природных богатствах, и в запасе человеческих сил, и в прекрасном размахе, который дала народному творчеству великая революция,— чтобы создать действительно могучую и обильную Русь»¹⁴.

Впрочем, уверены, прокурор скорее всего останется глухим и к этим доводам. Поищем более авторитетных для него свидетелей...

Известно, что именно обвинение «в распыле» России ради «интернационалки» выдвигали против Ленина в 1918 г. его политические противники. Их лозунгом была — «единая, неделимая Россия»...

Прошло всего несколько лет, и многие из тех, кто яростно сражался с большевиками, сумели по-иному оценить характер и итоги борьбы. «Мы считаемся с тем, что Советская власть представляет собой национальную силу русского народа... Советская власть сильна и жизнеспособна» — это заявил бывший министр Временного правительства, обер-прокурор синода В. Н. Львов¹⁵.

10 марта 1922 г. «Известия» опубликовали письмо члена ЦК партии народных социалистов В. И. Игнатьева, входившего в 1918 г. в состав контрреволюционного Временного правительства в Архангельске. Он писал о том, что Советская власть, «воссоздав Россию» и ее государственность, наряду с революционными задачами осуществляет и «охрану национального достоинства России»¹⁶. Впрочем, хоть это и «народный», но все-таки какой-никакой «социалист»... Отводим свидетеля.

Но вот заявление известного генерала А. А. Брусилова. Подчеркнув, что он «не социалист и никогда им не будет», Брусилов отметил: «Революция была русской необходимостью». И далее: «Россия находится сейчас в неизмеримой нужде, в которую ее ввергли разные причины. И нельзя в этом обвинять новую власть. Большевики во многом оказались правы. Они с корнем вырвали русскую прогнившую аристократию, лишили фабрикантов и помещиков их богатств, накопленных в течение многих лет за счет русского народа. Большевики, наконец, сохранили целостность России». И Брусилов выражал уверенность, что эта великая страна «выкарабкается из той огромной нищеты, в которой находилась и пока еще находится»¹⁷.

Начинали «выкарабкиваться» при помощи диктатуры. Кто же это отрицает? Никто. А вот перевирают многие. «Так называемую диктатуру пролетариата» Солоухин просто сравнивает с оккупационным режимом, направленным против собственного народа. С каким неистовым возмущением пишет он о большевиках: «Они видели, что практически все население против них, кроме узкого слоя «передовых» рабочих, то есть нескольких десятых процента населения России, и все же давили, резали, стреляли, морили голодом, насильничали как могли, чтобы удержать эту страну в своих руках»¹⁸.

Итак, ничтожное меньшинство. Поговорим об этом ничтожном меньшинстве. Посмотрим, на чьей стороне в годы гражданской войны действительно была правда и справедливость. Если не для Солоухина, то по крайней мере для того многомиллионного крестьянства, заступником которого он себя объявляет.

Большинство населения страны против большевиков. Что ж, примем эту посылку. А как же тогда быть с белыми генералами? Значит, это большинство хотя бы пассивно поддерживает их? А вот Деникин в воспоминаниях о «русской смуте» удивлялся: его войска приближаются, вот уже почти Москва, он все время ждет восстания в тылу у красных¹⁹. Однако ожидавшейся крестьянской Вандеи не произошло. Имели место лишь отдельные мятежные вспышки. Почему?

Или Колчак. Он ведь действовал в регионах, где было крепкое крестьянство, те, кого по российским масштабам можно было отнести к кулакам. И что же получил он в результате своей аграрной политики? Массовое партизанское движение против колчаковщины. Массовое партизанское движение, которое приняло гигантские масштабы. О том, было ли легче населению районов, занятых белогвардейцами, свидетельствует полковник В. Самборский: «...крестьяне непрерывно жаловались на офицеров, которые незаконно реквизировали, т. е., вернее, грабили, у них подводы, зерно, сено и проч. Защиты у деревни не было никакой. Достаточно было армии пробыть 2—3 недели в занятой местности, как население проклинали всех... В сущности, никакого гражданского управления в занятых областях не было... Людей расстреливали и расстреливали»²⁰.

Неужели Солоухин всерьез допускает, что большинство, то есть крестьянство, было на стороне белых? Другой силы в этот момент в России не было. Только две

силы боролись за власть. И победить могла только одна, та, за кем пойдет крестьянство. Крестьянам пришлось выбирать. И выбрали они большевиков. Выбрали из двух зол меньшее.

Да, политика большевиков была четко классово направлена — против буржуазии. Но вообще Ленин не считал, что с помощью насилия по отношению к этим людям можно что-то решить. В конце концов исход гражданской войны определила не диктатура большевиков и даже не красный террор, а правильное решение вопроса о крестьянстве. Упрощенно можно сказать, что в конце 1918 — начале 1919 г. большевики и крестьяне нашли приемлемый, хотя и очень тяжелый для деревни компромисс: они сошлись на продразверстке. Крестьяне согласны были платить разверстку за то, чтобы их избавили от возврата помещиков. И это в форме компромисса просуществовало до 1921 г., хотя исчерпывать себя начало уже в конце девятнадцатого — начале двадцатого. И только благодаря тому, что с крестьянами удалось найти общий язык, большевики победили в гражданской войне. Это прекрасно поняли в конце концов белые генералы, но этого сейчас не хочет понимать Солоухин.

Думаем, что если бы в 1919 г. в России можно было бы устроить референдум (таким референдумом, по сути дела, и стала наиболее ожесточенная вспышка гражданской войны в это время), то большинство народа, за которое ратует писатель, вряд ли бы поддержало его точку зрения.

Ну а как же с геноцидом против собственного народа? Ведь, действительно, и расстреливали большевики, и красный террор применяли. Все это было. Далеко не всегда действия большевиков оставались в рамках революционной законности и революционной целесообразности. Очень часто они перехлестывали через край. С обеих сторон в годы гражданской войны было много невинных жертв. Но только не объявляли большевики войны своему народу.

Когда в начале 1919 г. по стране прокатилась волна антисоветских мятежей, в которых по тем или иным причинам принимали участие рабочие и крестьяне, отношение к участникам этих мятежей было совсем иным, чем к сознательным организаторам контрреволюционных действий. Спустя некоторое время, в апреле 1919 г., для этих рабочих и крестьян была объявлена амнистия²¹. А когда после окончания гражданской войны была про-

ведена ревизия мест заключения и выяснилось, что там находится значительное число рабочих и крестьян, был выдвинут лозунг, может быть, и странный для сегодняшнего нежного уха, но тем не менее вновь опровергающий утверждение о том, что большевики борются против собственного народа. Тогда говорили: тюрьмы для буржуазии, а не для рабочих и крестьян. Произошло массовое освобождение виновных в различных мелких преступлениях²².

Так что борьбы со своим народом большевики не вели. А если бы кому-нибудь из них пришла в голову столь нелепая мысль, то они не остались бы у власти в России и месяца. Потому что тогда они стали бы для крестьян и рабочих тем большим злом, от которого крестьяне и рабочие повернулись бы в сторону белых генералов. Этого не произошло. Как бы ни старался сегодня Солоухин перевернуть историю и представить все наоборот, этот факт оспорить не удастся.

И наконец, в 1921 г., после того как гражданская война закончилась, а принципы чрезвычайной политики по инерции сохранились, большевики стали катастрофически быстро терять свою массовую базу. Именно в этот момент они почувствовали угрозу превращения в меньшинство, ощерившееся штыками против народа. Ответом на это явное расхождение с большинством народа стал нэп с постепенным переходом к свободной торговле. Теперь, в мирное время, это уже можно было сделать.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЛИЧНОСТИ «ПРЕСТУПНИКА»

Приговор диктатуре пролетариата, диктатуре партии имеет вполне определенный персональный адрес. В конечном счете все обвинения в диктатуре и диктаторстве обрушиваются на Ленина. С помощью одного нехитрого приема Солоухин добивается удивительного эффекта. Он обесчеловечивает Ленина. Как это делается?

Представьте себе, что во время минувшей Отечественной войны кинооператору удалось отснять солдата во время атаки. И вот спустя годы кто-то, развалясь в кресле, медленно прокручивает эту пленку, сопровождая каждый ее кадр репликами и замечаниями: «Смотрите, как звериный крик раздирает его рот... каким безумием стекленеют его глаза... смотрите, с каким остервенением всаживает он штык в брюхо противника...

А теперь — смотрите! Смотрите! — как после боя он, извините, блюет от омерзения...»

Если бы Солоухин сказал: смотрите, как отвратительна и бесчеловечна война, то это было бы понятно. Он говорит иное: смотрите, как отвратителен этот солдат... Но дайте же высказаться и солдату. Не затыкайте ему рот, не обрывайте его на полуслове. Не мешайте ему сказать, что он может и должен сказать в свое оправдание. Дайте ему объяснить. По крайней мере не перебивайте его тогда, когда он не только говорит о мотивах, но и дает анализ ситуации, в которой ему пришлось принимать те или иные решения.

В 36-м томе Ленин действительно писал, что «диктатура отдельных лиц очень часто была в истории революционных движений выразителем, носителем, проводником диктатуры революционных классов, об этом говорит непререкаемый опыт истории»²³. Но «критикам Ленина» не до истории. Уже неоднократно приходилось слышать, что в этой формуле — готовая философия и оправдание «культы личности», что Ленин — «крестный отец» Сталина.

Не считите за труд, дослушайте Ленина до конца: «Чем решительнее мы должны стоять теперь за беспощадно твердую власть, за диктатуру отдельных лиц *для определенных процессов работы*, в определенные моменты *чисто исполнительских функций*, тем разнообразнее должны быть формы и способы контроля снизу, чтобы парализовать всякую тень возможности извращения Советской власти, чтобы вырывать повторно и неустанно сорную траву бюрократизма»²⁴.

Неужели сталинская диктатура хоть в малой степени похожа на эту ленинскую модель? У Ленина речь идет о диктатуре «в определенные моменты». О диктатуре «под контролем снизу». О диктатуре для «чисто исполнительских функций». Ведь даже в старой русской артели приказ «старшего» во время работы был непререкаем. Иначе дело не пойдет или дело не будет спориться. Тут же речь идет о войне, о крепости, где поведение осажденных действительно должно подчиняться единой воле. Такая диктатура демократична по своей сути, как это ни парадоксально звучит.

Звучит это действительно странно. И прежде всего потому, что не удалось избежать ни «извращения Советской власти», ни «сорной травы бюрократизма», ко-

торых опасался Ленин... Приведем в этой связи письмо, полученное им от анонимного автора в августе 1920 г.:

«Не давайте расти стене между вами и пролетариатом. Если вы проанализируете последний период времени, вы заметите, что есть маленькое, почти незаметное, отдаление ваше от пролетариата столиц. Может быть, виной этому ваше недомогание, а вернее кожаные люди. Они курят перед вами фимиам и всеми мерами стараются втащить вас на такой пьедестал, откуда вам бы ничего не было видно, да и вы виднелись бы народу как недосыгаемое божество»²⁵.

Что из этого письма следует? Бюрократизированный управленческий слой начинает вырабатывать собственные защитные механизмы. Это понимает Ленин. Это осознают и массы. Средство, которое избирает «аппарат», заключается, конечно, не в уничтожении «вождя» (что поставило бы их в сложное положение, ведь обожествление авторитета — свойство бюрократии), а в обволакивании его бюрократической тinou. Втащив на пьедестал, его можно лишить связи с массой. В наиболее вопиющих и ярких формах это проявилось в ситуации с безвольным псевдовождем Брежневым, который стал ширмой для всевластия бюрократии.

Гражданская война оставляла мало места для демократии. Не будем этого отрицать. Но даже люди, наделенные диктаторскими полномочиями, старались выйти в это время на прямой разговор с народом.

Посланный в Новгородскую губернию для наведения порядка, ликвидации произвола местных властей, налаживания контакта с крестьянами Мещеряков рассказывал, как он был ошеломлен на губернском съезде Советов такой неожиданностью — мужицкий съезд минут пять не переставал неистово хлопать в ладоши после слов одного «православного истинного середняка», дескать, «мы первый раз видим, что председатель дает полную свободу всем высказываться и ни на кого не кричит и не грозит»²⁶. Очевидно, за этим фактом стоят какие-то сложные политические процессы. У нас нет возможности подробно останавливаться на этом. Но эта прямая связь человека с диктаторскими полномочиями и крестьянской массы, возникшее между ними взаимопонимание, пусть приобретшее формы вождизма, являлись своего рода компенсатором тех потерь, которые нанесла демократической системе принятия решений атмосфера гражданской войны.

Тем более самим по себе удивительным «инструментом политики», как отмечал Луначарский, был Ленин в силу особых личных качеств²⁷. Можно сказать, что он выполнял роль своеобразного исторического компенсатора, который отчасти блокировал недостатки и слабости системы чрезвычайного типа, сложившейся в годы гражданской войны.

А без такого уникального инструмента система оказалась бы неработоспособной, ее пришлось бы достаточно глубоко реформировать. Не это ли стал понимать в конце жизни и сам Ленин, но уже тогда, когда почти отошел от дел? Понимал, кстати, не он один. Достаточно перечитать стенограмму XII съезда партии и обратить внимание на следующие слова Л. Красина:

«Когда нам говорят: все оставим по-старому, то я говорю, что оставить по-старому вы не можете, потому что важнейший фокус, который сосредоточивал весь опыт нашей партии и перед которым каждый готов был преклониться и оставить за ним право безапелляционно решать вопросы, т. Ленин, на долгое время выбыл из строя. Мы знаем, что даже и ошибки Ленина, при наличии такого его значения, когда он мог авторитарно говорить и выступать за всю партию, были приемлемы, были даже плюсом и для нас, и для нашей партии, и для нашей государственности. Но когда мне говорят, что какая бы то ни было тройка или пятерка заменит т. Ленина и что мы «все оставляем по-старому», то я говорю: нет, товарищи, по-старому мы оставить не можем, и старого этого не будет до того момента, пока Владимир Ильич снова не возьмет в свои руки руль государственного корабля»²⁸.

Так что с вопросом о соотношении демократии и диктатуры дело гораздо серьезнее. Та форма организации политической власти и механизм принятия решений, которые замыкались лично на Ленине, были действительно уникальными. И Ленин понимал эту уникальность. Переход к нэпу без этого был бы невозможен. Но даже Ленину потребовался Кронштадт, потребовались антоновщина, всеобъемлющий экономический и политический кризис весны 1921 г., чтобы окончательно понять утопичность «военного коммунизма» как системы.

Словом, вопрос, что такое «диктаторство» Ленина, слишком сложен для того, чтобы отделяться мелко-травчатыми размышлениями, за которыми нет главного — уважения к истории. Даже если отвлечься от всей

сложности политической механики 1918—1920 гг., то и в этом случае уважаемый писатель скрывает от читателей те факты, которые могут быть обращены в пользу Ленина.

ОРУДИЯ «ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

Ульянову-Ленину вменяется в вину то, что он в слепом фанатизме изобрел и использовал как орудие преступления государственную хлебную монополию, хлебную карточку, всеобщую трудовую повинность, продовольственную разверстку и т. п., чтобы «за хлебную карточку человек, оголодавший и униженный голодом, пошел бы работать на советскую власть... Гениально и просто, как все у Ленина», — заключает Солоухин²⁹. А для того, чтобы добиться своих коварных целей, Ленин инспирировал голод в Москве и Петрограде. Жуткое обвинение! Сенсация!

Но почему же тогда и в показаниях царского министра Протопопова, и в солдатских письмах, которые приводились в начале статьи, мы постоянно наталкивались на слово «голод»?

Побойтесь бога, гражданин прокурор. Или вы забыли, что уже в самом начале 1917 г. зазвучал лозунг: «Хлеба!» Может быть, вы, как государыня императрица Александра Федоровна, тоже считаете, что «мальчишки и девчонки бегали по улицам и кричали, что у них нет хлеба, просто для того, чтобы создать возбуждение...»? ³⁰

С осени 1916 г., в связи с острым дефицитом продовольствия, не только шестнадцатимиллионная армия, но и тыловое население стало переводиться на государственное снабжение. Тогда же появились и «хвосты», многочасовые — порой на всю ночь — очереди за хлебом и другими продуктами. Тогда же начались и «продовольственные беспорядки» — разгром лавок и тому подобное.

После Февраля продовольственный кризис продолжал обостряться. Особенно острое продовольственное положение сложилось летом 1917 г. в Смоленской, Владимирской, Калужской, Тверской, Нижегородской и Екатеринославской губерниях. Не менее бедственная ситуация возникла в городах и рабочих поселках Урала. Волнения на почве недостатка хлеба, сопровождавшиеся, как правило, разгромом складов и лавок, были зафиксированы в Московской, Орловской, Казанской, Киевской губерниях, а также в Бакинской и Амурской областях³¹. Это что — тоже «подстроили» большевики?

В августе для армии заготовили лишь 28% запланированного количества хлеба, а для населения — 40—43%. В сентябре фронтовые части получают еще меньше — 26%, а тыловые гарнизоны, по признанию военного министра А. И. Верховского, вообще «живут со дня на день», то есть исчерпали запасы³². Министр продовольствия С. Н. Прокопович дорисовал эту мрачную картину: еще «хуже дело обстоит с вопросом о пропитании гражданского населения, населения крупных городов и промышленных областей»³³. У него были на то основания. Местные продкомы буквально бомбардировали министерство телеграммами о том, что «бороться с голодом нет сил»³⁴.

Солоухину ненавистна проклятая «продразверстка». Не спорим. Но кто же придумал ее? Ленин? Большевики? Да нет. Она была введена в России 29 ноября 1916 г. по инициативе царского министра земледелия А. А. Риттиха³⁵. (Хотя, конечно, продразверстка 1919 г. отличалась, и очень существенно, от того, что было в 1916 г.)

Реквизиции по твердым ценам — «для нужд армии» введены еще 27 августа 1914 г.³⁶ А для обеспечения хлебозаготовок по всей стране была создана чиновничья «хлебармия»³⁷.

И государственную хлебную монополию не большевики выдумали. Достаточно обратиться к закону «О передаче хлеба в распоряжение государства», принятому 25 марта 1917 г. Временным правительством. Это же правительство дополнительно к хлебной разверстке ввело разверстку по губерниям на мясо, масло и другие сельхозпродукты³⁸. Наивные люди! Они не знали простого секрета добиться всеобщего благоденствия в условиях войны. Этот секрет только сегодня открыл Солоухин. Разрешите им свободную торговлю, и тотчас же «на всех базарах появятся горы хлеба и разных других продуктов»³⁹. Не нашли они этого простого ответа. Не сделали они того, что надо было сделать. И поэтому нам остается либо заподозрить и их в стремлении к диктатуре и в искусственно создаваемом голоде, либо признать, что все-таки чего-то не знали и не понимали не члены Временного правительства, а современный писатель В. Солоухин.

Нет у большевиков «авторского свидетельства» и на продовольственные карточки. Впервые в крупных городах России они появились в 1916 г. После постановле-

ния Временного правительства от 29 апреля 1917 г. они были введены повсеместно ⁴⁰.

Ну а эти кошмарные вооруженные продотряды, о которых с неподдельным содроганием пишет Солоухин? Уж это-то точно «придумали» большевики? Ан нет.

Для принудительного изъятия хлеба уже в августе 1917 г. из состава фронтовых частей и тыловых гарнизонов регулярной армии стали формироваться специальные воинские отряды для проведения реквизиций в деревне ⁴¹.

Документы свидетельствуют, что деревня встретила эти отряды крайне недружелюбно. По данным министерства продовольствия, крестьяне некоторых деревень заявляли, что «на реквизицию хлеба они ответят вооруженным сопротивлением» ⁴². Несмотря на это, министерство официально провозгласило, что «система принудительного отчуждения хлеба в порядке военного вмешательства остается самым действенным способом осуществления хлебной монополии» ⁴³.

«Всеобщая трудовая повинность»? Фактически она была введена сразу после начала войны. В городах рабочих или служащих, не имевший «брони» по месту работы, немедленно мобилизовывался в армию. Освобождали от «брони» и тех, кого хозяева увольняли с работы за те или иные «провинности». В деревне не было необходимости вводить трудовую повинность, ибо от $\frac{1}{3}$ до $\frac{1}{2}$ всех работников взяли в солдаты. Рабочих рук на селе и так не хватало.

Как же выходили из этого положения? С весны 1915 г. из концентрационных лагерей (да-да, уже тогда существовали такие) на принудительные сельхозработы было направлено около 600 тысяч военнопленных. Туда же отправили и 150 тысяч беженцев. В 1917 г. количество военнопленных на сельхозработах сократилось до 430 тысяч. Но появился новый контингент — опять-таки «солдатские команды». По приказу Ставки от 21 июля летом «по уходу за посевами» в деревне работало около 135 тысяч солдат, а осенью на уборке — около 700 тысяч. Постановлением правительства (30 мая 1917 г.) из городов на работы в деревню направили и так называемые «дружины учащихся», формировавшиеся во всех учебных заведениях страны ⁴⁴.

...Так что же они все — и царские, и буржуазные министры — белены объелись? Или Маркса начитались? Да нет же. И в царском, и во Временном правительствах

продовольственным делом занимались люди достаточно профессиональные и опытные. В их министерствах работало и немало известных ученых. Например, знаменитый экономист профессор Н. Д. Кондратьев в октябре 1917 г. даже попробовал свои силы на посту товарища министра продовольствия, а позднее, как и некоторые другие видные чиновники этого министерства, работал в советском Народном комиссариате земледелия ⁴⁵.

В чем же дело? Представим себе, что группа наших читателей случайно попала на необитаемый остров, имея с собой лишь 2—3 буханки хлеба. Как вы думаете, что они сделают? Откроют свободную хлебную торговлю? Конечно нет. Если они найдут в себе силы для самоорганизации и самодисциплины, а не перебьют друг друга, ибо от голода люди звереют, то, вероятнее всего, они введут столь ненавистный Солоухину «учет» и «контроль» и до последней крошки будут делить поровну этот мизерный запас. И это подскажет им не Ленин, а элементарный человеческий здравый смысл.

Во всех воюющих странах война породила схожие экономические процессы: потребность в продовольствии (в частности, для снабжения гигантских армий) возросла, а производство товаров первой необходимости (в результате перевода промышленности на военные рельсы) резко сократилось. Это катастрофическое «бестоварие» порождало, в свою очередь, обесценение денег, инфляцию, и крестьяне, естественно, не хотели отдавать за эти «бумажки» (да еще по твердым ценам) свой политый потом хлеб. Обычные, нормальные способы экономического обмена между городом и деревней рушились. И в такой экстремальной ситуации все — и монархисты, и капиталисты, и марксисты — всегда — и в 1914—1920 и в 1939—1945 гг. — вынуждены были действовать с помощью различного рода «ненормальных», чрезвычайных мер.

Именно такая ситуация сложилась и в России. Пресса отмечала, что уже после первых двух лет войны «крестьяне в деревне не имели ни сох, ни борон, ни лопат, даже не могли достать в городе на рубашки ситца и обуви» ⁴⁶. В результате уже в 1915—1916 гг. начинает складываться и все более набирать силу тенденция к «удержанию» хлеба — либо до общего повышения рыночных цен на сельхозпродукцию, либо для натурального обмена на товары, необходимые в крестьянском

обиходе. Так завязывается тот узел противоречий, который на много лет станет пробным камнем для политики многих российских правительств и партий.

Но стоимость всего товарного фонда, которым располагали продорганы, равнялась примерно 2 миллиардам рублей, а стоимость закупок хлеба — более 9 миллиардов. Поэтому заготовки были сорваны. И министр продовольствия А. В. Пешехонов в августе 1917 г. официально заявил, что положение «критическое вследствие отказа населения продавать хлеб»⁴⁷.

После этого он пришел к выводу о необходимости использования «воинской силы для получения хлеба». Его преемник — министр Прокопович, — тоже достаточно грамотный экономист, подтвердил, что иными мерами «не спасти революции». И, выступая на заседании Временного правительства, прямо заявил, что если «не получим необходимого количества хлеба, то мы будем вынуждены прибегнуть к воинской силе»⁴⁸. Эсеровские «Известия Всероссийского Совета крестьянских депутатов» поддержали этот шаг, мотивируя его тем, что у правительства не остается другого выхода⁴⁹. Тогда-то и были двинуты в деревню воинские отряды регулярной армии.

Может быть, эти факты помогут читателю разобраться в «неопровержимом» доводе Солоухина: как получилось, что хлеб в стране был, а города голодали? А ведь перед большевиками возникли еще и новые трудности. Например, саботаж старого чиновничества.

Ведь и к продразверстке большевики пришли не сразу. В августе 1918-го, когда голод в городах дошел до предела, они попытались добыть хлеб с помощью продотрядов. Но, становясь на путь силового давления на кулаков-«хлебодержателей», Ленин одновременно все еще искал методы экономического стимулирования заготовок. Он добивается принятия юридических мер, которые могли бы положить конец незаконным реквизициям в деревне. Втрое повышаются закупочные цены на хлеб. Для «отоваривания» хлебных закупок в городах проводится конфискация промышленных товаров. Ленин ставит даже вопрос о введении натурального налога на богатых крестьян...⁵⁰

Но если на 1 января 1918 г. стоимость рубля, в сравнении с довоенным, упала в 23,3 раза, то на 1 января 1919 г. она упала уже в 230 раз, а к 1 января 1920 г. — в 3136 раз. И тут уже об «экономических методах»

думать не приходилось. Заметим кстати, что большевики с их продразверсткой собрали с июля 1918 по июль 1919 г. лишь 110 миллионов пудов зерна, а с июля 1919 по июль 1920 г.— 220 миллионов пудов⁵¹. Так что до «аппетитов» царского министра Риттиха, предполагавшего собрать по продразверстке 771 миллион пудов, они так и не поднялись.

Вот и оцените теперь сами, гражданин прокурор, все ваши пассажи насчет большевиков, «придумавших» хлебную монополию, продразверстку и хлебные карточки для того, как вы пишете, чтобы превратить весь народ в «безмозглый государственный механизм».

А что же противопоставляет Солоухин известным фактам и свидетельствам? Два весьма сомнительных «аргумента». Во-первых, неприличный намек на превратившегося (от пережора, конечно) в «ромовую бабу» Г. Зиновьева⁵². Последний, как известно, страдал болезнью сердца, и знающие люди понимают причины такого рода полноты. Во-вторых, совсем уж неприличную сплетню о Ларисе Рейснер, которая, оказывается, как кто-то достоверно сообщил писателю, знаменита не тем, что в годы гражданской войны наравне с рядовыми бойцами героически сражалась на фронтах, а лишь тем, что якобы «купалась в ванне с шампанским»⁵³. И все? Но ведь уважаемый писатель, как и все мы, наверное, знает цену подобным сплетням. Неужели их достаточно, чтобы перечеркнуть все то, что до сих пор было известно истории и историкам? Причем не только официальным историкам, не только апологетам большевиков, но и их противникам, тем, кто никогда ни при каких условиях политики большевиков не принимал. Достаточно ли этого для того, чтобы принять взгляд Солоухина на продовольственный кризис? Мы считаем, что нет. Читатель пусть решает сам.

Ну, хорошо, не большевики придумали все эти ужасные вещи. Но как по-варварски они их применили, может сказать писатель. И он предъявляет суду «неопровержимые» улики.

«НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ» УЛИКИ

Прокурор Солоухин предъявляет суду улику.

— Говорил «грабь награбленное»? — вопрошает он Ленина.

— Действительно, говорил и даже имел из-за этого неприятности,— мог бы ответить Ленин.

Л. Д. Троцкий вспоминал: «Газеты особенно ухватились за слова «грабь награбленное» и ворочали их на все лады: и в передовицах, и в стихах, и в фельетонах.

— И далось им это «грабь награбленное»,— с шутливым отчаянием говорил не раз Ленин.

— Да чьи это слова? — спросил я.— Или это выдумка?

— Да нет же, я как-то действительно это сказал,— ответил Ленин,— сказал да и позабыл, а они из этого сделали целую программу.— И он юмористически замаха-
хал рукой»⁵⁴.

Понятно, что писателю Солоухину «юмористически» не помашешь. Впрочем, стороннику «патриотического» направления в нашей публицистике, а теперь и в судопроизводстве по крайней мере должно было бы быть приятно стремление вождя революции при употреблении лозунга «экспроприация экспроприаторов» обойтись без латинских слов. Но вот что удивительно. Экспроприация, конфискация собственности помещиков и капиталистов, передача земли крестьянам, а заводов — рабочим в нравственном сознании народа олицетворяли идею справедливости. Писатель не может этого не знать, однако почему-то стремится вызвать у читателя неприязненное отношение к Ленину, грубо обрывая цитату. Но стоит перевернуть страницу и прочитать: «Награбленное сосчитай и врозь его тянуть не давай, а если будут тянуть к себе прямо или косвенно, то таких нарушителей дисциплины расстреливай...»⁵⁵

Не обратил он внимания и на ленинское предупреждение о том, что беднота крестьянская «ничего не выигрывает от грабежей награбленного», что «простым грабежом Россию удержать нельзя»⁵⁶.

Именно здесь Ленин видел водораздел. Он вводил тот самый неприятный мелкому собственнику и современному «критику» учет и контроль, правильное распределение (а как еще?). Мелкий собственник ничего этого не хотел. Для него лозунг «грабь награбленное» означал растащить национальное достояние по своим избам, чердакам и подвалам, для Ленина — объявить общенародной собственностью, то есть национализировать.

Знает ли наш прокурор историю знаменитого декрета о национализации крупной промышленности от 28 июня 1918 г.? Конечно, ему этот декрет представляется чуть

ли не началом «военного коммунизма», истерии национализации и прочих бед. Но если вспомнить время, когда появился этот документ, то, например, выяснится, что с его помощью большевики спасли от разграбления, а точнее, от перехода в собственность Германии значительную часть национального достояния. Ведь при обсуждении экономического протокола к Брестскому миру германское правительство требовало немедленной расплаты за предприятия, национализированные после 1 июля 1918 г. Разве после этого можно отказать большевикам в оставлении национальных интересов? И если большевики в своей доктринальной слепоте торопятся к «немедленному социализму», то почему тогда по этому же декрету национализированные предприятия считаются в безвозмездной аренде у предпринимателей? Почему предприниматели не имеют права покидать своих постов и, более того, имеют право на определенную прибыль?

В рассуждениях Солоухина о лозунге «грабь награбленное» получился своего рода логический перевертыш. Мелкособственническое понимание этого лозунга он приписал Ленину, а ленинское осуждение такого взгляда на вещи — себе. Хорошо хоть 36-й том оказался под рукой.

Еще одна неопровержимая улика: против кого направил Ленин продовольственную диктатуру? Против «кулаков», «деревенской буржуазии»? В это поверят лишь школьники. Сам Ленин «наконец-то, единственный раз проговорился...»⁵⁷, против кого была направлена диктатура, — против всего русского крестьянства. Теперь все точки над «і» для Солоухина расставлены.

Но так ли это?

Заглянем в следующий, 37-й том ленинских сочинений, без которого не обошелся и наш гражданин прокурор. В нем Ленин в августе 1918 г. делает следующие расчеты:

«Допустим, что у нас в России около 15 миллионов крестьянских земледельческих семей, считая прежнюю Россию, до того времени, когда хищники оторвали от нее Украину и прочее. Из этих 15 миллионов, наверное, около 10 миллионов бедноты, живущей продажей своей рабочей силы или идущей в кабалу богатым или не имеющей излишков хлеба и особенно разоренной тяготами войны. Около 3-х миллионов надо считать среднего крестьянина, и едва ли больше 2-х миллионов кулачья, богачей, спекулянтов хлебом»⁵⁸.

Теперь сложим 10 миллионов и 3 миллиона. Получится 13 миллионов. Из них на 3 миллиона семей среднего крестьянства в конце 1918 г. Ленин предполагал распространить мягкое обложение натуральным налогом, на 10 миллионов семей бедноты — никакого. Не верите? Откройте 93-ю страницу того же тома, и окажется, что жесткое налоговое обложение Ленин предполагал применить к двум миллионам богатых хозяйств. Что, все 2 миллиона семей — кулацкие?

Перевернем еще страницу. Ленин: «Не все 2 миллиона кулаки. Богатый крестьянин может быть очень зажиточным, но не кабальщиком и прочее». А на кого распространяется экспроприация? Ленин: «Капиталистов мы экспроприируем и конфискуем, — у богатого крестьянина *нет*». А за что конфискация? Ленин: «За восстание и противодействие кулаков — конфискация»⁵⁹. И все это не из теоретической статьи, а из основных положений к декрету об обложении сельских хозяев натуральным налогом, принятому Совнаркомом 26 октября, утвержденному ВЦИК 30 октября 1918 г.

Что помешало впоследствии проведению натурального налога? Это уже другая история. Да и слышал ли писатель когда-нибудь (хотел ли слышать) об этих намерениях большевиков? Если слышал, то вряд ли бы вознамерился убеждать читателя в том, что со страниц 36-го тома ленинских Сочинений — «веет жутью».

Такой «жутью» на уважаемого писателя повеяло, в частности, от одного «ленинского пунктика» из «Тезисов по текущему моменту». «В случае, если признаки разложения отрядов (продовольственных. — Авт.) будут угрожающе часты, возвращать, т. е. сменять, «заболевшие» отряды через месяц на место, откуда они отправлены, для отчета и «лечения»⁶⁰.

Тут, видимо, надо бы объявить перерыв и подождать, пока «жуть» развеется, но писатель такой передышки как раз и не хочет. «Понимаете ли вы, мой читатель, — спрашивает он, — о каком заболевании и о каком лечении тут идет речь?» И сам подталкивает к ответу: «Не трудно догадаться о методах лечения и о лекарствах, которые их ждали». Он не сомневается, что его поймут и на тех, кто поймет, тоже повеет «жутью»⁶¹. И на нас тоже повеяло «жутью». Ведь добросовестный читатель Ленина нечаянно не мог бы настолько перепутать диагноз. Ленин говорил о том, что надо сурово наказывать тех, кто грабит крестьян. Солоухин утверждает, что Ленин хочет

уничтожить последних крестьянских защитников. Ленин грозит расстрелом грабителям, дискредитирующим Советскую власть,— Солоухину слышится варварский призыв к уничтожению честных людей. Ей-богу, таких приемов полемики никакой плюрализм не выдержит.

Хотите удостовериться? Загляните в 37-й том Сочинений Ленина и узнаете из первых рук о диагнозе болезни и методах ее лечения:

«Установить правило обязательной выдачи расписки, в двух (или трех) экземплярах, при *всякой* безусловно, реквизиции (особенно в деревнях и на железных дорогах). Напечатать формы этих квитанций. За реквизицию без выдачи квитанций расстрел.

...То же наказание установить членам всех и всяких реквизиционных, продовольственных и прочих отрядов за всякие, явно несправедливые к трудящемуся населению или нарушающие правила и законы и способные вызвать возмущение населения действия...»⁶²

Кого-то могут не убедить ленинские слова. Но страдалцам за русский народ следовало бы знать и о том, что в соответствии со специальной инструкцией (1918 г.) вооруженные рабочие в продовольственных отрядах были обязаны давать своему комиссару полный отчет о каждом израсходованном патроне. Стрельба предусматривалась только в крайних, специально оговоренных случаях. За бесцельную и необоснованную стрельбу виновные привлекались к суду революционного трибунала⁶³. Эти неприятные Солоухину красные комиссары как раз и не давали развиваться той болезни, которая на почве одичания, вызванного войной, поразила людей.

Примерно так же достопамятные прокуроры красным карандашом обводили только удобные им цитаты из добытых любой ценой показаний обвиняемых. На этом они и строили свои обвинения. А все, что противоречило этому, просто-напросто отметали. Хорошо, что у Ленина есть возможность говорить своим голосом. В конце концов собрание его Сочинений доступно каждому.

РАЗГОВОР СВИДЕТЕЛЕЙ В КОРИДОРЕ, ВЕДУЩЕМ НА ПЛОЩАДЬ...

Говорят, что в комнате для свидетелей разговаривать не полагается. Что же, поскольку в этой роли мы уже выступили, выйдем в коридор. Там можно и поговорить.

Итак, открытый процесс над Лениным состоялся.

Прокурор вынес свой приговор. Но найдутся люди, которые этот приговор не примут. Они попытаются защитить Ленина, революцию, хотя это теперь и не модно. Но услышат ли их те, кто стоит сейчас на улицах в огромных очередях, а затем собирается на площадях на различного рода митинги? Вряд ли. Высокоморальный автор, который, уверены, и цыпленка не зарежет, по всей вероятности, не отдает себе отчета в том, как его прочитают сегодня. Писательское слово всегда несло народу свет добра, справедливости, истины. Но голос Солоухина звучит сегодня в ряду тех, кто усиливает озлобление и ненависть. Большевики виноваты! Большевики погубили Россию! Для того чтобы спасти ее, для того чтобы появились мыло и табак, надо избавить Россию от большевиков. Так, что ли?

Не будем копать в чужих душах или пытаться угадать, в чем заключается внутренний замысел автора. Будем исходить из принципа презумпции невиновности — писатель не преследует таких целей. Он хочет бить в набат. Но очень часто те, кто бьет в набат и созывает толпы на площадь, потом либо оказываются жертвами этих толп, либо сами пачкаются в крови. Поэтому не покидает какая-то странная ассоциация. «Святая простота», — сказал Ян Гус о старушке, которая подкладывала хворост в его костер. Не слишком ли много таких старушек, не ведающих, что творят, ходит сегодня по многострадальной Руси?

Конечно, их «простые истины» доступны сознанию масс. Сложные интеллигентские размышления наших так называемых либералов доходят до многих с трудом. Особенно если человек каждый день сталкивается с житейскими невзгодами.

Он хочет, чтобы ему сказали: кто виноват и что делать? Так было всегда. Когда людям предлагают простые ответы, они их легко воспринимают.

Но именно поэтому «простая истина» должна быть истинной. Потому что простота ответов большевиков в 1917 г. на вопрос о земле и мире — это одно, а простота ответов Сталина в 1937 г. на вопрос, почему в стране не ладятся дела, — это совершенно другое. И в том и в другом случае ответы простые. Но в первом случае ответ истинный, а во втором — фальшивый. Простые ответы, которые предлагает нам Солоухин и которые построены на обмане, на передержках, неистинны. Они толкают уставших и отчаявшихся людей в одном направлении:

виноваты большевики, уберите их, и светлое и радостное прошлое сольется со светлым и радостным будущим.

Но сейчас близок час, за которым может последовать взрыв страстей и эмоций, способный смести страну с лица земли. В свое время, в других исторических условиях Россия стояла накануне такого взрыва. И только «малосимпатичные» большевики остановили этот взрыв. В конце концов даже их оппоненты это признали. Сегодня вновь наступил момент ответственности. Политической ответственности. В такой момент надо суметь переступить через свои собственные амбиции, обуздать стремление самовыразиться любой ценой, понять, что страна находится в таком положении, когда поза, рисовка могут обернуться трагическими последствиями. Это надо помнить и тем, кто берется высказываться о прошлом, ибо от этого, извините за банальность, зависит будущее.

А тем, кто их читает, хочется посоветовать не верить на слово никому — ни Солоухину, ни Иванову, ни Сидорову, как, впрочем, и авторам этой статьи. Уж слишком легковверными стали все мы в последнее время. Особенно по отношению к собственной истории. А ведь подлинные интеллигенты, как говаривал Ленин, «ни слова не возьмут на веру, ни слова не скажут против совести»⁶⁴.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Солоухин В. Читая Ленина // Родина. 1989. № 10. С. 68, 70.

² Падение царского режима. Л., 1926. Т. 1. С. 256; Т. 4. С. 21—22.

³ Цит. по: Вахрушева Н. А. Солдатские письма и цензорские отчеты как исторический источник (1915—1917 гг.) // Октябрь в Поволжье и Приуралье. Казань 1972. С. 37.

⁴ Родина. 1989. № 10. С. 70.

⁵ Цит. по: Кабытов П. С., Козлов В. А., Литвак Б. Г. Русское крестьянство: Этапы духовного освобождения. М., 1988. С. 82.

⁶ Там же. С. 84.

⁷ См.: Россия в мировой войне (1914—1917). М., 1925. С. 4, 30.

⁸ См.: Родина. 1989. № 10. С. 71.

⁹ Там же. С. 70.

¹⁰ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 36. С. 79.

¹¹ См.: Родина. 1989. № 10. С. 72.

¹² Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 36. С. 253.

¹³ См. там же. Т. 41. С. 3—4.

¹⁴ Там же. Т. 36. С. 79—80.

¹⁵ См.: Родина. 1989. № 10. С. 72.

¹⁶ Известия. 1922. 10 марта.

¹⁷ См.: Соколов Ю. В. Алексей Алексеевич Брусилов // Вопросы истории. 1988. № 11. С. 94.

¹⁸ Родина. 1989. № 10. С. 70.

- 19 Там же. С. 72.
 - 20 Там же.
 - 21 Там же. С. 73.
 - 22 Приказ ВЧК № 10. 8 янв. 1921 г. // ЦПА ИМЛ. Ф. 76. Оп. 3.
- Д. 149. Л. 3.
- 23 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 36. С. 199.
 - 24 Там же. С. 206.
 - 25 ЦПА ИМЛ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1297. Л. 4.
 - 26 Там же. Ф. 17. Оп. 12. Д. 343. Л. 3.
 - 27 См.: Знамя. 1987. № 11. С. 8—11.
 - 28 Двенадцатый съезд РКП(б): Стенографический отчет. М., 1968.
- С. 126.
- 29 Родина. 1989. № 10. С. 67.
 - 30 Там же. С. 74.
 - 31 Там же.
 - 32 Там же.
 - 33 Там же.
 - 34 Там же.
 - 35 Там же.
 - 36 Там же.
 - 37 Там же.
 - 38 Там же.
 - 39 Там же. С. 68.
 - 40 Там же. С. 74.
 - 41 Там же.
 - 42 Там же.
 - 43 Там же.
 - 44 См.: Лихачев М. Т. Министерство продовольствия Временного правительства. Канд. дисс. М., 1968. С. 69, 213, 317, 318, 320; Вестник Временного правительства. 1917. 8 июня. № 74 (120).
 - 45 См.: Родина. 1989. № 10. С. 74.
 - 46 Там же. С. 75.
 - 47 Там же.
 - 48 Новая жизнь. 1917. 18 окт.
 - 49 Известия Всероссийского Совета крестьянских депутатов. 1917.
- 18 окт.
- 50 См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 37. С. 31—33.
 - 51 См.: За 5 лет: Сборник. М., 1922. С. 318—319, 323.
 - 52 Родина. 1989. № 10. С. 68.
 - 53 Там же.
 - 54 См.: Троцкий Л. Д. Из воспоминаний // Огонек. 1989. № 17.
- С. 5.
- 55 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 36. С. 270.
 - 56 Там же. С. 274.
 - 57 Родина. 1989. № 10. С. 69.
 - 58 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 37. С. 40.
 - 59 Там же. С. 94.
 - 60 Там же. Т. 36. С. 375.
 - 61 Родина. 1989. № 10. С. 69.
 - 62 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 37. С. 32—33.
 - 63 См.: Родина. 1989. № 10. С. 76.
 - 64 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 391.

— Очень многие считают, что начало гражданской войны в значительной степени связано с политикой большевиков. Речь, в частности, идет о том, что проведенная под нажимом Ленина продовольственная диктатура, а затем и введение комбедов предопределили раскол крестьянства, расширили массовую базу контрреволюции. Как вы относитесь к подобного рода соображениям?

— Еще 29 апреля 1918 г., когда Ленин выступал во ВЦИК с докладом об очередных задачах Советской власти, ни о какой продовольственной диктатуре речи не было¹. Продовольственную политику предполагалось вести примерно по тому же курсу, который наметился с марта 1918 г., то есть сохраняя хлебную монополию, твердые цены, получать хлеб с помощью товарообмена с деревней. Монополист Наркомпрод получал в свое распоряжение предметы промышленности, приобретенные им за счет правительственной ссуды, на определенных условиях направлял их в деревню и тем самым стимулировал хлебосдачу. Однако спустя почти десять дней после ленинского доклада в СНК принимается решение о введении продовольственной диктатуры². Что же изменилось за эти дни?

В тот же день, когда Ленин выступал во ВЦИК, на Украине с помощью австро-германских оккупантов к власти пришел гетман Скоропадский. Это резко ухудшило общую военно-политическую ситуацию, но самое главное, что происшедшие события нанесли серьезный удар по всем расчетам большевиков, связанным с продовольственными проблемами. Дело в том, что относительная продовольственная стабильность Центральной России фактически держалась на двух тонких нитях железных дорог: Ростов — Воронеж и Тихорецкая — Царицын. Линия Ростов — Воронеж была перерезана гайдамаками и немцами у станции Чертково, и поставки хлеба с Северного Кавказа можно было вести только по одной линии, которая тоже находилась под постоянной угрозой. Возможность таких, прямо скажем, катастрофических изменений предвидели еще в апреле 1918 г. не только большевики, но и их оппоненты. На II Чрезвычайном съезде ра-

* Впервые опубликовано: Коммунист. 1990. № 5. В беседе с сотрудником журнала С. С. Хижняковым участвовал также В. Т. Логинов. В настоящем издании из-за недостатка места опубликованы только те вопросы, на которые отвечали авторы этой книги.

бочей кооперации представитель меньшевиков Егоров говорил, что не сегодня завтра мы дождемся, что если узловые станции, соединяющие нас с богатой Донецкой областью, с Северным Кавказом и с Кубанской областью, будут взяты немцами и гайдамаками, то мы окажемся отрезанными от всего юга. У нас остается, правда, еще один ход, один район — это Сибирь³.

После взятия немцами и гайдамаками Ростова Ленин закладывает в основу политики именно этот худший вариант развития событий. Мы не будем утомлять читателя всеми цифрами и выкладками, которые были сделаны в то время и до сих пор никем не оспорены, скажем только об итоге. В случае полного перекрытия каналов поступления хлеба с Северного Кавказа (и при неизменной продовольственной политике) вместо 25 фунтов хлеба, положенных по плану Наркомпрода на человека в месяц, реально выдавали бы лишь 3 фунта⁴. Для молодых читателей, которые затрудняются в пересчете на современную метрическую систему, скажем: речь шла приблизительно о трех-четырех современных батонах хлеба. В месяц! И это все, на что можно было рассчитывать при худшем варианте. События, однако, развертывались не просто по худшему варианту, предсказанному Егоровым, а по наихудшему. В результате восстания чехословаков в конце мая 1918 г. будут отрезаны еще Сибирь и часть Поволжья.

Возросли нервозность населения, предрасположенность к голодным бунтам и вспышкам насилия. И первые симптомы такого развития событий обнаружились как раз накануне принятия декрета о продовольственной диктатуре. Об этом свидетельствовал трагический инцидент в одном из районов Петрограда — Колпино, весь сценарий которого показывал, как именно будут разворачиваться голодные бунты во всех городах России. Малейшего толчка оказалось достаточно для того, чтобы взвинченная толпа бросилась громить хлебные лавки, избивать представителей Советской власти и т. д. По сообщению «Петроградской правды», поводом к волнениям в Колпино послужил не недостаток хлеба или уменьшение хлебной нормы, а всего лишь то, что все продукты были свезены вместо всех магазинов в один ларек и отпускаться стали на час позже — в 10 часов утра⁵.

Вот в такой накаленной атмосфере, в пожарном порядке и шла подготовка декрета о чрезвычайных мерах по стабилизации продовольственного положения. 8 мая

1918 г. по докладу Цюрупы о продовольственном положении СНК постановил принять декрет о предоставлении чрезвычайных полномочий комиссару по продовольствию. На этом же заседании Лениным была разработана целая группа положений декрета о продовольственной диктатуре. В частности, он предложил: оговорить в декрете условия о том, что постановления диктатора проверяются его коллегией, имеющей право, не задерживая исполнения, обжаловать их в СНК; сильнее подчеркнуть мысль о необходимости вести и провести беспощадную и террористическую борьбу и войну против крестьянской и иной буржуазии, удерживающей у себя излишки хлеба; точнее определить, что владельцы хлеба, имеющие излишки и не вывозящие их на станции, места сбора и ссыпки, объявляются врагами народа и подвергаются заключению в тюрьме на срок не менее 10 лет, конфискации всего имущества и изгнанию навсегда из общины. Ленин предлагал также внести в декрет добавление о долге трудящихся, неимущих и не имеющих излишков крестьян объединиться для беспощадной борьбы с кулаками⁶.

При обсуждении декрета во ВЦИК он вызвал самые жаркие споры. Его называли сомнительным, изобилующим чрезвычайно рискованными рецептами и экспериментами. С современной точки зрения, декрет действительно содержал в себе возможность очень серьезных политических изменений, в том числе связанных с расширением сферы действия насилия. Однако никто из оппонентов большевиков (ни в то время, ни сегодня) так и не ответил на вопрос, который поставил Шлихтер и который мог бы задать в то время и Ленин: «...как же быть все-таки в настоящее время тем, у кого эта продовольственная разруха... подводит животы, между тем как мы стоим перед тем фактом, что есть огромные массы населения, у которых эти животы не подводит?»⁷.

Уже тогда никто не скрывал, что введение продовольственной диктатуры есть объявление гражданской войны. Только с оружием в руках, заявлял нарком Цюрупа, можно получить хлеб⁸.

— *Но общее продовольственное положение еще не стало настолько катастрофическим, чтобы идти на это. Не было ли в решении о продовольственной диктатуре некоторой нервозности и торопливости Ленина?*

— Нервозность не только была. Она постоянно нарастала. Но не у Ленина, а у населения районов, оказав-

шихся в наихудшем продовольственном положении. Вот несколько наугад выхваченных сообщений из продовольственной хроники конца мая 1918 г.: Ярославль — «Население взволновано и захватывает грузы на станциях»; Богородск — «Население волнуется, грозя погромами»; Гжатск — «Голод абсолютный... Категорически просим выслать хлеба»; Владимир — «Запасов никаких нет... Положение самое критическое... Губерния накануне анархии»⁹.

Если попытаться представить себе более ярко картину той анархии и погромов, которые начинали вспыхивать на почве голода, то ситуация предстанет еще более ужасной. 20 мая в Нижнем Новгороде «рано утром толпы женщин и мужчин, бывшие в хвостах у продовольственных лавок, направились к городской советской управе и к комиссариату продовольствия. По пути к толпе примазались любопытствующие и злостные лица, шнырявшие по рядам. Возбужденная и возбуждаемая толпа набросилась на вышедшего к ней комиссара продовольствия и избила его. Так как бесчинства толпы приняли угрожающий характер, были вызваны войска. Толпе было предложено разойтись, и в виде острастки было дано несколько залпов в воздух»¹⁰. 23 мая из Симбирска сообщали: «Сегодня на почве реквизиции хлеба на рынке толпой жестоко избит уполномоченный продовольственного комитета»¹¹. Все эти эксцессы в конечном счете выливались в лозунг: «Долой хлебную монополию, а вместе с нею Советскую власть!»

— *А что, может быть, и в самом деле так было бы лучше для населения страны?*

— Для определенной части населения — конечно. Причем не только для тех, кто был естественным противником Советской власти, но и для тех, кто был ее неустойчивым союзником. В хлебных районах, где продовольственное положение не было катастрофическим, в мае 1918 г. по сравнению с январем крестьян словно подменили. Большевик Чистов рассказывал: «Тогда они с восторгом встречали слова в пользу Советов. Теперь же среднее крестьянство колебалось между революцией и контрреволюцией. На наши разъяснения середняки отвечали: «Знамо, спасибо Советской власти, что дала нам землю. Никогда не забудем! Но нам бы еще свободную торговлю. Вот тогда было бы хорошо»¹². Это «было бы хорошо» звучало довольно странно, если сравнить положение крестьян хлебобородных районов с положением и

настроением крестьян потребляющих губерний. В одном из уездов Тверской губернии, по сообщениям продработников, «крестьяне обезумели от голода. По полям начинают бродить, как волки, толпы голодных»¹³.

Благополучие одних губерний, где можно было мечтать о свободной торговле на основе избытка хлеба, строилось за счет других губерний, население которых уже охватило паническое настроение. Голодные и измученные люди способны были сознавать лишь потребность данной минуты и для данной группы лиц, вне связи со всем остальным. Этой психике соответствовали и действия — «все они выливаются в одно: погром»¹⁴. В том, что обезумевшие от голода люди поступали безумно, не было ничего удивительного. Это понимали все. Однако нельзя было не видеть и того, что за стихийным бедствием все отчетливее раскрывала себя и определенная политическая воля. Недовольство населения голодом враждебные большевикам политические силы уже открыто пытались использовать в своих интересах. И никакие моральные соображения по поводу недопустимости таких действий в данный острый момент их на этом пути не останавливали.

За всеми голодными волнениями стоял один и тот же тезис: голод создан неумением Советской власти управлять хозяйством. Это постоянное внушение нередко достигало цели. К сожалению, эти «внушения» оказывают воздействие и на некоторых наших современников в их рассуждениях об этих событиях. Причем то, что голод был создан отнюдь не неумением Советской власти, а неизбежным отсечением одной трети товарного хлеба, поступавшего с Украины, сужением каналов поставки хлеба с Северного Кавказа с потерей железнодорожной ветки Ростов — Воронеж, развалом транспорта и пр., в расчет, как правило, не берется. Не принимается во внимание и поляризация интересов, когда на одном полюсе находились относительно благополучные крестьяне производящих губерний, включая не только крупных хлебоделателей, но отчасти и бедноту, а на другом — население промышленных центров и крестьянство потребляющих губерний Центральной и Северо-Западной России. Кстати заметим: то, что известно сегодня историкам, было не очень известно очевидцам и участникам тех событий. Обезумевшие от голода люди в общем-то были не в состоянии исходить из абстрактных расчетов, которые не имели для них никакой цены. Воспринималась только

близкая и непосредственная реальность. А она была такова, что многим действительно начинало казаться, что все, мол, дело в хлебной монополии и что, если ее отменить, придет спасение от голода.

То, что с отменой твердых цен в тех условиях может произойти и отмена Советской власти, прекрасно видели все. Но те, кто в авантюристическом стремлении предлагал отменить твердые цены и убрать большевиков, не видели или не хотели видеть другого. Выведение борьбы за хлеб в сферу рыночных отношений при том недостатке его, который существовал в отрезанной от хлеба части России, толкнуло бы тех, у кого не было денег для «вольных» цен, на любые действия. Стихия смела бы с лица земли всех и вся, в том числе и авторов идей отмены хлебной монополии и возврата к Учредительному собранию. Да, большевики провозгласили гражданскую войну в продовольственном вопросе, но они призывали к консолидации по классовому принципу, к борьбе неимущих против богатых.

Что бы дали «вольные» цены, отмена хлебной монополии и пр.? Они бы тоже вызвали гражданскую войну, но это была бы война за кусок хлеба, и количество жертв такой войны было бы неисчислимо больше. Главное же, что это столкнуло бы еще и бедных с бедными. Обескровив друг друга, они в конце концов просто отдали бы власть той силе, которая стала бы защищать богатых от бедных. Ведь практика показывала, что несправедливый при нехватке продовольствия механизм свободной торговли отсекал беднейшие, а затем и средние слои населения от потребления хлеба. Могли ли встать на этот путь большевики?

— Но, может быть, следовало принять другие предложения? Не отменяя хлебную монополию, разрешить самостоятельную заготовку рабочим организациям? Известно, что с таким требованием выступили, например, Рыков и Ларин.

— Но ведь это был фактически призыв «спасайся, кто может». А кто не может?

В районах с относительным избытком хлеба (избытком лишь для данной местности) наблюдалась тенденция отгородиться от всей страны, проводить эгоистическую политику «своей колокольни». И решение о самостоятельных заготовках только бы усилило эту тенденцию. Интересы свободных заготовителей хлеба неизбежно пришли бы в противоречие с интересами местных

продовольственных органов на территориях хлебных губерний. Уже наблюдались тревожные явления. Например, продовольственные управы Казанской, Тамбовской, Саратовской губерний и Западной Сибири самовольно объявляли о безусловном воспрещении вывоза хлеба со своих территорий¹⁵. Потребляющим губерниям, далеким от благополучия, оставалось либо протестовать против этого, либо позаботиться об обеспечении продовольствием хотя бы «своих» путем запрещения въезда в свои города «чужих». Так поступили, в частности, в Вологде, Рыбинске. Агентам местных органов голодающих районов в местах заготовок хлеба приходилось буквально бороться за всякий лишний пуд хлеба. Им часто ничего не оставалось, как апеллировать к центру с требованием прислать комиссара с диктаторскими полномочиями.

В мае 1918 г. Ленин получает от рабочих Выксы телеграмму. Они сообщали, что, наконец изголодавшись, едут на пароходах со своими отрядами и пулеметами добывать хлеб¹⁶. Что должен был сделать Ленин? Остановить этих рабочих вооруженной силой? Это было совершенно немыслимо. У большевиков оставалась только одна возможность: либо защищать сытых от голодных вооруженной силой, потому что иначе остановить голодных рабочих с пулеметами было невозможно, либо попытаться ввести это стихийное в значительной степени движение за спасение от голода в организованные рамки, увести массы от погромов. Как? Решение подсказывали сами голодные: поддержите нас, хлеб найдем.

Ленин выбрал свой путь. В ответе выксинским рабочим он выражал надежду, что они свой план осуществят как истинные революционеры, то есть дав в отряд отборных людей, надежных, неграбителей и для действия по нарядам в полном согласии с Цюрупой, для общего дела спасения от голода всех голодных, а не только для себя¹⁷. Что еще он мог тогда сделать?

— *То есть перед Лениным, большевиками стояла проблема как-то «организовать» не только жизнь людей в условиях голода, но и гражданскую войну в продовольственном вопросе?*

— Именно так стояла проблема, и большевики не делали из этого секрета. Однако диктатура не могла ограничиться сферой продовольствия. Это прекрасно понимали не только большевики, но и их политические противники.

Консолидация нажившихся и теперь подвергавшихся различным опасностям людей, их стремление к самоза-

щите создавали определенную почву для диктатуры. Но и тем, кто голодал и стремился выжить, тоже была нужна диктатура. Эта идея носилась в воздухе. Весь вопрос состоял в том, чья именно диктатура возьмет верх. Большевики неизбежно должны были стать на путь ужесточения диктатуры и ее распространения вширь и вглубь.

Весь ход событий в мае 1918 г. говорил о том, что гражданская война уже началась. Лишь время могло окончательно выявить, как и в каких формах она будет идти и кто в ней будет победителем.

— *Вы считаете, что диктатура в то время была неизбежной. Но большевики ведь не ограничились этим. Они пошли дальше. В частности, создали комитеты бедноты, которые стали фактором раскола крестьянства, поляризации его, формирования массовой базы не только революции, но и контрреволюции в деревне. Этого не отрицали и сами большевики. Зачем же им понадобилось заходить столь далеко?*

— Прежде всего «дальше» пошли сами события. За голодным маем шел еще более голодный июнь. Мы уже говорили о том, что чехословацкий мятеж в конце мая 1918 г. резко ухудшил продовольственное положение Центральной России. Большевики тем более не могли в это время забывать о возможности полной потери Северного Кавказа, что и случилось в конце июля 1918 г. Развитие событий не только подвело большевиков к убеждению в необходимости уже предпринятых чрезвычайных мер, но и ясно показало: если в ближайшее время не будет найдена не только вооруженная сила в лице рабочих продотрядов, но и социальная база в самой деревне, то хлеба не получить и страна будет ввергнута в пропасть анархии.

Страна вступала в полосу абсолютной нехватки хлеба. Этот трагический тупик невольно для себя выразил нарком финансов Гуковский: «Мы вывозили и получали его (хлеб.— Авт.) вследствие налогов, монополии и т. п. Теперь же, когда этого нет, когда мы насильственным образом не можем получать хлеб, то крестьяне нам его не дают»¹⁸. 3 июня Совнарком разрубил этот гордиев узел. Он окончательно отвергает все иные принципы продовольственной политики. Как вспоминал позднее Цюрупа, в этот момент Ленин удержал партию от такого поворота в продовольственной политике, после которого, что впоследствии стало ясно для всех, неминуемо была бы катастрофа¹⁹.

Была ли в деревне социальная сила, на которую можно было опереться? Такая сила была. Причем достаточно многочисленная, хотя и малоорганизованная. Однако была и опасность того, что кулаки хлебных районов путем подкупа сплотятся с собственной беднотой и используют ее как силу против бедноты других районов, против рабочих, власти и пр.

Да, решением 11 июня о комбедах²⁰ Ленин пошел на раскол деревни. Если бы он не принял этого решения, гражданскую войну все равно уже нельзя было остановить, голодная Россия все равно с оружием в руках пошла бы на Россию сытую. И в этой кровавой каше все равно родилась бы диктатура.

— *Некоторые наши читатели спрашивают: вот вы защищаете Ленина, находите оправдание тем или иным его политическим шагам. Значит, в принципе вы оправдываете и насилие, и красный террор?*

— Это несколько некорректная постановка вопроса. В каком смысле? Если есть альтернатива — насилие или ненасилие, то тут, думается, выбор сомнений не вызывает: конечно, ненасилие. И Ленин, как известно, и до, и после Октября подчеркивал: «...Мы, в идеале, против всякого насилия над людьми»²¹. Но когда вопрос самой жизнью ставится по-другому, когда насилие неотвратимо, когда оно уже существует, — тогда остается выбирать только между большим или меньшим насилием. Это уже совершенно другой выбор. Хотя и в тех случаях, когда насилие становится вынужденной необходимостью, оно не перестает быть «злом».

Что касается красного террора, то это вопрос для самостоятельных и очень серьезных размышлений, потому что речь в данном случае идет не только о решениях верховной власти и лично Ленина, но и о том, что называется эксцессами на местах, с которыми боролись и сами большевики. Касаясь же отношения Ленина к этим вещам, мы просто приведем такие факты.

Известно, что постановление Совнаркома о красном терроре²² было принято 5 сентября 1918 г. как ответная мера на ряд террористических актов, совершенных контрреволюцией (20 июня был убит Володарский, 30 августа — Урицкий, и в тот же день тяжело ранен Ленин). Покушение на носителей авторитета власти из-за слабости самой власти воспринималось особенно болезненно. Стремление защитить их было связано не просто с особым чувством к вождям, а с особой ролью

авторитета. В условиях, когда аппараты власти слабы, он (авторитет) выступает порой в качестве важнейшего организующего начала. Поэтому защита людей, наделенных особыми полномочиями, становится вопросом жизни и смерти.

После убийства Урицкого по постановлению Петроградской ЧК было расстреляно, по официальным сообщениям, 500 заложников. Один из руководителей ВЧК, Петерс, назвал эти события в интервью газете «Утро Москвы» «истерическим террором», когда мягкотелые революционеры были выведены из равновесия и стали чересчур свирепствовать. До убийства Урицкого, заявил Петерс, не было расстрелов (заложников.— Авт.), а после него слишком много и часто без разбора²³. Но даже неприглядная политическая истерика в Петрограде была не просто местью. Террор — это особая форма борьбы в особой ситуации, связанной с тем, что вокруг вождей революции и контрреволюции, лиц с чрезвычайными полномочиями, собственно, и организуется власть.

Гораздо сдержанней и достойней вел себя в этой ситуации Ленин. Показательно, что мощная вспышка красного террора, ответственность за которую по логике вещей должна была быть возложена на Ленина, не поколебала его личного авторитета даже у крестьянства. Как позднее вспоминал после обследования Иваново-Вознесенской губернии уполномоченный ВЦИК Рязанов, «террор у крестьян соединяется с памятью о болезни тов. Ленина; крестьяне говорят: «Как хорошо, что тов. Ленин благополучно здравствует, теперь будет гораздо лучше»²⁴. Сказалась здесь и личная позиция Ленина, который, как вспоминал Луначарский, оставшиеся от борьбы с болезнью силы отдавал борьбе за то, чтобы страну не охватила лихорадка мести²⁵. Многим буржуа пришлось заплатить жизнью за убийства комиссаров и покушение на Ленина. Народный гнев был столь силен, что погибли бы еще сотни людей, если бы Ленин не требовал сдерживать гнев. О том, что вождь с трудом удерживал рабочих от нападения на тюрьмы, рассказывал заключенным — членам социалистических партий Рязанов в сентябрьские дни 1918 г. в Бутырской тюрьме²⁶. Тогда же об этом говорил Дзержинский, допрашивая Мельгунова²⁷.

— *Можно подумать, что большевики вообще не совершали ошибок и принимали единственно верные решения...*

— Конечно нет. Пожалуй, главной ошибкой Ленина была неточная оценка того, как именно принятые решения, в частности о комбедах, будут проводиться на местах. Сваливать вину за эксцессы чрезвычайной продовольственной политики, допустим, на низовые органы власти совершенно неправильно. Центральная власть в таких случаях обязана предвидеть последствия собственных решений. Этих последствий она предвидеть не сумела. Правда, и времени было в обрез. В самом решении о комбедах, к примеру, не было заложено отчуждение крестьянина-середняка от комбедовской деятельности, однако на местах было иначе. Середняка комбеды оттолкнули, и это был грубейший политический просчет. Переоценил Ленин и возможности комбедов, а тем более степень «социалистичности» беднейшего крестьянства.

То, что сельская беднота повела себя совсем не так, как можно было ожидать по каким-то первоначальным прогнозам, было очевидно. Анализ сообщений с мест показывал, что, опираясь на силы пролетариата, сельская беднота порой не только экспроприирует хлеб у своих кулаков и распределяет его между собой для пропитания, но одновременно и спекулирует им. В результате бывали ситуации, когда на месте одного крупного кулака появлялось по десятку мелких жуликов.

— Однако проблема ошибок стоит гораздо шире. Многие современные авторы обращают внимание на элементы утопизма в выступлениях Ленина дооктябрьского и послеоктябрьского периодов. Из вашего рассказа о начале гражданской войны можно заключить: действия Ленина определяли прежде всего прагматические соображения, то есть реакция на реальные изменения в жизни. Как же вы в таком случае оцениваете Ленина как политика?

— В пору жарких дискуссий на заседаниях ВЦИК в апрельские дни 1918 г. Мартов заметил, что Ленин пытается сочетать несочетаемое: Дон-Кихота и Санчо Панса. Когда Ленин говорит о социалистических задачах, он говорит, по мнению Мартова, как Дон-Кихот, как человек или представитель группы, который думает, что самого факта завоевания политической власти будет достаточно для социализма. Когда Ленин говорит о государственном капитализме, он выступает как Санчо Панса, имеющий твердую почву²⁸.

Нельзя сказать, что к ленинской позиции в полной мере подходит это определение. Вряд ли было бы пра-

вильным считать Ленина весны 1918 г. узким прагматиком, который не имеет романтических устремлений в будущее. Мысли возвышенного Дон-Кихота можно обнаружить в целом ряде теоретических положений этого периода. Прагматичного Санчо видно в практических действиях руководителя Совнаркома, направленных на выход из кризисной ситуации. Дон-Кихот и Санчо будут постоянно идти, взявшись за руки. Санчо не будет давать Дон-Кихоту отрываться от земной тверди. Дон-Кихот не даст Санчо встать на путь такой политической прагматики, которая вообще закрывала всякую дорогу к социализму и возвращала Россию в русло «нормального» капиталистического развития.

Выдвигаемые массами требования, воспринимаясь большевиками, нередко обряжались ими в социалистические одежды. Эти социалистические одежды вводили в заблуждение, на наш взгляд, и Ленина, когда ему надо было находить какие-то слова, понятия, образы и формы для обоснования реальной политики. Скажем, государственное регулирование производства и распределения, хлебная монополия и т. д. осуществлялись и до большевиков. Но когда Ленин, например, карточную систему — одно из звеньев в цепи этих мер — называет атрибутом социализма, это уже теоретическая ошибка, питающая идею «бестоварного» социализма. Отсюда и выводы того периода: нормированное распределение — это социализм, а свободная торговля — это не социализм. В то время как речь объективно шла о другом: возможна ли вообще свободная торговля, допустим, в условиях 1918 г. или невозможна?

Идеологические формы, в том числе и у Ленина, выступали порой в роли некоего фильтра, который не давал возможности принимать своевременные и рациональные решения, если их трудно подвести под образ (даже не понятие) социализма. И это было определенным отражением духа эпохи. Скажем, Наркомпрод воевал с ВСНХ по поводу, допустим, продовольственной политики или отношения к кооперативам. По сути, идет межведомственный спор, но каждая сторона должна «поклониться» при этом социализмом. Такая «традиция» в целом, согласитесь, сохраняется и по сей день.

Но, с другой стороны, в эпохи великих переворотов подобные иллюзорно-идеологические формы играют огромную мобилизующую роль. И когда, например, вставал вопрос, под какими флагами можно поднять массы

на те или иные действия, то левые эсеры, скажем, заявляли: под Учредительное собрание мы народ не поднимем, а под социализацию земли, передачу фабрик рабочим и т. д. — можно поднять. То есть социалистические одежды, натянутые на те или иные политические действия, играли роль своеобразного организатора массовых действий, охотно воспринимались массами, и с этим необходимо было считаться.

Сегодня же мы обнаруживаем, что в области истории мы попали фактически в плен тогдашних самооценок и лишь решаем, с положительным или отрицательным знаком к ним относиться. То есть мы начисто забыли, что об эпохе переворота нельзя судить по ее сознанию. И когда отдельные публицисты, занимаясь анализом идеологических текстов этой эпохи, исходят из их якобы адекватности реальным процессам, это, думается, серьезный просчет в самой постановке вопроса о доктрине, которая навязывается реальности. Нам будет гораздо легче, если мы научимся «разводить» реальный процесс, в котором действует прагматичный Санчо Панса, и идеологические, часто иллюзорные формы описания и осмысления этого процесса, неизбежные в революционные эпохи элементы утопического «донкихотства». Тогда мы сможем проследить, как Ленину не раз удавалось выйти за рамки собственных теоретических оценок. Прежде всего тогда, когда они вступали в противоречие с реальными потребностями практики.

— Одним словом, вы отнюдь не склонны считать Ленина безукоризненно отрегулированной политической машиной, способной при всех условиях безошибочно просчитывать варианты. Очень многое строилось на интуиции, на приблизительных прогнозах, и, по всей вероятности, это было неизбежно. Но в чем же все-таки вы видите слабость Ленина как политика?

— Сегодня многие сказали бы о приверженности той же доктрине, а кое-кто добавил бы слова о слепой приверженности, об апологии насилия, о просчетах в стратегических оценках (ориентация на мировую революцию и т. п.). Строго говоря, за всеми этими упреками стоит простая мысль: Ленин виноват в том, что он был человеком своего, а не нашего времени. Критиковать Ленина с этих позиций легко. В свое время именно так писали, например, о Герцене, Чернышевском или Л. Толстом — не поняли, не учли, не осознали... Поэтому разговор о Ленине с этих позиций давайте оставим тем, кто скло-

нен подменять исторический анализ текстологическими изысканиями. А слабости действительно были. И на эти слабости указывали Ленину уже его современники.

В октябре 1919 г. Осинский (Оболенский) писал Ленину: «...у нас есть великий политический вождь, которому принадлежит бесспорное руководство партией и революцией,— т. Ленин. Это великий и тактический политик и несравненный создатель политико-организационных линий и лозунгов — политический алгебраик. Но в то же время он не организатор-техник по индивидуальным особенностям, не знаток организационной арифметики. Это всегда признавалось и им самим. Вот почему рядом с Лениным был раньше Свердлов, который алгебраическими формулами решал конкретные арифметические задачи. Свердлов был хорош тем, что он был политически вполне надежен, при нем подчиненный ему организационный аппарат и в смысле личного состава конструировался так, что всегда был в руках... В то же время он мог правильно конкретизировать всякую общую директиву, построить для нее аппарат, подобрать, расставить, пустить в дело нужных людей, которых он умел (это главное свойство организатора) знать, понимать, оценить и применить»²⁹.

Ленин, по всей вероятности, должен был время от времени чувствовать своего рода организационный вакуум, как это случилось после смерти Свердлова, и апеллировать к людям, имеющим особую аппаратную жилку со многими вытекающими отсюда неблагоприятными последствиями.

— *Не кажется ли вам в таком случае, что сосредоточенность Ленина на политической алгебре создавала своеобразную организационную щель, в которую после его смерти устремились аппаратчики во главе со Сталиным?*

— Опасность такого рода действительно была. По мере расширения и изменения задач расширялся и изменялся партийный аппарат. Потребность в людях росла. Тонкий слой старой партийной гвардии надорвался. Необходимо привлечение новых организаторов. Откуда их брать? Из новых пополнений партии, из так называемых «новорожденных» коммунистов. С приходом новых слоев, середняка, проблема готовности или неготовности России для социализма обнаружила себя в полной мере. Занимая ответственные места, середняк привнес в профессиональную революционную деятельность целый ряд

новых моментов. Через него общий культурный уровень страны сразу проявил себя в расцвете бюрократизма. При непосредственной опоре на массы бюрократизм не страшен. Не страшен он даже и тогда, когда выдвигаются вперед люди, зараженные какими-то анархическими болезнями. Но как только пошел середняк, проявила себя Россия.

«Фактически,— констатировал Осинский,— для превращения алгебраических формул в важнейших узлах работают или не организаторы, или хорошие исполнители (а нередко и плохие) — «чиновники», если можно так выразиться... У нас на ответственных местах сидит масса таких, которые «умеют ладить», не оскорбляют чужого самолюбия, не имеют крутого нрава... У нас в ходу куча свадебных генералов, надежной бездари и «политической» мелкоты... ряд дельных организаторов болтается без дела или на вторых делах... При Свердлове их (организаторов) было порядочно»³⁰.

Созданное на VIII съезде партии Оргбюро ЦК, во-первых, не могло быть в той же степени надежно, как один человек, во-вторых, не смогло занять самостоятельную позицию и, в-третьих, фактически распалось (из всех товарищей с организационными способностями в нем работал лишь Крестинский).

Чтобы избежать организационного разлада, тот же Осинский предложил Ленину произвести кадровые перестановки, возместить отсутствие «гения организации» Свердлова неким коллективным гением в лице организационной диктатуры из трех членов ЦК (Сталин, Крестинский и Дзержинский)³¹. Отвергая принцип коллеги, который неизбежно сопровождается определенными взаимоотношениями людей, возникновением трений, симпатий и антипатий, борьбой за первенство, Осинский видел выход в сугубо бюрократическом варианте, в изменении организационных форм в рамках устоявшейся системы отношений³². Между тем выясняется, да и сам Осинский на это указывал, что те паллиативные меры (создание Политбюро и Оргбюро), которые были приняты на VIII съезде, по-прежнему не решают главной задачи — задачи оживления партийной работы, освобождения от «мертвечины и маразма» партийного аппарата.

В 1920 г. эта проблема заявила о себе достаточно серьезно и приобрела форму дискуссии о «верхах» и «низах» в партии. Одной из ее причин и была неспособность

создать эффективный контроль снизу за действиями агентов власти. Этот существенный изъян в постройке государства обнаружился уже в 1919 г. И его нельзя было устранить созданием взамен Свердлова даже целой коллегии.

— *И последний вопрос. Можно ли говорить о некоей аппаратной преемственности ленинского и сталинского руководства?*

— На наш взгляд, такая постановка вопроса во всяком случае предпочтительнее, чем традиционные утверждения о доктринальной предопределенности сталинизма идеями Маркса и Ленина. Мы уже говорили об исключительности Ленина как политика. Так вот, вольно или невольно под собственные качества он подстраивал весь механизм принятия политических решений. Но что же произойдет, если этого уникального мастера сменит человек, так сказать, «дюжинный», при том, что сам механизм останется без изменений? Не получим ли мы вместо вождя чиновника, не могущего быть вождем, но в силу того, что вся пирамида власти уже выстроена определенным образом, он окажется на ее вершине?

Да, Ленин подобрал работающий коллектив, команду «лично под себя», и, строго говоря, эта команда должна была бы уйти с потерей вождя, без него она не могла оставаться прежней. Без него скоро обнаружилось, что связи между этими людьми непрочны. Значит, отдавая должное Ленину, необходимо понять и другое: он, в общем-то, не начал (точнее, не успел начать) каких-то существенных преобразований внутри механизма власти. И когда, уже будучи тяжело больным, он столкнулся с некоторыми обстоятельствами — а многого он уже и не знал: как его отсекают от партии, в какой интерпретации доводят его последние идеи, — у него уже не хватило сил, «воздуха» для каких-то перемен в политическом механизме.

Мог ли Ленин предполагать, что созданная система будет воспроизводиться в дальнейшем со многими отрицательными знаками? Думаем, он мог уловить, но не уловил некоторые симптомы. Скажем, обратить внимание на явления, связанные с так называемым «самарским перевертышем», когда в феврале 1921 г. при выборах Самарского губкома партии большинство получила «рабочая оппозиция» во главе с Милоновым. До этого она призывала к терпимости по отношению к оппонентам, выступала за равенство и т. д. А теперь? Обратим-

ся к документам: «...если раньше был просто бюрократизм, то сейчас имеется бюрократизм в квадрате и в кубе... Если раньше разъезды ответственных работников, «лошадный вопрос», существование отдельной столовой для ответственных работников и все иные привилегии вызывали бешеные нападки со стороны «милоновцев», то сейчас эти привилегии имеют больше места, чем раньше... Если во всероссийском масштабе оппозиция очень много говорит о свободе критики, о «демократизме», то здесь, в Самаре, как только она превратилась во «власти предержажные», всякий демократизм и всякая свобода... подавлялись самым беспощадным образом»³³.

Или такой симптом, как письмо К. А. Мехоношина и Н. И. Подвойского Ленину в период тяжелейшей ситуации в канун Кронштадтского мятежа. Вы пошли к рабочим, пишут Ленину эти старые партийцы, признали ошибки и призвали думать о другом. Но ведь в других странах в подобной ситуации правительство подает в отставку, а мы отделываемся незначительными извинениями³⁴. Это был очень серьезный упрек.

И здесь, может быть, правомерно сказать о том, что Горбачев фактически начал с того, на чем остановился Ленин: к проблеме «смены команд» надо идти через изменение самого принципа функционирования политической системы. Уже больной, умирающий вождь сделал ответственное заявление о необходимости перемен в политическом строе, но эти перемены в жизни ограничились малосущественными вопросами.

Можно лишь предполагать, какого рода гарантии против узурпации власти единоличным диктатором, представителями аппаратной бюрократии он вообще мог бы предложить в то время. Проблема же несменяемости лидера, возникшая при Ленине, осталась после смерти его и обнаружила все свои острые грани во всей советской истории. Ставить Ленину это в вину было бы неправильно. В конце концов он оставлял партию на старую гвардию и надеялся на нее. К прискорбному сожалению, эти надежды не оправдались. Последующие руководители не захотели двинуться здесь в верном направлении. В этом направлении предстоит двигаться сегодня.

- ¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 36. С. 697.
- ² Декрет СНК 9 мая 1918 г. // Ленинский сборник XVIII. С. 85—88.
- ³ См.: Второй чрезвычайный всероссийский съезд рабочей кооперации. Стенографический отчет. М., 1918. С. 103.
- ⁴ См.: Протоколы заседаний ВЦИК 4-го созыва. М., 1920. С. 245.
- ⁵ Петроградская правда. 1918. 14, 16, 17 мая.
- ⁶ См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 36. С. 316—317.
- ⁷ Протоколы заседаний ВЦИК 4-го созыва. М., 1920. С. 259.
- ⁸ Там же.
- ⁹ Известия Народного Комиссариата Продовольствия. 1918. № 4—5. С. 44—45.
- ¹⁰ Там же. С. 45.
- ¹¹ Там же.
- ¹² Чистов Б. Н. Первые шаги партийного строительства в Симбирске // За власть Советов. Саратов, 1967. С. 42.
- ¹³ Известия Народного Комиссариата Продовольствия. 1918. № 6—7. С. 36.
- ¹⁴ Там же.
- ¹⁵ См. там же. № 4—5. С. 45—46.
- ¹⁶ См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 36. С. 708.
- ¹⁷ См. там же. Т. 50. С. 86.
- ¹⁸ Труды I Всероссийского съезда Советов Народного Хозяйства: Стенографический отчет. М., 1918. С. 141.
- ¹⁹ ЦПА ИМЛ. Ф. 158. Оп. 1. Д. 113. Л. 8.
- ²⁰ См.: Декреты Советской власти. Т. 2. С. 412.
- ²¹ См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 30. С. 122; Ленин и Горький. Письма, воспоминания, документы. М., 1969. С. 328.
- ²² Декреты Советской власти. Т. 3. С. 291.
- ²³ Утро Москвы. 1918. 4 нояб.
- ²⁴ ЦПА ИМЛ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 7. Л. 150.
- ²⁵ Материалы Отдела истории КПСС ИМЛ при ЦК КПСС.
- ²⁶ См.: Мельгунов С. П. Красный террор в России (1918—1923). Нью-Йорк, 1979. С. 39.
- ²⁷ См. там же.
- ²⁸ См.: Протоколы заседаний ВЦИК 4-го созыва. С. 225.
- ²⁹ ЦПА ИМЛ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1253. Л. 4.
- ³⁰ Там же. Л. 4—6.
- ³¹ Там же. Л. 6.
- ³² См. там же.
- ³³ Там же. Ф. 17. Оп. 84. Д. 199. Л. 7.
- ³⁴ См. там же. Ф. 4. Оп. 2. Д. 246. Л. 1.

Взгляд из сегодня:

КУДА ЖЕ ВСЕ-ТАКИ ИДЕТ СУД?

(НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О «СТРАСТИ БЕЗ РАЗУМА»)

Инакомыслящих у нас не любят. Впрочем, во времена плюрализма инакомыслящими стали все. Страна наша переполнена беспорядками, нехватками и дефицитами, но

отнюдь не любовью к ближнему, тем более мыслящему «иначе». Косимся друг на друга, подозреваем, обличаем и все норовим пригвоздить супротивника ядовитым словом, пометить политическим клеймом. Но одно дело абстрактно провозглашать истину об исконной российской нелюбви к инакомыслию, другое — убедиться в этом на личном опыте. Ведь не политики же мы в самом деле. Это для них постоянная ругань противников и оппонентов просто атрибут профессии.

Но нас-то за что?

После публикаций о Ленине и революции в редакции журналов «Коммунист» и «Родина» пришло такое количество читательских писем, какого мы за всю жизнь не получали. Никогда не слышали мы в свой адрес и такого количества резких выражений. Теперь-то нам наконец ясно, почему брань на ворота не виснет. Вступая в дискуссию, наиболее рьяные спорщики, по всей вероятности, норовят сначала оторвать у противника этот самый ворот, а потом и голову.

Впрочем, нам ли жаловаться? Ведь сами первые начали. Оппонентов в своих статьях не жалели, а иногда, кажется, и желчью пользовались вместо чернил. За то и получили в ответ! «Апологеты насилия», «продажные историки» — это еще цветочки. Г. Н. Чукаев из Казани нам даже нежнейшие стихи посвятил:

О, вы вернейшие придворные риторики,
Властью остепененные и дрессированные историки.
Врали, врете и будете врать,
Дабы, по указке, народу мозги засорять.

Сегодня мы просто благодарны Г. Н. Чукаеву за деликатность выражений и изысканность слога. Ведь «полемика» набирала силу, а проклятья становились все более изощренными. И дело не только в том, что наш материал провоцировал на это. 1989—1990 гг. были уже другим временем в истории перестройки. Дискуссии специалистов о нашем прошлом выплеснулись на площади.

«Товарищ редактор, только что прочитал в Вашем журнале 10/89 статьи В. Солоухина «Читая Ленина» и доктора, прошу прощения, исторических «наук» В. Логинова и еще двух платных «идейных борцов» «Куда идет суд?». Я не согласен с Солоухиным в его рассуждениях о геноциде русского народа, хотя жертвы были конечно огромные. Но эти три... эти гнусные рабы, «растленные рабы, целующие за зарплату крест и оковы» мне просто омерзительны, вызывают крайнее чувство гадливости. Прочтя их статью я почувствовал себя так будто сожрал жабу (орфографию и пунктуацию письма оставляем без изменений.— Авт.). Интересно, этих высокооплачиваемых

проституток, охотников до журнальной драки, разводящих опиум чернил слюною бешеной собаки, можно до их совести, до элементарной порядочности достучаться? Или может быть это можно сделать только прикладом пулемета? Интересно, сколько получают эти «ученые» распространяя свою вонь? Всех этих «ученых» прошу прощения по части общественных «наук» надо бы как это делал Ленин трудоустроить. Хотя я пожалуй несколько увлекаюсь, страсть без разума толкает человека на слепую дерзость. Ибо этих проституток, продающих свои души содержали и содержат видимо все режимы. Они выполняют роль шакалов (идеологических) из Киплингковского «Маугли». Ну и мрази. Караул!!!

Не могли бы Вы передать эти слова доктору исторических «наук» В. Логинову и двум его собратьям эту записку. Эти «ученые» за 70 лет столько яда на наши головы вылили, что дальше уже некуда и им видимо за это неплохо платят, за то что они отравляют сознание толпы?

- «Отрядом книг уставил полку,
читал, читал, а все без толку,
там скука, там обман и бред, в том
совести, в том смысла нет».
- «Зарыться бы в свежем бурьяне, забыться
бы сном навсегда, топчите проклятые
книги я вас не писал никогда».

Или они ждут эти «ученые» когда их вместе с их «трудами» бросят на костры?

Книги — на костры! Зиг — Хайль!!!

Передайте этим «ученым» если можно эти слова.

В. Бурбыгин, г. Армавир.

Вот такие споры идут сегодня на Руси! Уже и «приклад пулемета» и «Зиг хайль» пошли в ход. А там, глядишь, «прикладом» дело и не ограничится. И все бы хорошо. Начитались мы таких писем и почувствовали неизмеримую жалость к себе. Когда мы думали о том, как познакомить читателей с откликами на наши статьи, такую жалость и сочувствие мы рассчитывали вызвать и у них. Но чем больше разбирали почту, тем меньше у нас появлялось желания играть в одни ворота. Дело в том, что и одному из наших оппонентов, В. Солоухину, тоже досталось. На этот раз уже от наших сторонников. И ему тоже намекали на возможность «трудоустройства», и его материал называли мерзостным. Приведем лишь одну выдержку из письма Ю. И. Григорьева (г. Владимир):

«г. Солоухин!

У вас фотогеничное лицо (в журнале «Родина» за 1989 г. № 10) фермера, которому неплохо бы было заняться арендным подрядом в сельском хозяйстве, а не доказывать «несостоятельность» цитат, вырванных из работ В. И. Ленина, на страницах этого журнала.

Мы знаем В. И. Ленина по его результатам конечного труда, а вот кто вы? Непонятно!? Неизвестно!? Неплохо, чтобы вы все-народно опубликовали свою родословную, т. е. из каких слоев

произошли: зажиточных крестьян (кулаков), мелкой буржуазии или из экспроприированных, как класс, крупных заводчиков и фабрикантов?..»

Одна очень интеллигентная читательница из Оренбурга сообщила, что у нее в домашней библиотеке есть книги Солоухина, но завтра их у нее уже не будет, она их сожжет.

Когда собралось такого рода писем достаточно много — к счастью для нас и для России, не все они были такими, — мы испытали странное чувство: может быть, вообще не следовало затевать всю эту полемику вокруг Ленина, может быть, и мы, неосознанно для себя, подбрасывали в костер вязанки хвороста? Возникла неприятная ассоциация. В статье «Куда идет суд?» мы приводили цитаты из солдатских писем накануне Октября 1917 г., писем, дышавших неподдельной злобой и ненавистью. И сейчас в почте все чаще попадаются письма такого же плана, хотя ситуация в стране отнюдь не такая катастрофическая, как в 1917 г. Это как раз и заставляет задуматься над тем, чего вообще стоят наши благие призывы остановить насилие, предотвратить гражданскую войну, чего стоит наш моральный суд над прошлым. Ведь сторонники этого морального суда над прошлым, сторонники осуждения насилия и террора не брезгают пугать своих оппонентов «прикладом пулемета» и даже кострами. Впрочем, те, с кем они спорят, тоже проявляют нетерпимость. По приведенным выше письмам очень хорошо виден психологический механизм начала гражданской войны. Самой гражданской войны еще нет, а люди уже внутренне готовы к крайним экстремистским действиям. Те же, кто будировал эти противоположные мнения, в данном случае интеллигенция, часто не задумывались над тем, к чему могут привести их высказывания.

Мы не знаем, знакомился ли с письмами В. Солоухин, но если он их читал, если он знает эти настроения, то нам понятно, почему он поехал на уникальную Римскую конференцию в октябре 1990 г., почему он поставил свою подпись под документом «Национальное согласие», ставшим своеобразным общественным мостом поверх идейной непримиримости известных писателей, общественных деятелей СССР и русского зарубежья. Противоборствующие стороны среди интеллигенции продемонстрировали способность находить общий язык, однако те люди, которые поддерживают различные точки зрения, высказываемые в интеллигентских кругах, могут отличаться го-

раздо большей неудержимостью и злостью. Их потом никаким «очкастым интеллигентам» уже не остановить. Им потом и правил нашей полемики не объяснишь.

Вот уже и О. А. Ефанов из г. Амвросиевка Донецкой области пишет:

«Уважаемые историки боятся, что мысли высокоморального писателя станут известны большинству народа».

Как раз этого мы не боялись. Мы боялись другого. Того, что только наши мысли станут известны большинству народа, что только наш ответ В. Солоухину будет напечатан. И поэтому, когда у журнала «Родина» возникли проблемы с публикацией статьи писателя, один из авторов этой книги, пользуясь тем, что оказался на совещании в ЦК КПСС, в перерыве имел беседу с В. А. Медведевым (в то время членом Политбюро, секретарем ЦК КПСС) и долго доказывал необходимость публикации статьи В. Солоухина. Ведь только в этом случае возможна честная дискуссия. Так что замечание О. А. Ефанова мы принять в свой адрес не можем, равно как не можем согласиться и с Ю. Н. Афанасьевым, который в интервью латвийской газете «Советская молодежь» обвинил нас в осаживании оппонентов, причем на официальном уровне¹. Считали и считаем, что возможность высказываться должны иметь все. Но было бы странным, если бы при этом мы лишили самих себя права на отстаивание собственной точки зрения.

Ю. Н. Афанасьев не ограничился упреками по поводу того, что мы «пытались опровергнуть тех, кто приписывает Ленину недемократизм, признание террора и насилия», но и сформулировал свою позицию:

«...Насилие и террор проистекают не из каких-то убеждений и личных качеств Ленина. Они — в самих этих представлениях, что общество можно, как избу, построить, как завод, как какой-то механизм, сконструировать по заранее изготовленному чертежу. Эти представления и повлекли за собой поиск средств. А тут без террора и насилия, оказалось, не обойтись. И все это в массовом масштабе началось с восемнадцатого года»².

Примерно такую же мысль в споре с нами высказывают и философы И. Залысин и А. Смагин:

«...Социальные преобразования, к которым общество не готово ни объективно, ни субъективно, провоцируют обострение классовых противоречий, сопровождающееся массовым применением насилия...»³

Нам не хотелось бы сейчас вступать в долгие дискуссии по этому вопросу, в том числе и о том, что большевики в 1918 г. прибегали к насилию и террору якобы во

имя немедленного построения социализма. Последовательность событий достаточно подробно была рассмотрена и в заключительной статье данного раздела книги, и в статье «Историческая развилка весны 1918 года» («Вопросы истории КПСС». 1990. № 8, 9), к которой мы бы хотели отослать нашего читателя. Для нас сейчас гораздо важнее обратить внимание на то, по каким правилам идет моральный суд над прошлым.

Философы И. Залысин и А. Смагин считают, что мы выводим за рамки истории факторы морали, нравственные ценности общечеловеческого характера. Моральный суд, бесспорно, необходим, и мы ничего не имели и не имеем против него. Однако способен ли такой суд кого-то и чему-то научить? Как бы мы ни проклинали наше прошлое, но даже приведенные выше читательские письма показывают: психологический настрой на экстремистские действия все равно возникает в обществе в критических ситуациях. И тут уже людей весьма трудно остановить моральными проповедями. Умная политика предпочтительней. В этой связи нам показалось странным заявление наших оппонентов о том, что задача их критической статьи — «не нахождение исторической истины, а извлечение уроков»⁴. Каким образом из прошлого можно извлекать уроки, не утруждая себя нахождением исторической истины, нам не совсем понятно.

Вообще беспокоит очень опасное явление, масштабы которого мы почувствовали по некоторым откликам на наши статьи. Существо этого явления выразил один из наших читателей. Он написал, что, хотя некоторые публицисты могут путать факты и их последовательность, могут вырывать их из реального контекста истории, тем не менее они, по его мнению, знают истину, абсолютно не доступную для большинства профессиональных историков. Очевидно, эту истину ему как раз и подсказывает его моральное чувство.

Вышеупомянутый читатель — сторонник демократии и Учредительного собрания. Вряд ли его политическая позиция совпадает с позицией анонимной «группы русских людей», которые за несогласие с точкой зрения В. Солоухина вежливо называли нас «козлами», вероятно, по фамилии одного из авторов статьи. Однако и «русским людям» знание истины ниспослано свыше, дано от бога. Видимо, поэтому они хвалят В. Солоухина не столько за то, что он открыл наконец «всю правду» о Ленине, сколько за великую смелость произнесения этой «всей прав-

ды». Наши попытки указать на передержки и искажения фактов «группа русских людей» высокомерно отвергает. Чего там? И так все ясно!

Вот такое распространенное явление. Люди слышат только то, что хотят слышать, и с трудом воспринимают точку зрения оппонента. И добро бы дело ограничивалось массовым читателем. Порой именитые историки, известность которых простирается чуть ли не от Парижа до Курил, склонны на таком же уровне оценивать те или иные высказывания о прошлом, полагая, что безапелляционного политического ярлыка «апологеты насилия» достаточно для того, чтобы опровергнуть фактическую основу любых рассуждений. С таким абсолютно нетерпимым (как в профессиональной среде, так и в массовом сознании) явлением мы считали необходимым вступить в борьбу и от этих своих намерений не откажемся даже под градом самых ужасных обвинений. Наука не митинг, где сила голоса часто заменяет силу аргументов.

Нам также непонятны и благие намерения «понять причины террора, предупредить возможные сегодня взрывы насилия», оставив при этом историкам задачу «на основе документов... тщательно исследовать ход событий того времени»⁵. В том-то и дело, что к неуловимой грани, которую переступали в периоды революций якобинцы и большевики, их подводила длительная цепочка событий. Шло постепенное втягивание в террор, причем не только якобинцев и большевиков, но и их противников. В данном случае нас не волнует вопрос о том, кто начал первым. Важно установить логику эскалации насилия, потому что только такое знание в состоянии хоть как-то предостеречь политиков в их конкретных решениях и действиях. Понимание закономерностей того, как начинает работать машина насилия и террора, как общество доходит до состояния «чрезвычайщины» и цена человеческой жизни практически падает до нуля, это понимание дают только поиски исторической истины и анализ документов. Мы принимаем тезис «любой террор — зло». Но все дело в том, что дошедшая до стадии гражданской войны социальная и классовая конфронтация делит общество на «своих» и «чужих», на «мы» и «они». Врагов и противников вообще выводят в такие моменты из сферы морали, воспринимают как «нелюдей», на них не распространяют общечеловеческие нормы. Именно это создает возможность превратить аморальный террор в террор морально оправданный. Все заявления о безнравственности на-

силы и террора (а мы разделяем пафос этих моральных сентенций) никого уже не останавливают.

Разве не обнаруживается близкое сходство между письмами кануна Октября 1917 г. и письмами, которые сейчас все чаще и чаще приходят в редакции журналов? Разве не складываются предпосылки для того, чтобы общество разделилось на «своих» и «чужих», на людей и «нелюдей»? Даже для того чтобы доказать неправомерность насилия и террора в истории, можно, оказывается, угрожать оппонентам и «прикладом пулемета», и даже кострами инквизиции. Один из наших читателей, размышляя над статьей «Послушная история...», очень уместно вспомнил афоризм Карела Чапека: «Противник предательски обстрелял наши самолеты, мирно бомбившие его города». Вот такого рода «оправдательные» моральные силлогизмы начинают действовать в зонах обостренной социальной конфронтации.

Нам не хотелось бы кончать свои рассуждения на пессимистической ноте. А проблески оптимизма появились у нас после умного письма В. И. Прилуцкого в журнал «Коммунист». Этим письмом нам бы и хотелось завершить данный раздел книги. Приводим его с небольшими сокращениями.

«Уважаемые товарищи!

Вы совершенно правы... Антисоветское воззвание, написанное известным в прошлом диссидентом и обращенное (по его фразеологии) к «безответственным правителям великой страны», содержало обвинение: «...в октябре 1917 года вы предательски захватили власть». Но кто же и кого предавал?

Николай Второй предал Столыпина. Вспоминая об этом незадолго до революции, А. В. Кривошеин (стольпинский министр) с горечью предсказал, что царизму не на что будет опереться в решительную минуту. Так и случилось. В феврале 17-го синод РПЦ отверг призыв обер-прокурора поддержать монархию. Монархист В. В. Шульгин сам пришел к выводу: вырвать власть из рук царя, как отнимают руль у безумного водителя. Он же поехал в Псков принимать у императора отречение. Даже Колчак (легитимист до мозга костей) при голосовании командующих фронтами — уходить Николаю или оставаться — воздержался. Генералитет, Дума и даже личный караул при последних Романовых просто перестали им подчиняться. «Временные» во главе с Керенским, формально получившие преемство власти от Думы, фактически составили элитарный заговор и даже воспользовались структурой масонских (или псевдомасонских) лож. Разумеется, это совсем не то, о чем писал С. А. Нилус (или Рачковский) в пресловутых «Протоколах», — был просто заговор международных буржуазных политических клубов, а точнее заговор «сильных мира сего».

Что же касается большевиков, то до 1917 года они своих намерений взять власть не скрывали (и имели на этот счет серьезные аргументы), а в октябре 17-го они никого не обманули.

В Петрограде Октябрьская революция произошла практически бескровно. В Москве первоначально был расстрелян юнкерами красный гарнизон Кремля, и только после этого был штурм и расстрелы юнкеров и членов вооруженных студенческих дружин (о последних весьма ярко написал в своих воспоминаниях К. Паустовский). Похоже, что во всех случаях наступление на Коммуну начинали первыми белые генералы (а не наоборот). Понять не могу, на каких юридических основаниях англичане (законники и парламентаристы) выдали на смерть двадцать шесть бакинских комиссаров?

В 70-х годах по Би-би-си я слышал, как в Приазовье деникинцы в одном городе расстреляли всех, у кого сыновья или ближайшие родственники были мобилизованы в Красную Армию; в другом городе убивали каждого, у кого находили коммунистическую литературу; еще в одном городе расстреляли каждого десятого рабочего «для профилактики». Моей матери в городе Скопине зажиточные крестьяне вздумали угрожать повешением, так как она в 18 лет ради заработка сплясала на сцене местного клуба на концерте ВСЕРАБИС («продалась красным»). В городе Ефремове деникинские офицеры устроили охоту за интеллигентами, «которые без крестов», поставили к стенке учителя («вольнодумца»), и его едва спас местный священник (загородил приговоренного и поднял свой крест).

Как белые превратились в «серых» и что они вытворяли, описал в «20-м годе» тот же В. В. Шульгин (моя родня по матери, происшедшая из тех мест, подтверждала, что все это правда). Отец рассказывал, как Мир-Джафар Багиров («красный комиссар») в Астрахани затеял расправу над мятежными гимназистами при подавлении эсеровского восстания. Он накидывал обреченному на голову шинель и стрелял в затылок. Отец, служивший командиром у Кирова, остановил избиение и арестовал Мир-Джафара (в итоге из-за этого в Баку к родным он вернуться не смог).

Когда я ужаснулся жестокости Багирова, отец неожиданно сказал: «И он свое уже получил, но не осуждай его теперь (в 1957 году), всю его семью вырезали карадашники, он мстил всем — таким он был устроен». Отец, служивший в русской армии с августа 1914-го до осени 17-го и дослужившийся до поручика (к Кирову он бежал уже из Баку), плакал, когда в фильме «Тихий Дон» показали расстрел белых офицеров. Но он сказал: «Так же и с красными поступали...»

Видите ли, как получилось. Сначала нам рисовали «образ врага» только в облики контрреволюционера. Теперь иное — пропагандируется «образ злодея» исключительно за счет «людей в сапогах» (и, добавим, то с красной звездой, то с партийным билетом). По существу, такова методология всех диссидентских авторов, начиная с Солженицына. Но, ведь, как раз его и печатают неудержимо и без всякой критики. Результаты ожидаются однозначными.

В какой-то киношутке школьники обстреливали из всех видов игрушечного оружия экран, на котором банда зеленых преследовала «неуловимых». Но теперь, похоже, не до шуток, поскольку если не в самом современном ДС (или в «Рухе»), а вокруг подобных организаций найдутся такие, которые возьмут на мушку всякого живого человека, заподозренного в принадлежности к КПСС, к аппарату, к сталинистам и, чего доброго, к кругу подписчиков Вашего журнала. Ведь они тоже горазды во «врага» целить. Следовательно, Ваша статья подоспела вовремя. Но одной такой статьи недостаточно, ибо, если уж говорить о жертвах сталинизма (и только о них, как делает «Мемориал»), то не настало ли время назвать все жертвы

и, главное, показать ту реальную цепочку актов насилия, которая породила кошмар русской трагедии?

Л. Н. Толстой свидетельствовал, что на улицах российских городов в 1906-7 гг. дети «играли» в повешенье (стало быть, речь шла о ровесниках века). Никакие большевики это поколение еще не воспитывали, но спустя два-три десятилетия эти «шалуны», оказавшись в новой обстановке, взялись за настоящие браунинги.

В случае победы иных политических сил они стали бы делать то же самое. И поразивший их (персонально их) «первородный грех» свершился задолго до Октябрьской революции, в мире как бы патриархальном, добром, но не имевшем моральной силы воспротивиться зверству (верующие вешали верующих, стоит ли после этого удивляться, что вскоре неверующие начали расстреливать монахов и взрывать храмы?). Ответят: «Вешали по закону». Но разве не сказано в Писании: «По жестокосердию вашему дан вам этот закон»?..

Извините за затянувшееся послание. Выговорился. С пожеланием удачи!

Прилуцкий Владимир Ибрагимович,
научный сотрудник, б/п (не историк).

Р. С. Нам нужна «Белая книга», но не о жертвах сталинизма, а о жертвах века — о всех. Иначе в нашем поколении возобладает точка зрения Солженицына: «репрессии от Ленина, геноцид с 17-го». Но ведь это неправда. Еще нас обвиняют в особой кровожадности, т. к. убитых было очень уж много (до 110 млн), но массовой прежде всего была конфронтация огромных слоев населения. Если на поле боя сойдутся миллионы, то и погибнут миллионы, но это не значит, будто бойцы были сверхзлодеями».

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См.: Советская молодежь. 1990. 26 апр.

² Там же.

³ Залысин И., Смагин А. Ящик Пандоры (террор в двух великих революциях) // Общественные науки. 1990. № 4. С. 117.

⁴ Там же. С. 114.

⁵ Там же. С. 120.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ТРОЦКОГО (1990 г.)

Приметы времени:

«ДЕМОНИЗАЦИЯ» ПРОШЛОГО

Вопросы о Л. Д. Троцком поначалу звучали сурово:

«Есть историки, которые в какой-то мере оправдывают деятельность Троцкого???»

Только после реабилитации Бухарина интересовались уже поспокойнее:

«Будет ли переоценена деятельность других личностей в истории КПСС, Советского государства (Троцкий, Зиновьев, Каменев и др.)?»

Первые же слухи о возможной реабилитации Троцкого, по нашим сведениям, вызвали телеграфные протесты в ЦК КПСС.

Часто спрашивали:

«Мог ли Троцкий стать во главе партии?»

Лекторы успокаивали: конечно нет.

Борьба с троцкизмом вообще осталась, кажется, единственной из признаваемой многими заслуг Сталина. Однако постепенно личность Троцкого заняла определенное место на страницах периодики. В пьесе М. Шатрова «Брестский мир» Троцкий впервые появился на сцене советского театра в более или менее человеческом виде. Время от времени на экранах мелькали кадры старой кинохроники с изображением Троцкого, с фотографий снималась ретушь.

И все же Троцкий возвращался в историческое сознание совсем иначе, чем это происходило с Бухариным и многими другими деятелями большевизма. Можно даже говорить о феномене «демонизации» прошлого в нашем общественном сознании — превращении именно этой политической фигуры в своего рода «демона» революции, исчадие ада. Во всяком случае, как казалось, Троцкий идеально подходил для политических целей совершенно

различных направлений и течений в нашей общественной жизни. Иногда даже приходит мысль, что если бы его не было, то такую историческую фигуру следовало придумать, что отчасти и произошло.

Реальный исторический Троцкий до сих пор заслонен в сознании многих людей мифологическим образом. Никогда вокруг этой фигуры не было хотя бы относительного единодушия. Во времена «политических эвфемизмов» на Троцкого очень охотно сваливали все грехи большевизма. Для представителей консервативной части КПСС эта личность по-прежнему оставалась в галерее «героев» «Краткого курса истории ВКП(б)». Она становилась своеобразным «мешком»; в который можно было сбросить весь «мусор», все то, что не хотелось по тем или иным причинам связывать с именами других большевиков, даже Сталина. Так создавали «демона», благодаря которому можно было избавиться от необходимости серьезного обдумывания исторического прошлого. И Троцкий в этом случае объявлялся и отцом советского «тоталитаризма», и создателем концлагерей, и бюрократом над всеми бюрократами, и идейным вдохновителем сталинской сплошной коллективизации. Не было такого греха большевизма, который в той или иной мере не связывали с именем Троцкого.

Складывается впечатление, что та критика, которая впоследствии была обрушена уже на Ленина и Октябрьскую революцию, оттачивала свои аргументы и остроты на Троцком. (Даже некоторые серьезные авторы, например Д. Волкогонов, склонны были принять эту модель описания и вынести на всеобщее обозрение «демона» российского большевизма¹.)

В дальнейшем же оставалось сделать немного. Достаточно было соединить Троцкого с Лениным, показать, что между ними существовало бесспорное взаимопонимание в годы Октябрьской революции и гражданской войны, чтобы уже накопленные обвинения, находившиеся до поры до времени в «мешке» под названием «Иудушка», вырвались наружу и прилипли к Ленину и большевизму.

Так называемое «патриотическое» направление в публицистике тоже видело в Троцком олицетворение «демонизма». Но секрет полишинеля в нашей отечественной публицистике приоткрывает одна из записок, полученных нами в начале 1989 г. на «круглом столе» в Институте повышения квалификации МГУ, посвященном Троцкому:

«Как относится ИМЛ к обвинению Л. Д. Троцкого в национализме??? Был ли он националистом, а впоследствии и сионистом???»

Пожалуй, единственными, кто пытался разобраться в действительном облике этого человека, были профессиональные историки. И в этом своеобразие возвращения Троцкого. Именно в исторических работах он возвращался без шума, без фанфар, без привычных публицистических фейерверков. А значит, и иллюзий в отношении этой фигуры было у историков неимоверно меньше, чем в случае с Бухариным. Более того, возвращение Троцкого стало сигналом: историки сами в состоянии выбирать предмет исследований и даже, вопреки общественному мнению, предлагать свою, уже неконъюнктурную, пусть и непопулярную позицию.

Попытки демистификации сознания, связанные с фигурой Троцкого, вселяют определенные надежды. Воспитанное десятилетиями политическое неприятие Троцкого, долгое время тормозившее включение его конструктивных идей в нашу общественную мысль, уходит в прошлое. Впрочем, речь следует вести не столько об утраченных для «раннеперестроечной» общественной мысли идеях Троцкого, сколько о том, что ко многим из этих идей некоторые авторы, кажется, пришли самостоятельно. Не случайно японский советолог Н. Шимотомай заметил, что работы, например, А. Бутенко, отличает такая же критика сталинской системы (рассуждения об узурпации бюрократией власти у пролетариата), что и у Троцкого. То же самое относится и к Е. Плимаку и П. Волобуеву, согласившимся, по мнению Шимотомай, следовать за Троцким в вопросе о термидорианском перерождении Сталина².

Эти факты свидетельствуют, что исследователи, работающие в русле серьезной марксистской традиции, приходят к сходным оценкам сталинской системы. Основательный анализ этой системы, который был предпринят в свое время Троцким, ложится, таким образом, на благоприятную почву.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См.: Волкогонов Дм. Демон революции // Правда. 1988. 9 сент.

² Shimotomai Nobuo. New Interpretation of the NEP and the Stalinist System under Glasnost' // Facing Up to the Past. Soviet Historiography under Perestroika. P. 193.

КОНЦЕПЦИЯ СОВЕТСКОГО «ТЕРМИДОРА» *

Наша историческая наука предлагает читателю набор не просто разных, но полярных суждений о Троцком. Скажем, профессор АОН при ЦК КПСС В. Иванов доказывал в статье «Перекрашивают Иудушку»: «Троцкий был чужаком в большевистской партии; партия, идейно сокрушив уже после смерти Владимира Ильича троцкизм, «довершила дело, начатое В. И. Лениным»¹. А вот ленинградский историк В. Биллик в статье «Троцкий. На пути к правде о нем» утверждает нечто прямо противоположное: «...все, вместе взятые, разногласия между Троцким и Лениным после 1917 года «веса» микроскопически мало по сравнению с тем, что объединяло в то время этих двух людей». Приводит В. Биллик и такой факт: «В первом издании очерка «Владимир Ильич Ленин» (1924) Горький вспоминал, что Ленин говорил: «Врут много и, кажется, особенно много обо мне и Троцком». Ударив рукой по столу, он сказал: «А вот указали бы другого человека, который способен в год организовать почти образцовую армию, да еще завоевать уважение военных специалистов...»²

Раз уж речь коснулась Троцкого — организатора Красной Армии, посмотрим, сколь далеки в своих суждениях на эту тему были два наших партийных журнала в одном и том же 1989 г. Ю. Кораблев в своей статье «Почему Троцкий?» сообщил читателям журнала «Политическое образование», что, изучив недоступные ему прежде документы, он отказался от обычной манеры изображать деятельность Троцкого в гражданскую войну как «перечисление его имевших и не имевших место прегрешений»³. Ю. Кораблев отметил, что Ленин назначил Троцкого, несмотря на некоторые разногласия между ними, на ключевые в грозное военное время посты. Годы гражданской войны стали для Троцкого звездным часом: он подготовил важнейшие постановления и декреты Советской власти о Красной Армии, текст военной присяги и тезисы ЦК РКП(б) по военному вопросу к VIII съезду партии. «По поручению Ленина, ЦК партии, а часто и по своей инициативе» находился «на самых решающих

* Опубликовано: Козлов В., Плимак Е. Концепция советского «термидора» (к публикации дневников и писем Льва Троцкого) // Знамя. 1990. № 7. Печатается с сокращениями.

фронтах». «Поезд Председателя Реввоенсовета за годы гражданской войны проделал почти 140 тысяч верст, не раз попадая в опасные переделки на фронтах. За боевые подвиги в боях с Юденичем под Петроградом поезд был награжден орденом Красного Знамени»⁴. А вот прямо-таки убийственные оценки, данные доктором исторических наук Л. Минаевым: «А что доказали нам «поезд Троцкого» и комментарий наркомвоенмора к тем расстрелам, которые учиняли его «люди во всем кожаном» на каждой остановке этого проклятого поезда. «До тех пор, пока гордые своей техникой, злые, бесхвостые обезьяны, именуемые людьми (выделено Л. Минаевым.— Авт.), будут строить армии и воевать, командование будет ставить солдат между возможной смертью впереди и неизбежной смертью позади», — писал он. Но только ли таких «бесхвостых обезьян», только ли дезертиров и трусов расстреливали по приказу Троцкого? Разве не было там расстрелов «в назидание» остальным? И разве не погибали от рук «людей во всем кожаном» ни в чем не повинные красноармейцы и командиры?»⁵

Теперь возьмем такой кардинальный вопрос нашей истории, как коллективизация, по которому на страницах «Правды» 15 апреля 1988 г. выступил со статьей «Возродить в крестьянстве крестьянское...» Василий Белов. В ней он писал, что «исторические факты вопиют», изобличают Троцкого как врага государства, крестьянства и что, более того, сама наша коллективизация лишь по недоразумению продолжает именоваться сталинской. Замыслы Троцкого, оказывается, Сталин и реализовывал после 1928 г. в форме непосильных налогов, займов, разгона кооператоров, изъятия у них средств, расстрелов, судов, выселений⁶. Иными словами, для того чтобы «закопать» Сталина, пришлось одеть его в «троцкистский» саван! Но в конце концов историк-аграрник В. Данилов, а также дополнивший его статью А. Панцов представили в журнале «ЭКО» на суд читателей сами «вопиющие факты». Документы доказали принципиальное совпадение взглядов Ленина и Троцкого на нэп: Троцкий уже в начале 1920 года подошел к постановке проблемы, а после смерти Ленина предлагал развивать хозяйство крестьян, «учитывая их интересы, а также взаимодействие законов стоимости и социалистического накопления... в контексте мирового хозяйства». В. Данилов указал, где искать корень удивительной живучести

«антитроцкистского синдрома»: «Незнание открывает простор для разного рода химер»⁷.

Порой такие химеры культивируют самые знающие «троцковеды». Н. Васецкий в брошюре «О Троцком и троцкизме» (1989 г.) опирается на ленинскую оценку Троцкого, находившегося в США накануне февральских событий 1917 г. в России: «Так-то! Вот так Троцкий!! Всегда равен себе=виляет, жульничает, позирует как левый, помогает правым, пока можно...»⁸ В то же время В. Старцев, автор другой брошюры — «Л. Д. Троцкий (Страницы политической биографии)» — полагает, что эта оценка не столь уж объективна: «В статье «Перманентная революция и линия Ленина» (октябрь 1928 г.) Троцкий заявлял, что письма Ленина с замечаниями в его (Троцкого) адрес «основаны на неверной информации, полученной от Коллонтай». Просмотрев комплекты «Нового мира» за январь — февраль 1917 г., автор настоящей брошюры пришел к такому же выводу»⁹. Но ведь проверка этого вывода (да и других) поможет уточнить важнейшие наши идеологические документы... На самом высоком уровне, в юбилейном докладе 1987 г. «Октябрь и перестройка: революция продолжается» приводилась оценка Троцкого как «чрезмерно самоуверенного, всегда виляющего и жульничающего политика»¹⁰.

Никак не разберутся наши специалисты в самых фундаментальных определениях «троцковедения» («троцководения»?). Одни (В. Иванов, Л. Минаев) без зазрения совести оперируют словечком «Иудушка». Другие (В. Старцев, В. Данилов, А. Панцов, мы, грешные) как-то совестятся это делать, ведь набросок свой 1911 г. «О краске стыда у Иудушки Троцкого»¹¹ Ленин, что ведомо любому специалисту, вообще не стал публиковать. Раскопал его и опубликовал в «Правде» 21 января 1932 г. Иосиф Виссарионович. В памятный ленинский день не стоило бы выходить с такой публикацией, но Сталин спешил изготовить злое клеймо, которым будут вскоре помечены сотни и сотни тысяч большевиков-ленинцев. С той поры и гуляет «Иудушка» по страницам нашей прессы, учебных пособий, поминается в иных речах и лекциях. Раздаются порой на писательских пленумах и такие негодующие возгласы: почему до сих пор наряду со Сталиным не разоблачен и не осужден всенародно другой кровавый человек — Троцкий... Это огромная ошибка партии, которая каждодневно приносит стране моральный урон.

Поскольку «троцковедение» пока не перестало у нас быть «троцкоедением», крайне важна начавшаяся наконец-то публикация работ Троцкого: в «Огоньке» — воспоминания о Ленине, в «Родине» — статья «Национальное в Ленине», в «Вопросах истории» — «Сталинская школа фальсификаций», в «Молодом коммунисте» — «Новый курс»¹². Политиздат готовит к печати произведения Троцкого о русской революции*. Но и здесь мы отстаем от Запада. Вот каталог выходящего в ФРГ с 1988 г. Собрания сочинений Троцкого — оно составит (издатели пока точно не знают) 80 или 100 томов! Десятки работ Троцкого опубликованы в США, других странах. Иными словами, скажем, в ФРГ или США читатели куда полнее информированы об одном из основателей и защитников Советского государства, чем читатели в самом этом государстве.

Но главная проблема (и печальный факт) в том, что мало кто всерьез занимается у нас концепциями и троцкизма в сопоставлении их с реальностью. Наше «троцковедение» событийно, цитатно и усердно трудится в каком-то мелочно-идеологическом ключе, так и не покидая завалов «сталинской школы фальсификации», как ее назвал еще Троцкий. Молчит оно и по поводу главного теоретического вывода, который сделал на Западе знаток нашей внутрипартийной борьбы 20—50-х годов и деятельности органов ВЧК — ОГПУ — НКВД А. А. Авторханов в своем предисловии к книге «Лев Троцкий. Дневники и письма» (1986): «Троцкий — самая трагическая фигура в истории русской революции. Трагедия его не только в том, что он был свидетелем гибели идеалов революции, которую он возглавлял; свидетелем гибели друзей и единомышленников, вместе с которыми он завоевывал власть; свидетелем гибели собственных детей от рук чекистов; но и в том еще, что Троцкий до самых последних дней своей жизни так и не понял (выделено нами. — Авт.), что он, его дети и его единомышленники стали жертвами не «бюрократии», не «кремлевской камарилы» и даже не мстительного Сталина, как Троцкий думал, а жертвами той самой террористической диктатуры, которую Троцкий и Ленин создали в октябре 1917 г.»¹³⁻¹⁶.

* Пока рукопись готовилась в печать, в Политиздате уже вышли в свет следующие сборники произведений Л. Д. Троцкого: «К истории русской революции» (1990), «Литература и революция» (1991). *Ред.*

Даже поверхностное знание работ Троцкого, написанных за рубежом, говорит о том, что Троцкий пытался понять сущность феномена «сталинщины» (термин, введенный им в оборот с 1932 г.). Он не только писал о полном разрыве Сталина с ленинизмом, но и пришел к выводу: «Устранение Сталина лично означало бы сегодня не что иное, как замену его одним из кагановичей, которого советская печать в кратчайший срок превратила бы в гениальнейшего из гениальных». В 1936 г. в книге «Преданная революция» Троцкий заявил: СССР «нужна вторая революция», не простая замена «одной команды руководителей другой», а «изменение самих принципов управления экономикой и культурой».

Эти высказывания привел в нашей печати Н. Васецкий¹⁷, не ответив на законно возникающий вопрос: а постиг ли Троцкий сущность сталинщины и пути избавления от нее?

Попробуем в этой связи пристальнее взглянуть на построения Авторханова. В 1990 году он развил свои выводы 1986 г. в исследовании «Ленин в судьбах России» (опубликовано на русском языке в ФРГ). В нем утверждается: в отличие от Февральской 1917 г. революции и прочих «великих демократических революций против абсолютизма в Европе» Октябрьский переворот в России был искусственным, заговорщическим, антидемократическим, террористическим и, как таковой, «создал условия для последовавшей затем тоталитарной революции в структуре власти и общества»¹⁸.

Описывая реальные события Октября и жизни Советской России, Авторханов вообще не показал ни характер Октября, ни его реальную связь с событиями конца 20—30-х годов. Он благополучно ушел от анализа созданного февралем 1917 г. двоевластия в России, списав по рубрике «демагогия» отражавшие интересы народа, мирные поначалу большевистские лозунги и избавив себя от рассмотрения антинародной политики Временного правительства. Некорректно описана и позиция большевиков в кризисы июня, июля 1917 г. (об апрельском кризисе он молчит, как и о блоке против кадетов, предложенном Лениным меньшевикам и эсерам в начале сентября 1917 г.).

По сути, не проанализировал Авторханов и политику Советской власти в первые шесть — восемь месяцев ее существования, накануне вползания — против воли и желания большевиков! — в террор и гражданскую войну.

А ведь Ленин пытался тогда найти «комбинированные типы» в экономике страны: через оживление капиталистической промышленности, через концессии. Тогдашняя двухпартийная система была, по Авторханову, вообще обманной — Ленина-де обуревало желание «спровоцировать» и «убрать» (!) союзников большевиков — левых эсеров; ВЧК же вообще создавалась для последующих расправ, ибо в конце 1917 г. в Советской России не было, оказывается, ни контрреволюции, ни саботажа, о борьбе же с неистребимой спекуляцией нечего было и думать.

Одолев почти полтысячи страниц труда Авторханова, мы обнаружили всего лишь одну (!) туманнейшую фразу о механизме всех упоминаемых им ранее «демократических» революций: «Любая известная нам революция новой эпохи разворачивалась и набиралась собственной динамики под лозунгами свободы против тирании, начиная от английской революции XVII века, Французской революции XVIII века и кончая революциями XIX века в ряде европейских стран»¹⁹. Кто станет спорить — в «любых» революциях нового времени провозглашались лозунги свободы. Но вот куда и почему скрылись от проницательного взора историка тиранические диктатуры в той же Англии середины XVII в., той же Франции конца XVIII — начала XIX в., затем Франции 1851—1870 гг.? Они с какой-то пугающей закономерностью возникали в «любых» европейских революциях уже после того, как политиками в парламентах были произнесены бесчисленные свободолобивые речи, вооруженными толпами или революционными армиями пропеты многочисленные песни вроде «Марсельезы», «Карманьолы» или «Ça ira» («Дело пойдет»), призывавшие вешать на фонарях аристократов. После того как народы вроде бы искомую свободу обретали, уцелевшие аристократы разбегались по заграницам, а объявившие себя высшими носителями власти и свободы парламенты успевали отправить на эшафот королей-тиранов, таких, как Карл I или Людовик XVI с Марией Антуанеттой... Не будем ссылаться на сотни конечно же прочитанных Авторхановым в зарубежье пособий по истории «любых» европейских революций XVII—XIX вв. или социологии и анатомии революций. Воспроизведем всего-навсего скромный отечественный рассказ, содержащийся в книге «Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников».

Еще в 1871 г. томившийся в сибирском заточении мыслитель-революционер передал на волю своим сорат-

никам через В. Н. Шаганова следующее (увы! никем не услышанное) предупреждение насчет того, что с революциями, вопреки бодро звучащей в его же романе «Что делать?» французской песенке, «дело пойдет» и не легко, и не просто, и не весело. Европейские демократические партии XVIII—XIX вв. со времени Руссо привыкли идеализировать народ, что вело их от беспочвенных надежд к еще горшему разочарованию. Даже устанавливая в счастливых случаях свое «самодержавие», народ передавал его затем «первому пройдохе», будь то Наполеон I или Наполеон III (последний держался не только на штыках, но и на плебисцитах). При этом правящая партия, на стороне которой оказывалась военная сила, представив себя посредством ловкой передержки защитницей нужд народа, могла монополизировать в свою пользу верховные права народа, распоряжаясь им как мертвым, поступая с «имуществом народа по своему благоусмотрению». «По пути душится и слово и совесть,— передавал Шаганов мысли Чернышевского,— ибо из этих вещей выходят разные пакости для власти...»²⁰ Спросим Авторханова: не похожа ли чем-то сталинщина на европейские образцы, описанные российским мыслителем-революционером (мы говорим «чем-то», ибо аналогичные европейским феномены появились в России XX в. в иной исторической среде и дали новый результат)?

Не менее примечательно другое. В критической ситуации весны 1921 г., когда Советской власти, систематически применявшей в период «военного коммунизма» (1918—1920) в общем-то якобинские методы борьбы, стала угрожать крестьянская контрреволюция, Ленин начнет выявлять какие-то схожие процессы между революциями 1789—1794 гг. во Франции и 1917—1921 гг. в России. Обосновывая необходимость нэпа, Ленин запишет для себя: «Термидор»*? Трезво, *может быть,*

* Термидор — название контрреволюционного переворота, произошедшего во Франции 9 термидора II года по новому республиканскому календарю (27 июля 1794 г.). С термидора начался откат революции, возвращение ее в «нормальные» рамки беспрепятственного развития буржуазных отношений, до того сдерживаемого якобинцами. В свою очередь, термидорианцев устранил от власти брюмер — военный переворот 18 брюмера VIII года Республики (9 ноября 1799 г.), отдавший власть Бонапарту. Опорой дважды выраставшего в истории Франции из революций бонапартизма (империи Наполеона Бонапарта 1804—1814 гг. и Луи Наполеона 1851—1870 гг.) были военщина, бюрократия, полиция, культ императоров; они лавировали между недобитыми монархистами и остатками республиканцев, поддерживали в экономике буржуазию, особенно крупную.

да? Будет? Увидим»²¹. Несколько позже он обратится к В. Адоратскому с просьбой: «Не могли ли бы Вы помочь мне найти... ту статью (или место из брошюры? или письмо?) Энгельса, где он говорит... что есть, по-видимому, закон, требующий от революции продвинуться *дальше, чем она может осилить*, для закрепления менее значительных преобразований»²². Вспомнив о разработках Энгельса, Ленин запомнил (или не знал?), что закон своеобразной цикличности революций систематически разрабатывал Н. Г. Чернышевский в своих обзорах «Политика», «Примечания к политэкономии Милля», романах «Что делать?» и «Пролог»: смена «кратких периодов усиленной работы», благородного порыва временами реакции, периодами застоя; причем «новых» и «особенных людей», вроде героев романа «Что делать?», не раз и не два сгоняют со сцены — «ошиканных, страшимых». В свете той же цикличности рассматривал он и «начинающуюся борьбу за социализм»...

Нэп позволил большевикам во главе с Лениным осуществить тот стратегический поворот, который не осуществили в свое время якобинцы, возглавляемые Робеспьером, Сен-Жюстом, Кутоном. Об этом повороте Ленин в 1921 г. сказал французскому коммунисту Жаку Садулю: «Рабочие-якобинцы более проницательны, более тверды, чем буржуазные якобинцы, и имели мужество и мудрость сами себя термидоризировать»²³.

Но какой-то социологической модели движения революций Ленин своим наследникам не оставил, правда, предупредил их: «История вообще, история революций в частности, всегда богаче содержанием, разнообразнее, разностороннее, живее, «хитрее», чем воображают самые лучшие партии, самые сознательные авангарды наиболее передовых классов»²⁴.

Попытки дальнейшего сравнительного анализа Октябрьской революции с ее французским прототипом предпринимал и Троцкий: «Термидорианские процессы, происходящие в СССР», «coup d'état (переворот.— Авт.) с целью закрепления личной власти», «персональная подоплека борьбы», «техника бонапартизма», «ЦК упразднен», новый «Führer», «непорядок» сидит где-то глубоко внутри самой бюрократии» и т. д. А. А. Авторханов не обращает никакого внимания на эти дневниковые записи²⁵. Мы же займемся не только ими, но и другими работами Троцкого, чего А. А. Авторханов тем более не делает.

Не так давно Т. С. Кондратьева (Институт восточных языков и цивилизаций, Париж) отметила за «круглым столом» «XX век: альтернативы развития», что масштабы аналогий между Октябрьской и Великой французской революциями гораздо значительнее, чем мы себе представляем. Фактически до второй мировой войны пример Французской революции то мешал понять, то загонял в глубь сознания наиважнейшие проблемы. Даже советская концепция истории в значительной степени результат борьбы с «фантомом термидора»²⁶.

Между Великой Октябрьской и Великой французской революциями действительно существовали аналогии. Во всяком случае, по утверждениям Троцкого, еще до введения нэпа Ленин говорил об угрозе «русского термидора» с вождями большевизма, в том числе и с ним²⁷. Крестьянская контрреволюция и кронштадтская форма «термидора» весны 1921 г.—за Советы без коммунистов—показали, что тревога была не беспочвенна. Кронштадтцы, как говорил впоследствии Троцкий, «под лозунгом Советов и во имя Советов спускались к буржуазному режиму»²⁸. Впрочем, то же, как мы видели, записал «для себя» Ленин весной 1921 г.

Угрозу прямого повторения французского сценария отвел ленинский нэп. Российская революция отступила от своей «якобинской фазы», сохранив кормило власти в руках большевиков, превратив пролетарских якобинцев в невольных реформаторов. Но аналогии остаются, в партийных кулуарах обсуждается не столько ленинская «самотермидоризация», сколько куда более пугающее «перерождение».

Один из будущих руководителей сталинской «революции сверху», вернувшей страну на якобинские круги своя, И. Варейкис, послал в президиум X съезда партии, провозгласившего нэп, записку, содержащую как бы квинтэссенцию тогдашних и будущих партийных страхов: «Тов. Ленин.

Если сверху соглашение с капитализмом (торговые договоры, концессии и т. д.) и снизу развитие товарного хозяйства крестьянства, а стало быть, возрождение и рост капитализма, то не будет ли этот процесс неизбежного перерождения Советской власти, как «химический процесс», вытекающий из двух данных факторов. Не будет ли это рост и соответствующих форм государственных надстроек, базирующихся на базисе «верхнего и нижнего капитализма». И наконец, не прев-

ратится ли в абстракцию диктатура пролетариата, а на деле Коммунистическая партия окажется на службе у крестьянского капитализма?»²⁹

Дело не в «химии», важно другое: считается вполне вероятной возможность того, что из потакания собственникам, оживления частногохозяйственного капитала вырастет политический «термидор», что можно сползти на термидорианские позиции даже со знаменем коммунизма в руках³⁰. Но если сектантские, отколовшиеся от РКП(б) «ультралевые» группы склонны были считать «термидор» уже свершившимся, то большинство членов партии говорило только об угрозе «перерождения», не видя пока ни его реального механизма, ни персонального адреса.

Лишь в ходе партийной дискуссии 1923—1924 гг. абстрактное безликое «перерождение» обретает персональный адрес. Троцкий утверждал позднее: «Марксистская оппозиция еще в 1923 году констатировала наступление новой главы идейного и политического сползания, которое в перспективе (выделено нами.— Авт.) могло означать термидор. Тогда-то мы и произнесли впервые это слово»³¹. Обвинение было направлено персонально против Зиновьева и Сталина. Однако в официальные документы партийной дискуссии устрашающий термин — «термидор» — пока не попал (во всяком случае, мы его там не обнаружили).

Реальные перспективы развития страны получили во многом иллюзорно-идеологическое истолкование. Но к 1924 г. был, несомненно, нащупан главный узел проблемы. Меньшевик Ф. Дан в то время считал, что Троцкий «не мог не понимать, что единственная возможность спасения — в переходе от нэпа экономического к нэпу политическому, к ликвидации диктатуры. Но он не посмел не только сказать, но и додумать этой мысли до конца»³². Ф. Дан не знал, что на январском (1924 г.) Пленуме ЦК РКП(б) за Троцкого додумали оппоненты: они обвинили оппозицию в намерении провести в партии «не реформы, а Реформу, т. е. революцию. Но революция в партии неизбежно означает и революцию в стране»³³.

А поворот к демократии действительно назревал.

В своем кругу партийные вожди были тогда достаточно откровенны. Крестьянин начинает ощущать вкус власти, признал на том же Пленуме Л. Каменев, среди рабочих нежелательные разговоры. Но это лишь «первая волна, которая говорит с нами коммунистическим языком. Ну, а дальше как она будет говорить?»³⁴

Выход преемники Ленина в конце концов вроде бы нашли: дать поблажки, но властью не делиться. О завете Ленина — подумать всерьез о «пересоздании» всего аппарата, произвести «ряд перемен» в политическом строе³⁵ — благополучно забыли: ведь властвовали они сами. Аппарат, делая мизерные уступки крестьянам, брал на себя — от имени диктатуры пролетариата — функцию представления их интересов. Все решения принимались в закрытом от глаз общественности кругу партийного ареопага.

Отметим главное для того периода: момент возможного поворота к глубоким демократическим реформам был пропущен. Отказ от них фактически был на руку партийно-государственной бюрократии, якобы только и жившей заботами о построении социализма. А экономические уступки мелкой буржуазии без серьезной политической демократизации снова побуждали меньшевиков, а позднее и Троцкого, да и всех левых в Коммунистической партии к дальнейшим построениям термидорианских и буржуазно-бонапартистских аналогий. Уточним, кстати, что левые, как и Троцкий, не стремились к демократизации общества, ограничиваясь требованиями соблюдения и развития только демократии внутри партийной.

«Не поступаясь принципами» диктатуры пролетариата, давно сведенной к особой роли ЦК, а скорее Политбюро (минус «заблокированный» Троцкий), как реально властвующего учреждения, сторонники большинства в ЦК во главе со Сталиным и Бухариным обнаруживали пока, благодаря усилиям Бухарина, завидную гибкость в экономической политике. Они шли на серьезные уступки мелкому собственнику, прежде всего крестьянству. «Революционные романтики» из левой оппозиции, также не желая «поступаться принципами» и явно переоценивая реставрационные опасности нэпа, в свою очередь, отстаивали (хотя и в урезанном виде) далеко не господствовавшую в партии демократическую традицию. Понять их можно — они скользили вниз по пирамиде власти и вот-вот должны были оказаться придавленными всей ее тяжестью. В партии, разделенной нарастающей личной неприязнью Сталина и Троцкого, не было человека, способного решить проблему сочетания демократии в экономике и политике, продумать всерьез пути подведения масс к социализму.

«Мозаичное» состояние общества, начавшего движе-

ние к социализму, требовало от партии выработки новаторской политики. Это было бы под силу Ленину. Ведь и на подходе к Октябрю, и позже он шел на смелые компромиссы, вплоть до возможности «комбинированных типов» и власти, и экономики, вплоть до сочетания Советов с «Учредилкой», на пути к социализму: он искал и в конце концов нашел различные формы хозяйственного сотрудничества с классом буржуазии, тем более — с классом крестьян-собственников (весна 1918, весна 1921 гг.). Ленин сдерживал своим авторитетом и личные столкновения в ЦК. Но теперь Ленина уже не было. Поворот не состоялся, он был пропущен в оскорбительной внутрипартийной «цитатной» склоке. А вскоре будут поправлены, в сущности, интересы и пролетарских, и непролетарских социальных слоев советского общества, «законно» в нем существовавших, но не имевших фактического (а не формального) представительства в органах Советской власти.

Троцкий, да и вся левая оппозиция, видя дальнейшее обюрокращивание партаппарата, государственных, хозяйственных, профсоюзных органов, «уточнили» в свете своих наблюдений вроде бы ясную для них перспективу развития рыночных отношений, собственнических укладов, прочертив воображаемую общую линию развития в будущее. Им казалось, что, как и во времена Великой французской революции, «термидорианцы», «похоронщики революции» выйдут из рядов властвующей бюрократии и, сомкнувшись с растущими как грибы «новыми собственниками», поведут страну к капитализму, предавая интересы рабочего класса и заветы Октября. На деле же такие «термидорианские» аналогии и прогнозы с середины и особенно с конца 20-х годов начинают уходить все глубже в песок, отрываясь от реальных процессов жизни советского общества. Партийная и советская бюрократия 20-х годов никак не могла «обуржуазиться» в традиционном социально-экономическом смысле этого слова, хотя опасность личного перерождения, конечно, была (коррупции подвержена бюрократия везде и повсюду, а особенно в странах с авторитарным режимом). Но как социальный слой, советская бюрократия вращалась корнями в государственную собственность, с которой были связаны ее благополучие и интересы.

Нэп действительно шел к концу, но там, в конце нэпа, был не «возврат к капитализму» через «термидор», а сталинская «революция сверху» с последующей узурпа-

цией власти бюрократией и дальнейшим развитием материальных предпосылок социализма в тесных рамках социализма «государственного». Предельные границы такого состояния общества — по сути переходного — были одновременно и границами предельного огосударствления. Достигнув своего крайнего предела, это состояние неизбежно должно было вылиться во всеобъемлющий кризис. Из него мы и пытаемся выкарабкаться сегодня.

Летом 1927 г. слово «термидор» не только мелькает в черновиках различных оппозиционных документов, но и выходит из кулуарного подполья — после появления сапроновско-смирновской «Платформы 15-ти». Самое удивительное, что в достаточно сдержанном тексте децистской «платформы», полученном ЦК, ни одного слова о «термидоре» и бонапартизме вообще не было. Однако группа Сталина — Бухарина извлекает «термидор» на свет божий. Может быть, для того, чтобы усилить обвинения против левых, окончательно оттолкнуть от них партийные массы. «Термидор» разбирается в направленной против «платформы» статье Слепкова³⁶.

Поскольку слово «термидор» выходило из подполья, Троцкий в июле же 1927 г. пытался более четко обозначить его размытые и неопределенные, слишком «обиходные» и политически неясные характеристики. Он назвал «термидор» «особой формой контрреволюции, совершаемой в рассрочку и использующей для первого этапа элементы той же правящей группы — путем их перегруппировки и противопоставления»³⁷. Ясности от этого не прибавилось, но буржуазная направленность такой «контрреволюции» никаких сомнений у Троцкого не вызывала.

Между тем в стране с 1928 г. разворачиваются процессы, весьма далекие от буржуазно-термидорианских. «Обуржуазивание», как его понимал Троцкий, остановлено. Историческую сцену сотрясает начавшаяся с 1928—1929 гг. сталинская «революция сверху». Приняв облик антитермидорианской чистки, она похожа скорее на второе издание радикальнейшей пролетарско-якобинской революции. Разочарование результатами нэпа в условиях острого социального кризиса реанимировало у значительной части населения, городских и деревенских «низов» мощные эгалитаристские устремления. Накануне Октября такие обделенные «низы» были подавляющим большинством в стране, доведенной войной до крайней степени обнищания. Но в 1928—1929 гг. они уже

не составляли большинства, хотя и были достаточно многочисленны. Особые исторические обстоятельства толкали их на блок с государственной бюрократией.

Поворот 1929 г. фактически был второй после Октября волной пролетарско-якобинского «поравнения» собственности. В этом процессе причудливо соединились эгалитарно-уравнительные устремления «низов» и устремления бюрократической верхушки аппарата к тотальному огосударствлению, то есть к реализации своего естественного социального интереса. Эта вторая якобинская волна ударила по обществу (здесь Троцкий был прав) уже на нисходящей в ряде отношений фазе революции. Она имела мало общего с первой волной, очистившей страну руками вышедших на арену политики масс от остатков феодализма. Второй удар обрушился на мелких собственников, выращенных уже в недрах пореволюционного общества, а главное, завершил процесс политически реакционный — отчуждение масс от власти и политики. При этом «низы» в слепом ожесточении против «новых собственников» вдохновлялись идеями «поравнения» как средства достижения «рая земного» в ближайшей исторической перспективе. Близкий рай оказался утопией. Партийную и советскую бюрократию воодушевляли свои утопии и самообманы: уничтожить конкурента-собственника и пожать плоды сверхцентрализации — на эти цели, считал впоследствии Троцкий, ориентировалась немалая часть «аппарата».

Но и на «аппарат» в конце концов обрушился мощный удар. Вторая якобинская волна как бы ввергла страну — которая так и не смогла обрести черты «гражданского общества», сдерживающего благодаря «некоторому, хотя бы незначительному простору классовой борьбы» паразитические поползновения вездесущего государства, — в состояние «социальной протоплазмы», не позволяя ни обществу, ни общественному мнению «создать свои собственные, не зависимые от правительственной власти органы»³⁸. «Революция сверху», превратив — путем насилия — классы неповского периода в «массу», тут же набросила на них административную удавку, сделала из них работников на службе у государства (о рабах-зеках мы уже не говорим), политически «атомизированных граждан», которые различались между собой (порой весьма резко) не столько своим отношением к средствам производства, сколько доступам к предметам потребления. Никто, не исключая, пожалуй, самого Ста-

лина, не получил от «революции сверху» того, чего ожидал.

Правда, резко форсировалось решение общенациональной задачи — индустриализации страны, создания крупнейшего военно-промышленного потенциала. В сущности, только эта задача, именуемая на языке казенной идеологии «построением фундамента социализма» или «социализма в одной стране», с грехом пополам выполнялась, что было бы немыслимо без (резко деформированного вмешательством тоталитарного государства) подъема образовательного уровня населения, подъема производительных сил в республиках и развития науки (впрочем, весьма урезанного и однобокого). Что касается подъема материального благосостояния народа, достижения «социальной однородности» общества или выхода на уровень развития наиболее передовых капиталистических стран, то все провозглашенное так и не стало явью.

Цели, реализованные за счет громадных жертв народа, а то и просто кровавых массовых репрессий, выселений, «раскрестьянивания», подточили энтузиазм одних, вызвали чувство нарушения справедливости, вернее, ее попрания у других, разожгли неудовлетворенные аппетиты у третьих. В 1932—1934 гг. нарастает социальная напряженность — между властью и экспропрированными мелкими собственниками, между аппаратом и массами, между вождем и подвластной ему бюрократией и партийной элитой, между «спецами» и рабочими, между центром и местами. В этой ситуации Сталин не просто примеряет на себя мундир советского Бонапарта — он и его аппарат переходят к политике сознательного обмана народа, а также гигантских политических провокаций. «Сталинский бонапартизм» будет держаться — в отличие от бонапартизма классического — не на противоречиях между буржуазией и пролетариатом, а на противоречиях прежде всего между аппаратом и массой, списывая все трудности на счет обострения в ходе построения социализма классовой борьбы, происков недобитых эксплуататорских классов, но в первую очередь — «террористических вредительских действий» Троцкого и его агенты, «продающих» Родину своим фашистским и иным зарубежным хозяевам.

Главным орудием устранения «врагов народа» становится аппарат ОГПУ — НКВД. Стараниями Сталина — Ягоды, затем Сталина — Ежова, затем Сталина — Бе-

рии и их подручных он обнаруживает почти во всех партийных, государственных, хозяйственных органах гигантские скопления «вредителей», «немецко-японских агентов», но прежде всего троцкистов — «белогвардейских козавок», «лакеев фашизма», «подонков человеческого рода» (определения сталинского «Краткого курса»). В фабрикуемые списки «врагов народа» записывают не только остатки «левых», но и всех «правых» (сравни, например, «право-троцкистский, то есть право-левый (!), блок), а затем громаднейшую часть ленинской гвардии, да и массу выдвиженцев. Начатая после убийства С. М. Кирова провокация удастся блестяще, в нее втягиваются самые широкие массы, помогая своим энтузиазмом и содействием раскручивать маховик предусмотрительно созданной еще до этого убийства машины террора.

Проявляет Сталин и определенную социальную гибкость, чего не может понять Троцкий. В 1935 г. он фиксирует не только факт создания террористического режима в стране, но и поворот Сталина «вправо, еще вправо и еще правее». Начало поворота он отнесет даже к 1933 г. Формы выражения? «Неонэп» с рынком (явное преувеличение.— *Авт.*), отмена карточек, материальное стимулирование рабочего, возвращение коровы крестьянскому семейству и т. д.³⁹ Определение «термидор» снова мелькает в статьях Троцкого. Но этого понятия ему уже недостаточно ни для характеристики этапа, который проходит страна, ни для описания той, как он выражается, «катастрофы», которую подготавливает «сталинская верхушка». И вот Троцкий объявляет «радикальный пересмотр исторической аналогии». В чем его суть? В противовес разного рода клеветническим и апологетическим домыслам об СССР Троцкий обещает в рукописи 1936 г. «Что такое СССР и куда он идет?» (она легла в основу изданной на иностранных языках его книги «Преданная революция») дать читателю «научную оценку того, что происходит в стране Октябрьской революции», поднимающейся от «ужасающе низкого уровня», раскрыть то, «что становится», показать «лица, а не маску»⁴⁰. Попытаемся выделить в большой работе основное.

Раньше за «термидором» стоял у Троцкого возврат к капитализму. Теперь, рассмотрев все «зигзаги правительственного курса», он вносит в прежнюю концепцию радикальное «новшество»: «Дело идет не об отказе от социализма, а лишь о ликвидации грубых иллюзий» — вроде «окончательной и бесповоротной победы социализ-

ма»⁴¹. Закон извечного отката революций назад продолжает действовать в СССР, но своеобразно: «Советский «термидор» мы определили как победу бюрократии над массами»⁴².

Московской прессе и прессе Коминтерна Троцкий задает вопрос: коль скоро с эксплуатацией покончено навсегда, а СССР переходит от низшей стадии — социализма — к коммунизму, то почему не сбрасывается «смирительная рубашка государства»? Почему любой человек, критикующий «бессменное руководство», усомнившийся в непогрешимости Сталина, осуждается почти наравне с участниками террористических заговоров? «Откуда, — вопрошает Троцкий, — такое странное, чудовищное, невыносимое напряжение репрессий и полицейской аппаратуры?»⁴³ Справедливо противопоставив «фашистский этатизм» и советское огосударствление (при первом сохранен капитализм), Троцкий в то же время не понимает того, что из «недоразвитости» производительных сил в СССР, необходимости их подтягивания к уровню передовых стран объективно и вырастает сверхцентрализация. Он обнаруживает в СССР некую вытекающую из бедности «борьбу всех против всех», в то время как к 1936 г. положение советских граждан несколько улучшилось. Из «полицейской монолитности партии» он выводит и «бюрократическую безнаказанность», и «все виды распушенности и разложения», — но до этого брежневского феномена еще надо было дожить!

Кстати, куда интереснее для понимания проблемы соотношения революции, социализма и морали были разбросанные в дневниках и письмах Троцкого, правда неразвернутые, констатации о самом Сталине и его ближайшем окружении, методах их действий: «амальгама из подонков и отребьев», сталинские процессы «амальгамы», «фабрика фальсификаций» и т. п.⁴⁴ Троцкий, в общем-то, утыкается в отмеченный еще Марксом и Энгельсом в «Коммунистическом манифесте» факт вовлечения в пролетарское движение «люмпен-пролетариата, этого пассивного продукта гниения самых низших слоев общества»⁴⁵ (его гигантскую массу выбросила на арену политики мировая, затем гражданская война в России). В этом же плане интересны воспроизведенные в мемуарах Троцкого предупреждения, сделанные ему в середине 20-х годов Каменевым и Зиновьевым: «Сталин ведет войну в другой плоскости, чем Вы. Ваше оружие (идейная борьба. — Авт.) против него недействительно»⁴⁶.

В работе Маркса «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» как раз и содержалось раскрытие тайны побед этого «царственного люмпен-пролетария» в схватках послереволюционных времен — он имел перед своими соперниками то преимущество, что мог «вести борьбу низкими средствами». В работе Маркса и Энгельса «Великие мужи эмиграции» были схвачены и такие черты предводителей люмпен-пролетариев, наводнивших Англию 1850—1852 гг., как склонность «водить за нос» эмигрантов, навязчивые идеи о своей миссии освободителей мира, приверженность к «казарменному коммунизму», интригам, вероломству, расправам и т. п. А в письме Энгельса Марксу от 4 сентября 1870 г. выявлены не только бесполезные жестокости якобинской Франции 1793—1794 гг., но и целая «шайка прохвостов, обделывавших свои делишки при терроре»⁴⁷.

Вообще изъянов в анализе Троцкого феномена «СССР в 1936 году» предостаточно. Вступление СССР в Лигу Наций, да и всю борьбу за разоружение он объявляет... предательством мировой революции. Преувеличивает Троцкий степень «расслоения пролетариата» в СССР, хотя и верно отмечает, что при всех успехах национальной политики автономии входят в «известный конфликт» с центром. В то же время он совершенно не понял борьбу «между государством и крестьянством». Вроде бы даже осуждает «дарование» крестьянам приусадебного участка. Бессмысленно определение: «семейный термидор» (!), который он выводит из тяжелого положения женщин. Троцкий недооценивает активнейшую роль иллюзорного массового сознания, энтузиазма, который пока еще сдерживает и «антиобщественный эгоизм», и «разнузданное сверху карьеристское интриганство» и оживляет культуру. В литературе тех лет он не видит почти ничего, кроме бездарей.

А вот в решении вопроса: «куда идет СССР?» — Троцкий, как это ни парадоксально, гораздо более проницателен: «Социальный смысл советского «термидора» начинает вырисовываться перед нами. Бедность и культурная отсталость масс еще раз воплотились в зловещей фигуре повелителя с большой палкой в руках. Разжалованная и поруганная бюрократия снова стала из слуги общества господином его. На этом пути она достигла такой социальной и моральной отчужденности от народных масс, что не может уже допустить никакого контроля ни над своими действиями, ни над своими доходами»⁴⁸.

Троцкий пересматривает свои бонапартистские аналогии: «Под бонапартизмом мы понимаем такой режим, когда экономически господствующий класс, способный к демократическим методам правления», вынужден «терпеть над собой бесконтрольное командование военно-полицейского аппарата, увенчанного «спасителем». Объективная функция «спасителя», считает Троцкий, «охранять новые формы собственности, узурпируя политическую функцию господствующего класса. Разве эта точная характеристика сталинского режима не есть в то же время научно-социологическое определение бонапартизма?»⁴⁹

В целом концепция, к которой приближается Троцкий во второй половине 30-х годов, настолько устойчива, что из-под нее можно вообще вынимать подпорки исторических аналогий. Троцкий и сам уточнял: под бонапартизмом «мы имеем в виду не историческую аналогию, а социологическое определение»⁵⁰. Не отбрасывая излюбленных определений, отражавших развитие Франции в буржуазном направлении после «термидора», Троцкий, в сущности, отрицает теперь такую направленность для СССР: «Вопрос о характере СССР еще не решен историей». За разделом под таким заглавием следует раздел «Неизбежность новой революции».

Конечно же Троцкий никак не мог в деталях предвосхитить содержание «неизбежно» грядущей в СССР «новой революции». Думаем, он к тому же неправомерно исключает возможность мирных цивилизованных путей грядущего переворота: «Мирного выхода из кризиса нет. Ни один дьявол не обстригал добровольно своих когтей. Советская бюрократия не сдаст без боя свои позиции»⁵¹. Но в том, что Троцкий в общих чертах предугадал весьма далекую перспективу развития родины Октября, никаких сомнений у нас нет. Полагаем, что не будет их и у читателя, когда он ознакомится с таким вот текстом: «Дело идет не о том, чтобы заменить одну правящую клику другой, а о том, чтобы изменить сами методы управления хозяйством и руководства культурой. Бюрократическое самовластье должно уступить место советской демократии. Восстановление права критики и действительной свободы выборов есть необходимое условие дальнейшего развития страны. Это предполагает восстановление свободы советских партий, начиная с партии большевиков, и возрождение профессиональных союзов. Перенесение на хозяйство демократии означает

радикальный пересмотр планов в интересах трудящихся. Свободное обсуждение хозяйственных проблем снизит накладные расходы бюрократических ошибок и зигзагов. Дорогие игрушки — Дворцы Советов, показательные метрополитены — потеснятся в пользу рабочих жилищ. «Буржуазные нормы распределения» будут введены в пределы строгой необходимости, чтоб, по мере роста общественного богатства, уступать место социалистическому равенству. Чины будут немедленно отменены, побрякушки орденов поступят в тигель. Молодежь получит возможность свободно дышать, критиковать, ошибаться и мужать»⁵².

Правда, призывая вернуться к «традициям революционного интернационализма», Троцкий все еще думает, по видимому, о своей «всеспасаящей» мировой революции. Но в целом в его программе преобразований в СССР нет ничего от того «милитаристского социализма» или «тоталитаризма», который до сих пор с лупой в руках изучают наши «троцкоеды», никак не отрываясь от речей Троцкого на IX съезде РКП(б) или надерганных цитат из его работ периода «военного коммунизма». И естественно, все они «забывают» сказать о том, что, публикуя в середине 20-х годов все эти работы, Троцкий назвал ту эпоху хотя и исторически неизбежной, но безвозвратно оставленной позади. А наиболее квалифицированные из них могут и на основании всего одной (!) выдернутой из наследия Троцкого цитаты 1923 г. образно-поэтически поименовать его «параноиком тоталитаризма». При этом, решая проблему «тоталитарное и человеческое», поэты-политологи не удосуживаются ознакомиться с трудами Троцкого 30-х годов. Впрочем, какой толк вышел бы из этого ознакомления, коль скоро, закопавшись в ворох самых разнообразных цитат 20-х годов, не ведают они того, что об эпохе переворота нельзя судить по ее сознанию (Маркс)⁵³. И никогда не поймут они смысл трагически-самокритичных слов Троцкого: «Я бьюсь в петле противоречий, целиком отвергая Сталина, но не знаю, как «не задеть» народ, «социализм»⁵⁴.

Из истории с превращениями «термидора» мы бы сделали вывод: в развитии человечества не проигрываются вторично уже сыгранные роли, не возрождаются прежние образцы. Но метания Троцкого подтверждают, что он нащупывал в этом развитии закономерные, воспроизводящиеся, повторяющиеся процессы. Лишь к концу жизни он вроде бы стал осознавать: в истории вос-

производятся те же, да не те процессы, ибо в качественно изменившихся ситуациях они дают качественно иной результат. Поэтому возьмем определение Троцкого — «советский термидор» — в кавычки как недостаточно точное.

Что же касается нашего времени, то мы сказали бы о нем так: в СССР разворачивается второй цикл «самотермидоризации», начатой в марте 1921 г. РКП(б) под руководством В. И. Ленина и надолго прерванной затем Сталиным с его «революцией сверху», да и Брежневым с его «ленинским курсом». Возобновились дела Ленина с апреля 1985 г., когда стоящая у власти КПСС под руководством М. С. Горбачева снова взялась, теперь уже на качественно новой основе, пересоздавать сложившуюся отчасти по необходимости, отчасти по неразумию или даже злему умыслу «ультралякобинскую» систему, чтобы, лишив наш строй всех черт «чрезвычайщины», придать ему черты демократизма и гуманизма. Но при этом не следовало бы забывать гениальную, никем не замеченную и достаточно тревожную формулировку Маркса, «снятую» с процессов, разваливших Международное Товарищество Рабочих в конце 60 — начале 70-х годов XIX в.: «Впрочем, в истории Интернационала повторилось то же самое, что всегда обнаруживается в истории. Устаревшее стремится восстановиться и упрочиться в рамках вновь возникших форм»⁵⁵. И могли бы мы теперь ясно сказать о том, что было неведомо людям сталинских времен: сколько «циклов» мы переживем — не знаем, но знаем, что новые формации создаются отнюдь не за пару «пятилеток», а десятилетиями, может быть, веками, тем более социалистическая формация, ведущая свой отсчет в СССР или КНР с крайне низкого уровня.

Знакомясь с дневниками и письмами Льва Троцкого, можно, вероятно, заметить, как тепло он пишет о своей жене — Наталье Ивановне Седовой. Она помогала ему переносить скитания, удары судьбы, уносившей его детей, ее детей. Мы не знаем, как хоронила она мужа. Но мы знаем, что она стала бороться за его честь.

После XX съезда КПСС Наталья Седова обратилась к тогдашнему руководству партии. Она не просила скрывать расхождения Троцкого с Лениным. Единственное, о чем она просила: сказать всему миру, что ее муж ни «иностранным шпионом», ни «наймитом фашизма»,

ни «убийцей Кирова, Горького, Менжинского» не был. Умерла Наталья Седова в 1962 г., не дождавшись ответа. Так, может быть, ныне, когда юридически реабилитированы все «подручные» главаря «троцкистской банды», партия скажет, что и самого «главаря»-то не было: ну какой же главарь без банды?

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Иванов В.* Перекрашивают Иудушку // Советская Россия. 1987. 27 сент.

² *Биллик В.* Троцкий. На пути к правде о нем // Собеседник. 1989. № 33. С. 13.

³ *Кораблев Ю.* Почему Троцкий? // Политическое образование. 1989. № 2. С. 57.

⁴ Там же. С. 59.

⁵ *Минаев Л. М.* Борьба за лидерство и деформация облика ленинизма // Вопросы истории КПСС. 1989. № 12. С. 107—108.

⁶ См.: *Василий Белов:* «Возродить в крестьянстве крестьянское...» // Правда. 1988. 15 апр.

⁷ *Данилов В. П.* Мы начинаем познавать Троцкого; *Панцов А. В.* Троцкий и Преображенский // ЭКО. 1990. № 1. С. 50—51, 49.

⁸ *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 49. С. 390.

⁹ *Старцев В. Л. Д.* Троцкий: Страницы политической биографии. М., 1989. С. 6.

¹⁰ См.: *Горбачев М. С.* Избранные речи и статьи. М., 1988. Т. 5. С. 397.

¹¹ *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 20. С. 96.

¹² См.: *Троцкий Л. Д.* Из воспоминаний // Огонек. 1989. № 17; *Он же.* Национальное в Ленине // Родина. 1989. № 7; *Он же.* Сталинская школа фальсификаций // Вопросы истории. 1989. № 7—10, 12; 1990. № 1; *Он же.* Новый курс // Молодой коммунист. 1989. № 8.

^{13.16} *Авторханов А.* Предисловие к кн.: Лев Троцкий. Дневники и письма. Эрмитаж, 1986. С. 6—7.

¹⁷ См.: *Васецкий Н. А.* О Троцком и троцкизме. М., 1989. С. 81, 80.

¹⁸ *Авторханов А.* Ленин в судьбах России. Prometheus — Verlag, 1990. С. 362, 240.

¹⁹ Там же. С. 242.

²⁰ См.: *Н. Г. Чернышевский* в воспоминаниях современников. Саратов, 1959. Т. 2. С. 135.

²¹ *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 43. С. 403.

²² Там же. Т. 53. С. 206.

²³ Цит. по: Иностранная литература. 1966. № 4. С. 236.

²⁴ *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 41. С. 80.

²⁵ *Троцкий Л.* Дневники и письма. С. 88—89, 41.

²⁶ XX век: альтернативы развития (Материалы «Круглого стола») // Рабочий класс и современный мир. 1989. № 2. С. 88—89.

²⁷ См.: *Троцкий Л.* Термидор // Коммунистическая оппозиция в СССР. 1923—1927. Из архива Льва Троцкого: В 4 т. Составитель — Ю. Фельштинский. Chalidze Publications. 1988. Т. 4. С. 14.

²⁸ Там же. С. 15.

²⁹ ЦПА ИМЛ. Ф. 5. Оп. 2. Д. 12. Л. 95.

³⁰ См.: Коммунистическая оппозиция в СССР. Т. 4. С. 46.

³¹ Троцкий Л. Защита Советской республики и оппозиция // Бюллетень оппозиции. 1929. № 5. С. 8.

³² Дан Ф. Конец Троцкого // Социалистический вестник. 1924. № 22—23. С. 9.

³³ ЦПА ИМЛ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 108. Л. 11 об.

³⁴ Там же. Л. 12 об.

³⁵ См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 347.

³⁶ Правда. 1927. 12 июля.

³⁷ Коммунистическая оппозиция в СССР... Т. 4. С. 18.

³⁸ См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 8. С. 157—158, 182. Противопоставление Марксом выраставших из революций бонапартистских форм формам «гражданского общества», к сожалению, осталось за рамками нашей исторической науки.

³⁹ Троцкий Л. Рабочее государство, термидор и бонапартизм // Бюллетень оппозиции. 1935. № 43. С. 1—3.

⁴⁰ Троцкий Л. Что такое СССР и куда он идет? Париж: «Слово». С. 29—32.

⁴¹ Там же. С. 100.

⁴² Там же. С. 120.

⁴³ Там же. С. 122—123.

⁴⁴ Троцкий Л. Дневники и письма. С. 89, 93, 138, 161—162.

⁴⁵ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 4. С. 434.

⁴⁶ Троцкий Л. Дневники и письма. С. 72.

⁴⁷ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 8. С. 176, 336—341; Т. 33. С. 45.

⁴⁸ Троцкий Л. Что такое СССР... С. 127.

⁴⁹ Бюллетень оппозиции. 1935. № 43. С. 14—15.

⁵⁰ Там же. С. 15.

⁵¹ Троцкий Л. Что такое СССР... С. 290.

⁵² Там же.

⁵³ См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 13. С. 7.

⁵⁴ Цит. по: Суровая драма народа: Ученые и публицисты о природе сталинизма. М., 1989. С. 277.

⁵⁵ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 33. С. 279.

ПРОЩАЙ, ПОЛИТИКА?

(ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ)

Недавно мы узнали, что свыше сорока процентов русской лексики носит оценочный характер. В любом другом языке не больше пятнадцати. Г. Кульчинский, у которого мы почерпнули эти поразившие нас сведения, вообще считает, что русский язык ориентирован на поиски и выражения правды, но не истины, на идеал и соответствие идеалу, но не реальности¹.

Вот и попробуй, оставаясь русским, нести и без того тяжелое бремя профессионального историка. Попробуй остаться беспристрастным и объективным. Оказывается, не только накаленная политическая атмосфера последних лет, но и сам наш язык всячески противится академическим устремлениям историка: остаться наедине с книгами и документами, не обращая внимания на кипящие за порогами библиотек и архивов страсти.

Оставим, однако, несбыточные надежды на башню из слоновой кости. Примем как данность постоянный психологический дискомфорт, который испытывает историк, попадая в мир большой политики (а другой политики в моменты социальных бурь и катаклизмов, как известно, не бывает). Научимся со смирением относиться к тому политическому пространству, в котором, как за красными флажками, мечется современная историческая наука. Но все же признаем: тот факт, что перестройка в историографии, по единодушному мнению экспертов, шла очень медленно², сегодня вызывает у нас противоречивые чувства. Не скрывалось ли за отставанием от политического процесса не просто нежелание менять и меняться, хотя и этого было больше чем отбавляй, но и инстинкт профессионального самосохранения?

Может быть, не так уж и плохо, что, как бы дальше ни развивался политический процесс, как бы ни множились ряды историков и публицистов, готовых его обслуживать, историческая наука, сначала отстававшая от политики, теперь обнаруживает тенденцию перебраться со страниц массовых популярных изданий в солидные про-

фессиональные журналы и толстые академические монографии. В ближайшие годы науку будут делать здесь. Понадобится очень много времени, чтобы переварить все то, что мы наговорили и накричали, отыскиали в архивах и слышали на митингах, прочитали в освобожденных из спецхранов книгах и узнали от своих зарубежных коллег.

История начинает работать не на ускорение политического процесса (хотя и говорим все время, что этот процесс идет медленно, но, положив руку на сердце, куда уж быстрее!), а на стабилизацию, на умиротворение, на согласие. Профессиональная история больше не может принимать оценки и знаки качества от политиков. Это, быть может, скоро станет худшей похвалой для историка. Ведь какой бы ни был в России политический режим, он, при любой мере допускаемого свободомыслия и плюрализма, неизбежно обнаружит тенденцию к созданию своей собственной исторической мифологии.

По справедливому мнению японского советолога Т. Ито, основанному, как кажется, и на личном опыте, для многих политических элит характерна уверенность в том, что контролирующий прошлое контролирует настоящее и тот, кто имеет власть над временем, имеет власть над людьми³. Только профессиональная автономия историка способна противостоять этому малосимпатичному стремлению практически любой политической элиты к созданию выгодных ей исторических мифов.

Поскольку, как известно, нет пророков в своем Отечестве, закончим нашу книгу ссылкой на более объективных и беспристрастных зарубежных ученых. Они-то что думают о наших возможностях и перспективах?

Уже упоминавшийся в этой книге Ф.-Х. Кокэн призывает историков освободиться от любых форм самоцензуры (от себя добавим, что, по нашим наблюдениям, эта самоцензура может быть как «правого», так и «левого» толка), отстоять свою собственную территорию и отделить себя (историка) от политика, идеолога или моралиста⁴. Профессиональная история должна стать «свободной профессией» в подлинном смысле этого слова. Это будет способствовать излечению и освобождению общества и, по мнению Ф.-Х. Кокэна, станет лучшим противоядием от любого повторения прошлого. Только не догматическая история, одинаково далекая как от хулы, так и восхвалений, может воспитать активных, информированных, взрослых граждан, способных разбираться

в своих собственных делах и противостоять «длиннорукости» бюрократии⁵. (От себя опять же заметим: не только старой, но и теперешней, а также будущей бюрократии.)

Поблагодарим французского историка за его разумные пожелания и предостережения. Его бы устами да мед пить!

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Кульчинский Г. Безъязыкая гласность // Век XX и мир. 1990. № 9. С. 45.

² См.: Дэвис Р. У. Советская историческая наука в начальный период перестройки // Вестник Академии наук. 1990. № 10.

³ Ito Takayuki. Preface // Facing Up to the Past. Soviet Historiography under Perestroika. P. 5.

⁴ Coquin François-X. Comments on the Current 'Ferment' and Revision of History in the Soviet Union: Stakes, Limits, Outlook // Ibid. P. 29.

⁵ Ibid. P. 30.

Авторханов А. А. 40, 240, 325—329

Адоратский В. В. 329

Александр III Романов 244

Александр Македонский 270

Александра Федоровна 279

Андреева Н. А. 138

Антипов Н. К. 109

Антонов-Овсеенко А. В. 140

Афанасьев Ю. Н. 9, 10, 14—15, 32—33, 313

Багиров М. А. 317

Бажанов Б. Г. 140

Бакулин В. И. 126, 133

Барг М. А. 10

Бек А. А. 7, 25—26

Белик 183

Белади Л. 141

Белов В. И. 323

Бенвенути (Benvenuti) Ф. 104

Берия Л. П. 336—337

Берк (Burke) Э. 42

Берхин И. Б. 19

Бестужев-Лада И. В. 141

Биллик В. 322

Бирнс (Burgnes) Р. Ф. 42

Блок М. 124

Бокарев В. П. 132

Бонапарт см. Наполеон I

Бонч-Бруевич В. Д. 256

Бор (Bohr) Н. Х. Д. 32, 33

Борисов Ю. С. 7

Брежнев Л. И. 140, 166, 233, 277, 342

Брусилов А. А. 272

Буденный С. М. 109

Бурбыгин В. 311

Буртин Ю. Г. 238

Бутенко А. П. 321

Бухарин Н. И. 51—55, 57, 58, 60, 63—64, 66, 68—72, 74, 76—77, 81, 82—84, 87—111, 113—121, 124, 128—129, 131,

133, 135, 137, 146—147, 152—153, 155, 160—162, 170, 172, 193, 196, 199, 202, 208, 210, 213, 215, 216, 244, 247, 248, 262, 319, 321, 332, 334

Вада (Wada) Х. 129, 140

Вакунов С. И. 136

Валентинов Н. (Вольский Н. В.) 129

Вардин (Мгеладзе) И. В. 264

Варейкис И. М. 109, 330

Васецкий Н. А. 324, 326

Верховский А. И. 280

Вильямс (Williams) А. Р. 253

Вознесенский Н. А. 74

Волкогонов Д. А. 138, 141, 320

Волобуев П. В. 9, 321

Володарский В. (Гольдштейн М. М.) 246, 300

Володин А. И. 9

Ворошилов К. Е. 104, 109

Воскресенский Л. Н. 18—19, 20, 22

Восленский М. С. 140

Врангель П. Н. 251

Врачев И. Я. 7

Высоцкий В. С. 3

Гайдар (Голиков) А. П. 20

Гегель (Hegel) Г. В. Ф. 32—33, 125, 235

Гейне (Heine) Г. 114—115

Геллер М. С. 40, 240

Герцен А. И. 304

Гершенкрон (Gerschenkron) А. 43

Гете (Goethe) И.-В. 11, 114—115

Гефтер М. В. 10, 45, 122, 129

Гимпельсон Е. Г. 19

Гойхбарг А. Г. 244

Голанд Ю. М. 123, 125—127, 129—135

Горбачев М. С. 42, 138, 236,
308, 342
Гордон Л. А. 122, 141
Горелов И. Е. 52
Горинов М. М. 135
Горький М. (Пешков А. М.)
253, 322, 343
Гребенник Г. П. 124, 125, 133,
134
Григорьев Ю. И. 311
Гуковский И. Э. 299
Гулыга А. В. 233
Гус Ян 289
Гусев С. И. (Драбкин Я. Д.)
210

Давыдов А. Н. 14—16
Дан (Гурвич) Ф. И. 331
Данилов В. П. 9, 10, 74, 128,
140, 232, 323, 324
Данилов С. С. 203
Данте Алигьери (Dante Alig-
hieri) 124
Деникин А. И. 251, 273
Денисов А. А. 239
Дзержинский Ф. Э. 250—251,
301, 306
Дмитренко В. П. 8
Дойчер (Deutscher) И. 140, 141
Дыбенко П. Е. 257
Дьюи (Dewey) Дж. 206
Дэй (Day) Р. 209
Дэниелс (Daniels) Р. 38, 39, 42,
44, 46

Егоров И. И. 293
Ежов Н. И. 107, 108, 186, 336
Ефанов О. А. 313

Жданов А. А. 167
Журавлев В. В. 52

Завенягин А. П. 185
Залысин И. Ю. 313, 314
Зиновьев (Радомысльский)
Г. Е. 51, 58—60, 87—88, 171,
185, 199, 204, 206, 210, 246,
284, 319, 331, 338

Иванов В. М. 322, 324
Игнатьев В. И. 272
Ильенков Э. В. 17, 46
Ито (Ito) Т. 346

Каганович Л. М. 93, 101, 131,
161, 163, 181

Калинин М. И. 91, 101
Каменев (Розенфельд) Л. Б.
51, 58, 59, 88, 90, 96, 210, 247,
319, 331, 338
Каменев С. С. 244
Каминский Г. Н. 78, 155
Карл I 327
Карякин Ю. Ф. 8
Каутский (Kautsky) К. 57
Керенский А. Ф. 257, 316
Киров (Костриков) С. М. 106,
120, 166, 183, 186, 317, 337,
343
Клименко С. 179—180
Клопов Э. В. 122, 141
Клямкин И. М. 8, 122, 125, 132
Ковальченко И. Д. 11
Кожин В. В. 122, 142
Кокошкин Ф. Ф. 254—257
Кокэн (Coquin) Ф.-Х. 38, 234,
349
Коллонтай А. М. 182, 324
Колчак А. В. 251, 258, 273, 316
Кондратьев Н. Д. 282
Кондратьева Т. С. 330
Конквест (Conquest) Р. 141
Кораблев Ю. И. 322
Косарев А. В. 109
Косиор С. В. 109, 187
Костиков В. В. 138, 242—244,
247, 250—251, 254, 257—259,
262—264
Коэн (Cohen) С. 39, 52—53,
54—55, 56, 109
Красин Л. Б. 278
Краус Т. 141
Крестинский Н. Н. 306
Кривошеин А. В. 316
Крупская Н. К. 84, 109, 156,
188, 202, 257
Крыленко Н. В. 163, 249
Кузьменко Ю. Б. 47
Куйбышев В. В. 99, 202
Кульчинский Г. 345
Курашвили Б. П. 122, 141
Курский Д. И. 203
Кутон (Couthon) Ж. 329
Кэрр (Kerr) К. 43

Ларин Ю. (Лурье М. З.) 63,
215, 297
Ларина А. М. 52
Лацис О. Р. 128, 141, 162
Лельчук В. С. 10
Ленин В. И. 6, 9, 16, 21, 44,
52, 57—58, 80, 85, 87—88, 93,

98, 110—111, 116, 137—139,
144—147, 155—158, 168—171,
173, 183, 190—194, 196, 199,
201, 203, 205—207, 212—215,
221, 229—231, 233, 235, 236—
238, 240, 242, 245—247, 250—
251, 253, 257, 261—262, 264,
267, 269—272, 274—280, 282—
289, 292—294, 298—306, 307—
315, 320, 322, 323, 326—327,
328—333, 335—336, 342
Литвинов М. М. (Валлах М.)
109
Логинов В. Т. 6, 242, 267, 292,
310, 311
Луначарский А. В. 278, 301
Львов В. Н. 272
Людовик XVI Бурбон 327

Макдэниел (Mc Daniel) Т. 42—
43
Малия (Malia) М. 35—37, 41
Мануильский Д. З. 109
Мария Антуанетта 327
Маркс К. 9, 33, 124, 199, 230,
233, 235, 237, 238, 281, 307,
338, 339, 341
Мартов Л. (Цедербаум Ю. О.)
302
Мартъянова К. А. 238
Маяковский В. В. 18
Медведев В. А. 313
Медведев Р. А. 140, 141
Мельгунов С. П. 240, 301
Менжинский В. Р. 343
Мехоношин К. А. 244, 308
Мещеряков В. Н. 277
Микоян А. И. 81, 108, 123
Милль (Mills) Дж. Ст. 329
Милонов Ю. К. 307
Милюков П. Н. 269
Минаев Л. М. 323—324
Минц И. И. 7, 29
Молотов (Скрябин) В. М. 109,
118, 185—187, 222—225
Мур (Moore) Б. 43

Наполеон I (Наполеон Бона-
парт) 36, 114, 270, 328, 336
Наполеон III (Луи Наполеон
Бонапарт) 328, 339
Наумов В. П. 52
Наумов О. В. 255
Некрич А. М. 40, 240
Ненароков А. П. 7
Николаева К. И. 109

Николай II Романов 316
Нилус С. А. 316
Новиченков Ф. П. 98

Оверман 252
Орджоникидзе Г. К. 72, 120
Орлов А. (Фельдбин Л. Л.) 140
Осинский Н. (Оболенский В. В.)
305—306

Пантин И. К. 9, 43
Панцов А. В. 323—324
Пастернак Б. Л. 175
Пастухова Н. В. 256
Паустовский К. Г. 317
Петерс Я. Х. 301
Петровский Г. И. 109
Пешехонов А. В. 283
Плеханов Г. В. 231
Плимак Е. Г. 6, 9, 43, 321—322
Подвойский Н. И. 308
Поликарпов В. Д. 7
Поляков Ю. А. 34
Попов Г. Х. 7, 8, 241
Постышев П. П. 109
Преображенский Е. А. 21, 58,
146, 214
Прилуцкий В. И. 316, 318
Прокопович С. Н. 280, 283
Протопопов А. Д. 268, 279
Пуришкевич В. М. 256

Раскольников (Ильин) Ф. Ф. 7
Рачковский П. И. 316
Рейснер Л. М. 171, 284
Риттих А. А. 280, 284
Робеспьер (Robespierre) М. 329
Руссо (Rousseau) Ж.-Ж. 328
Рыбаков А. Н. 7
Рыков А. И. 58, 60, 64—65, 71,
76—77, 81, 83, 91, 93—97,
101—105, 107—109, 128, 133,
135, 155, 160, 162, 247, 248,
297
Рютин М. Н. 183, 185
Рязанов (Гольдендах) Д. Б. 301

Садуль (Sadoul) Ж. 329
Самборский В. 273
Самсонов А. М. 7
Свердлов Я. М. 305—307
Седова Н. И. 342—343
Семенова Е. 176
Сен-Жюст (Saint-Just) Л. 245,
332
Симония Н. А. 230, 232—234

Симонов К. М. 16
 Скоропадский П. П. 292
 Славин Б. Ф. 232
 Слассер (Slusser) Р. 141
 Слепков А. Н. 334
 Смагин А. В. 313, 314
 Смирнов А. П. 183
 Смирнов Г. Л. 141
 Сокольников Г. Я. 90, 155
 Солженицын А. И. 40, 317, 318
 Солоухин В. А. 267—271, 273—
 276, 279—290, 310—314, 317
 Сольц А. А. 102
 Стаднюк И. Ф. 7
 Сталин (Джугашвили) И. В.
 5, 7, 16, 27, 36, 39, 54—55, 58,
 60, 64—65, 68, 70, 74, 77—78,
 81—84, 87—88, 90—93, 95—
 100, 102—110, 113, 116, 118,
 120—121, 123, 128, 130, 133—
 135, 138—142, 144, 147—149,
 152, 154, 159—163, 165—173,
 176, 181—186, 191, 206, 208—
 209, 219—220, 222—223, 225,
 227—231, 233—235, 239—240,
 242, 265, 276, 289, 305—306,
 319—323, 325—326, 328—329,
 334—335, 337, 338—342
 Станкевич С. Б. 241
 Старцев В. И. 324
 Столыпин П. А. 316
 Стреляный А. И. 3
 Сырцов С. И. 75
 Сытин И. Д. 244

 Такер (Tucker) Р. 39, 141
 Тарновский К. Н. 9
 Твардовский А. Т. 7
 Толмачев В. Н. 183
 Толстой Л. Н. 304, 318
 Томпсон 252
 Томский (Ефремов) М. П. 71,
 76—77, 81, 83, 91, 93, 95—98,
 101—105, 128, 135, 155, 160,
 162, 258
 Троцкий (Бронштейн) Л. Д.
 5—6, 36, 44, 47, 51, 57—58,
 60, 84, 87—88, 115, 135, 140,
 183, 185, 196, 202, 206, 209—
 210, 235, 247, 285, 319—326,
 329—342
 Тухачевский М. Н. 244

Ульянов В. И. см. Ленин В. И.
 Ульянова М. И. 109
 Урицкий М. С. 300—301
 Уэллс (Wells) Г. Дж. 19

 Фитцпатрик (Fitzpatrick) Ш. 39,
 230

 Хаген (Hagen, von) М. 10
 Хатаевич М. М. 185
 Хижняков С. С. 292
 Хорос В. Г. 43
 Хрущев Н. С. 27, 51, 109, 127—
 128, 140, 221, 237

 Цезарь (Caesar) Гай Юлий 270
 Ципко А. С. 40—41, 141, 238
 Цюрупа А. Д. 294, 298—299

 Чапек (Čapek) К. 316
 Черкизов С. 183
 Черненко К. У. 140
 Чернышевский Н. Г. 44, 304,
 327—329
 Чистов Б. Н. 295
 Чукаев Г. Н. 310—311
 Чумаченко Р. Н. 183

 Шаганов В. Н. 328
 Шатров М. Ф. 319
 Шверник Н. М. 109
 Шимотомай (Shimotomai) Н.
 321
 Шингарев А. И. 254—257
 Шиокава (Shiokawa) Н. 8, 9,
 122
 Шкирятов М. Ф. 109
 Шлихтер А. Г. 294
 Шлоссер Ф. 44
 Шмелев Н. П. 8
 Шульгин В. В. 317

 Эйсмонт Н. Б. 183
 Энгельс (Engels) Ф. 44, 237—
 238, 253, 265, 329, 338, 339
 Эренбург И. Г. 182

 Юденич Н. Н. 251, 323

 Ягода Г. Г. 336
 Якир И. Э. 109
 Яковлев Е. В. 14

СОДЕРЖАНИЕ

КОМУ ВСЕ ЭТО НАДО? (Вместо предисловия)	3
Глава I. НАЧАЛО (1987 г.)	7
Приметы времени: призрак радикализма	—
Позиция авторов: Историк и перестройка. (Полемические заметки)	12
Взгляд из сегодня: «кризис жанра» или канун методологической революции?	30
Глава II. БУХАРИНСКИЙ БУМ (1988 г.)	51
Приметы времени: тоска по альтернативам	—
Позиция авторов:	
Поворот 1929 г. и альтернатива Бухарина	57
Николай Бухарин. Эпизоды политической биографии	87
Поздний Бухарин: представления о социализме	113
Взгляд из сегодня: о каких альтернативах шел спор в 1988 г.?	122
Глава III. СТАЛИНИАДА (1988—1989 гг.)	137
Приметы времени: политические «эвфемизмы»	—
Позиция авторов:	
Время трудных вопросов. История 20—30-х годов и современная общественная мысль	144
«Революция сверху» и трагедия «чрезвычайщины»	175
К вопросу о так называемых деформациях социализма	189
Взгляд из сегодня: сущность и видимость сталинского переворота	227
Глава IV. СУД НАД ЛЕНИНЫМ (1989—1990 гг.)	236
Приметы времени: «доктринальный синдром»	—
Позиция авторов:	
Послушная история, или новый публицистический рай. Грустные заметки	242
Куда идет суд?	267
Личность, доктрина, власть	292
Взгляд из сегодня: куда же все-таки идет суд? (Некоторые размышления о «страсти без разума»)	309
Глава V. ВОЗВРАЩЕНИЕ ТРОЦКОГО (1990 г.)	319
Приметы времени: «демонизация» прошлого	—
Позиция авторов: Концепция советского «термидора»	322
ПРОЩАЙ, ПОЛИТИКА? (Вместо послесловия)	345
Именной указатель	348